ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВЕННО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

№ 4
АПРЕЛЬ

Издание газеты „ПРАВДА"
МОСКВА 1930

Цена 3 руб.

Издательство ЦК ВКП (б) „ПРАВДА“

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ

НА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

9-й ГОД ИЗДАНИЯ.

Журнал выходит под редакцией: А. М. Деборина, А. А. Максимова, М. Н. Покровского, Я. Э. Стэна, А. К. Тимирязева.

Отв. редактор А. М. Деборин.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА» имеет перед собою задачу защиты ортодоксального диалектического материализма Маркса, Энгельса и Ленина от извращений идеализма и оппортунизма, откуда бы они ни исходили.

Основные задачи, стоящие перед марксистской философией нашего времени, были определены Лениным в его статье «О значении воинствующего материализма». В этой статье, ставшей для журнала программной, В. И. Ленин подчеркивал особое для дела революции значение поставленных перед журналом задач и его величайшую важность, как идейного проводника воинствующего материализма.

Значение материалистической диалектики в особенности возрастает в условиях современной эпохи — эпохи умирающего капитализма, пролетарских революций и строящегося социализма. Глубокие противоречия современного буржуазного общества, необычайная сложность всех социальных явлений, быстрая смена событий, борьба нарождающихся социальных форм с умирающими могут быть осмыслены только с точки зрения диалектического материализма.

Происходящая у нас в условиях развивающегося социалистического строительства классовая борьба вызывает известное оживление как открыто враждебных марксизму-ленинизму идейных течений, так и различных ревизионистских отклонений от него. Самый доподлинный идеализм и ревизионизм, приспособляясь к условиям диктатуры пролетариата, подчас рядится в марксистские одежды. «ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА» ведет непримиримую борьбу за ортодоксальный диалектический материализм Маркса, Энгельса и Ленина — против различных механистических, позитивистических, суб'ективистических и идеалистических течений и направлений.

В журнале принимают участие видные марксисты, коммунисты и беспартийные ученые материалисты.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА» имеет постоянные отделы: Ленин и ленинизм, актуальные проблемы философии диалектического материализма, история материализма, современные течения философской мысли, исторический материализм, статьи по вопросам теоретической экономии, статьи по теории советского хозяйства, история социализма, вопросы литературы и искусства в материалистическом освещении, психология и марксизм, диалектика и естествознание, дискуссионный отдел, критика и библиография, отдел переписки с читателями, сообщения и заметки.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА» рассчитан на активных работников партии, преподавателей и слушателей комвузов, вузов, рабфаков, марксистских кружков, товарищей, занимающихся самообразованием и т. п.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 1 мес. — 1 руб. 50 коп., на 3 мес. — 4 руб. 25 коп., на 6 мес. — 8 руб., на 12 мес. — 15 руб.

Цена отдельного номера — 1 р. 50 к.

ЗАКАЗЫ И ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ: в главную контору издательства ЦК ВКП(б) «Правда» (Москва, 9, Тверская, 48), в местные отделения «Правды» и почт. конторы.

Содержание вышедших номеров

№ 1.

№ 2—3.

Адрес редакции: Москва, Тверская, 8. Тел. 4-84-21.

Прием по делам редакции от 2 до 8 час.

НЕ ПРИНЯТЫЕ РУКОПИСИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

АПРЕЛЬ **№ 4** 1930

СОДЕРЖАНИЕ

Д. Б. Рязанов.

(К 60-летию со дня рождения).

Редакция «Под Знаменем Марксизма» с особым чувством присоединяет свой голос к голосу советской общественности, отметившей как праздник марксистско-теоретической мысли 60-летие со дня рождения и 40-летие научно-общественной деятельности Д. Б. Рязанова.

Значение деятельности Д. Б. Рязанова в историческом исследовании марксизма трудно переоценить. Изучение философской, экономической и исторической теории марксизма невозможно без полного собрания сочинений Маркса и Энгельса. Научное исследование мировоззрения Маркса и Энгельса всегда будет страдать односторонностью, отрывочностью, механистичностью, если в основу его не будет положено критическое издание сочинений Маркса и Энгельса. Без этой об'ективной основы не может быть и речи о научном изучении эволюции их взглядов, нет никакой возможности приступить к критической разработке их огромного литературного наследства. И эта «об'ективная основа» была создана Д. Б. Рязановым: открытие и опубликование важнейших сочинений Маркса и Энгельса по философии, восстановление подлинного текста важнейших политических высказываний Маркса и Энгельса, сфальсифицированного в бернштейновских изданиях,— все это является теперь опорным отправным пунктом для всестороннего изучения идейного наследства Маркса и Энгельса и борьбы с социал-демократическим опошлением их учения.

Марксоведение как наука получило в работах т. Рязанова все опорные методологические исходные пункты. Применение метода материалистического понимания истории к историческому изучению марксизма — их основная особенность. Марксоведение — это прежде

всего историческая наука, и работы тов. Рязанова представляют яркие образцы последовательного применения материалистического историзма. Свою задачу сам он видит нередко в том, чтобы «вставить всю литературную работу Маркса и Энгельса от 1843 до 1895 г. в исторические рамки, определить место каждого крупного произведения в истории социализма и человеческой мысли, сделать каждую публицистическую статью Маркса и Энгельса настолько же понятной со всеми ее намеками современному читателю, как она была понятна в свое время передовому отряду революционной интеллигенции и рабочего класса» («Очерки по истории марксизма», 1925 г., т. I, стр. 271).

Опубликование тов. Рязановым таких важнейших работ Маркса и Энгельса, как подготовительные работы Маркса к докторской диссертации, статьи Энгельса о Шеллинге, «Критика философии права Гегеля» Маркса, подготовительные работы к «Святому семейству», «Немецкая идеология» (о Фейербахе и Штирнере) — позволяют с исчерпывающей полнотой установить корни духовного развития Маркса и Энгельса. Работы тов. Рязанова вносят существенные поправки в общеизвестную картину философской эволюции Маркса и Энгельса, как эта картина вышла из-под пера Плеханова и Меринга, и знаменуют собой коренное изменение традиционного — по тем же работам Плеханова и Меринга — представления о духовном развитии Энгельса. Говоря словами Меринга, сказанными им в комментариях к его изданию «Литературного наследства» Маркса и Энгельса, — «перед нами фактически обнаруживается до мельчайших подробностей тот процесс самоуразумения, которого Маркс и Энгельс искали с неизменным воодушевлением стремящейся к наивысшим задачам юности. Мы можем бесконечно больше научиться, наблюдая этот совершающийся перед нашими глазами процесс, чем если бы Маркс и Энгельс представили нам результат своего исследования так сказать в виде готовых кристаллов».

Наконец, изучение исторического формирования марксизма в работах тов. Рязанова служит точкой опоры для теоретической разработки вопросов марксистского мировоззрения. Работы тов. Рязанова являются блестящим доказательством того, что разработка марксистской теории невозможна без знания исторических корней взглядов Маркса и Энгельса. Теоретическое значение исторического исследования состоит в том, что для борьбы с ревизионизмом мы приобретаем новую опору в историческом генезисе философских взглядов Маркса и Энгельса, в том, что само историческое развитие диалектики, как теории развития, есть самоуразумение самой же теории, ее углубление и обоснование. Достаточно вспомнить, какую огромную роль сыграло опубликование Д. Б. Рязановым «Диалектики природы» в теоретической разработке материалистической диалектики. Историческое изучение философской эволюции Маркса и Энгельса, изучение генезиса мировоззрения марксизма имеет глубоко актуальное и теоретическое значение в борьбе с ревизионистами всех течений и оттенков. Это прекрасно учитывал Плеханов. «Все те, — говорил он, — которые в настоящее время стремятся к «реформе» и «пересмотру» марксизма внесением в него так называемого общечеловеческого и морального элемента, должны на добросовестном изучении генезиса этого миросозерцания признать, что они в сущности апеллируют от Маркса к Марксу же, т.-е. от зрелого и окончательно установившегося Маркса к Марксу же, находящемуся в периоде колебания, к исторически пройденной и изжитой самим Марксом ступени развития». Плеханов правильно замечает после этого, что наш девиз должен быть скорее «вперед!», чем «назад!», и что, развиваясь «по Марксу», но в обратном направлении, можно, пожалуй, добраться и до еще более раннего периода его развития вплоть до его юношеского ми-

торга перед гегелевским «самосознанием» [1]). Слова Плеханова блестяще подтвердились на ряде исторических боев марксизма с ревизионизмом; это подтвердилось, в частности, в борьбе диалектиков с механистами, считавшими, что Энгельс «Анти-Дюринга» противоречит Энгельсу — автору опубликованных в «Диалектике природы» заметок 1878—1882 гг.



Д. Б. Рязанов

Ограничиваясь пока этими общими замечаниями и считая, что одной из важнейших задач журнала «Под Знаменем Марксизма» является историческая разработка опубликованных т. Рязановым сочинений Маркса и Энгельса,— редакция надеется дать в ближайших номерах журнала ряд статей, посвященных этому вопросу.

Д. Б. Рязанов состоял одно время членом редакции нашего журнала и принимал в нем деятельное участие в качестве сотрудника. Им впервые напечатаны в «Под Знаменем Марксизма» «Морализирующая критикующая мораль» Маркса, «Юридический социализм» Ф. Энгельса и К. Каутского, статья Ф. Энгельса «К критике политической экономии» и др.

Редакция приветствует в лице т. Рязанова крупнейшего знатока Маркса и Энгельса, автора важнейших работ по истории классовой борьбы пролетариата, организатора единственного в мире научно-исследовательского центра марксоведения — Института К. Маркса и Ф. Энгельса — этой основной базы для внедрения в массы марксистской теории как науки, но и как орудия активной, революционной борьбы за торжество дела рабочего класса, за торжество идеи основоположников научного коммунизма.

---

[1]) Г. В. Плеханов, Соч., т XVIII (под редакцией Д. Б. Рязанова), стр. 334.



Об итогах и новых задачах на философском фронте[1]).

Согласно учению Маркса, Энгельса и Ленина, партия пролетариата успешно руководить борьбой за освобождение рабочего класса и уничтожение капиталистического рабства может лишь в том случае, если она руководится передовой революционной теорией. Без революционной теории невозможно правильное понимание путей классовой борьбы, научное предвидение и целесообразное действие для достижения победы. «Только философский материализм Маркса, по указанию Ленина, указал пролетариату выход из духовного рабства, в котором прозябали доныне все угнетенные классы». Поэтому борьба за философский материализм Маркса, т.-е. за диалектический материализм, составляет необходимое составное звено борьбы за коммунизм.

Но так же, как и по отношению ко всей марксистско-ленинской теории в целом, и по отношению к марксистско-ленинской философии в различные исторические периоды, в зависимости от данных условий классовой борьбы, на первый план выдвигаются разные ее стороны.

В период, непосредственно следовавший за введением новой экономической политики, после того, как рабочий класс и его партия получили возможность сосредоточить больше, чем в годы гражданской войны, сил и внимания на дальнейшей разработке вопросов революционной теории — важнейшей задачей на философском фронте, ставшей перед большевистской теоретической мыслью, было, прежде всего, ударить по доживавшим свой век идеологам свергнутых революцией классов помещиков и капиталистов, дать отпор идеализму и поповщине, начавшим вновь поднимать голову на почве происходящей в условиях нэпа классовой борьбы, сосредоточить огонь на мелкобуржуазном практицизме и вульгарном материализме. Надо было на новом этапе под знаменем воинствующего материализма продолжать непримиримую борьбу, которую вела большевистская партия против ревизионизма всех родов от Бернштейна до Богданова. Надо было продолжать вести раз'яснение самым широким массам того, что марксизм есть целостное мировоззрение, имеющее свою собственную философскую основу, доказывать, что, не опираясь на нее, нельзя сломить оружия буржуазной идеологии. Эти задачи определили собой развитие нашей теоретической мысли после перехода к нэпу в 1922—1924 гг.

Развертывание положительной работы социалистического строительства и все возраставшее проникновение марксистского мировоззрения в отдельные науки все больше и больше подчеркивало значение проблем материалистической диалектики. Разоблачив тех, кто отрицал право марксистско-ленинской философии на существование, нанеся удар врагам и создав плацдарм

[1]) Принято всеми голосами против одного на соединенном заседании фракций Института философии Коммунистической Академии и московской организации Общества воинствующих материалистов-диалектиков 24 IV-30 г. и утверждено правлением Всесоюзной ассоциации ОВМД 30 апреля с. г.

для дальнейшего наступления, необходимо было наметить его план и собрать силы для наступления.

План этот, как и указанные выше задачи, был определен гениальной рукой Ленина, в его письме журналу «Под Знаменем Марксизма»—«О значении воинствующего материализма». Задачу марксистской философии нашего времени Ленин видит в непримиримой борьбе со всеми видами идеализма и поповщины, в разоблачении дипломированных слуг господствующих классов, где бы и чем бы они ни прикрывались, в разработке материалистической диалектики.

С особенной силой Ленин выдвинул последнюю задачу. Для осуществления ее он требовал, чтобы редакция и ближайшие сотрудники журнала «Под Знаменем Марксизма» образовали кружок материалистических друзей Гегелевской диалектики. Без разрешения этой задачи, по указанию Ленина, материализм в наше время может быть лишь сражаемым, а не побеждающим, так как вся совокупность современного знания и каждый шаг классовой борьбы во всем мире все с новой и новой силой подтверждает правоту именно диалектического материализма.

Задача сосредоточения внимания на разработке материалистической диалектики, указанная Лениным, определялась самими глубокими потребностями классовой борьбы пролетариата в нашу эпоху. Только логика противоречивого развития, диалектико-материалистическая логика, позволяет вскрыть противоречия классового общества, с особенной остротой обнаружившиеся в переживаемую нами эпоху.

Открытие новых форм движения материи, грандиозные синтетические задачи, поставленные накопленными за последние десятилетия успехами новейшего развития естествознания и требованиями современной техники, не умещаются в рамках старых формально-логических методов мышления и механического миропонимания. Дать верный компас для дальнейшего развития знания, срезать паразитирующие на кризисе науки безобразные наросты идеализма и поповщины, охватить в единой картине мира все многообразие явлений природы можно лишь с помощью диалектико-материалистического метода.

Наконец, разработка материалистической диалектики выдвигается на первый план в переживаемую нами эпоху потому, что только при ее помощи могут быть правильно оценены те формы классовой борьбы, в которых осуществляется социалистическое строительство.

Таким образом борьба за материалистическую диалектику, указанная Лениным, как важнейшая очередная задача на философском фронте, была обусловлена глубокими потребностями переживаемой нами исторической эпохи. В деле ее разрешения философам марксистам, следовавшим указаниям Ленина, пришлось выдержать ожесточенную борьбу с «механистами».

Механисты, вместо того, чтобы поставить перед собой задачу разработки теории диалектики, задачу сознательного использования итогов современного теоретического естествознания, капитулировали перед буржуазными естествоиспытателями и провозгласили лозунг: «Наука сама себе философия». В тот момент, когда требовался самый резкий отпор росткам буржуазно-контрреволюционной философии, пробивавшейся сквозь почву нэпа, и когда требовалось ясное понимание диалектико-материалистического метода для проникновения его в отдельные науки, это течение об'ективно явилось теоретическим ликвидаторством, могущим привести к теоретическому разоружению пролетариата. Оно обезоруживало пролетариат в изучении тех новых явлений, которые созданы революцией, оно явилось наиболее удобной теоретической ширмой для всех тех, кто закрывал глаза на классовую борьбу и связанные с нею противоречия в осуществлении у нас построения социализма,

для всех, кто хотел подменить задачу построения социализма у нас делячеством и примирением классов.

Разоблачение этой ревизионистской группировки стало важнейшей задачей на философском фронте борьбы за марксизм. Основным идейным оружием ее были идеи старого метафизического, механистического материализма. В обстановке диктатуры марксизма, в процессе дальнейшего развертывания борьбы против диалектического материализма, механистические материалисты стали смыкаться с различного рода идеалистическими тенденциями. Так сложился конгломерат самых противоречивых элементов, об'единенных одной основной позицией — позицией борьбы против диалектического материализма (А. Тимирязев, Варьяш, Аксельрод-Ортодокс, Сарабьянов и др.) Элементы механистического материализма в самой причудливой форме сочетались в нем с элементами фрейдизма, гуссерлианства, суб'ективного и этического идеализма.

В этой обстановке борьба против механистического материализма становилась в то же время и борьбой против идеализма, конечно, не исчерпывая этим борьбы против всех форм проявления идеализма у нас.

Эта борьба оказала огромное влияние на естественные науки. Впервые была фактически поставлена задача осуществления провозглашенного Энгельсом и Лениным лозунга подчинения наук о природе методологическому руководству марксизма. Было показано, что вопросы, выдвинутые новейшим развитием физики, химии, биологии, физиологии нервной системы и психологии могут быть разрешены лишь на основе последовательного применения метода диалектического материализма.

Если подойти к задачам социалистической реконструкции народного хозяйства в перспективе построения коммунистического общества, то станет ясным, что сознательное и быстрое использование итогов современного естествознания в интересах построения социалистического общества возможно только на основе диалектического материализма. Иначе — грозит опасность попасть в сети ограниченного и вульгарного буржуазного мышления.

Борьба философов-марксистов против механистического материализма, метафизически отрывающего естествознание от общественных наук или отождествляющего общественно-исторический процесс с естественно-историческим, выковывает методологическое оружие для правильного использования естествознания и его практических результатов, всей современной техники в интересах социалистической реорганизации нашего хозяйства.

Борьба с механистами, борьба против пережитков механистического мировоззрения воспитывает и методологически вооружает кадры строителей для дела социалистической реконструкции нашего хозяйства. Не случайно методологической основой правых оппортунистов, выступавших против ускоренного темпа индустриализации и коллективизации нашей страны, служила механистическая концепция.

В борьбе партии с правым уклоном критика методологических корней правого оппортунизма явилась прямым продолжением борьбы с механистами.

Опыт классовой борьбы и развитие научного исследования, таким образом, показали, что борьба с механистами была не частным делом одной какой-либо науки, а необходимой предпосылкой для дальнейших успехов всей марксистско-ленинской революционной теории в целом, и подтвердили правильность занятой диалектиками-материалистами позиции.

Величайшую поддержку ортодоксальная марксистская философская мысль в борьбе с механистами получила в лице появившейся в 1925 году «Диалектики природы» Энгельса и конспектов Ленина по диалектике. Механисты старались извратить содержание «Диалектики природы» Энгельса и за-

наток Ленина. Прикрытая ревизионистская критика все больше и больше стала превращаться в открытое, ничем не замаскированное искажение основ диалектического материализма. Решительная и широкая критика со стороны материалистов-диалектиков дала возможность широкому кругу партийного актива и передовых рабочих убедиться в ревизионистской сущности этого течения.

Методологическое родство «механистов» с философским учением Богданова и то влияние, которое он оказал на ряд наук, делало необходимой широкую критику богдановской теории равновесия и основных положений всей его «Тектологии» в целом.

На ряду с борьбой против механистов на теоретическом фронте продолжалась борьба против других различных форм ревизионизма, возникающих у нас и в западно-европейском коммунистическом движении, против социал-демократической идеологии, против идеализма в самых разнообразных его видах в СССР и за границей.

Острой критике была подвергнута философия Г. Лукача, пытавшегося истолковать марксизм в духе гегелевского идеализма. Выполнение этой задачи было тем важнее, что на очереди стояла задача материалистической переработки гегелевской диалектики. В партийных теоретических журналах были подвергнуты беспощадной критике философские воззрения идеологов социал-демократии, фрейдизм, неокантианство, философия Бергсона, прагматизм, гуссерлианство, новокатолическая философия и так называемый религиозный социализм. Был дан отпор попыткам подорвать теорию исторического материализма, исходившим от последователей Риккерта и М. Вебера. Был открыт огонь по поднимавшим голову у нас в стране идеалистам типа Берга, Нуцубидзе, Челпанова, Лосева и др.

Таким образом, марксистско-ленинская философия вела непримиримую борьбу и против идеализма и против механистического миропонимания, в целом ряде пунктов ныне непосредственно сливающегося с идеализмом.

Беспощадная борьба партии с троцкистско-зиновьевской оппозицией, с правым оппортунизмом и всеми видами примиренчества с ним, колоссальные успехи в деле построения социализма в нашей стране выявили в широких рабочих и партийных массах острую потребность в овладении марксистско-ленинским мировоззрением.

Создание Общества воинствующих материалистов-диалектиков на этой основе было значительным шагом в деле продвижения идей диалектического материализма в самые широкие массы. Работа Общества выявила огромный интерес в рядах партии и рабочего класса к проблемам марксистской теории, создала организационную форму для широкого философского движения под руководством большевистской партии, ставящего своей целью неуклонную борьбу со всеми врагами марксизма-ленинизма, борьбу за марксистское мировоззрение.

Таким образом, подводя итоги проделанной работе, необходимо отметить:

1. Разработку ряда важнейших проблем философии марксизма-ленинизма, опираясь на идейное наследство Маркса, Энгельса, Плеханова и Ленина, осуществление указаний Ленина о необходимости приступить к изучению материалистически переработанной гегелевской диалектики.

2. Развертывание работы по внедрению методологии диалектического материализма в теоретическое естествознание и специальные науки.

3. Неуклонную борьбу против идеализма как в философии, так и в различных конкретных науках, против идеологии социал-демократии, против

мелкобуржуазной идеологии и всевозможных извращений диалектического материализма.

4. Неуклонную борьбу против основ механистической ревизии марксизма-ленинизма, способствовавшую вскрытию теоретических основ правого оппортунизма в борьбе за генеральную линию партии, способствовавшую широкому ознакомлению партийного и рабочего актива с марксистско-ленинской философией.

5. Расширение масштаба и форм массовой философской теоретической и пропагандистской работы, создание организаций Общества воинствующих материалистов-диалектиков по Союзу и первые шаги по пропаганде его за границей.

6. Руководство со стороны диалектиков-материалистов рядом специальных научных обществ по линии подчинения их влиянию идей диалектического материализма и приближению к задачам социалистического строительства.

7. Работу по внедрению идей диалектического материализма в наши учебные заведения, подготовку аспирантуры и т. д.

Однако, на ряду с этими успехами, должно указать и ряд недочетов (в области разработки теории исторического материализма, антирелигиозной пропаганды и т. д.) и ошибок.

В частности, участие философов в имевших место дискуссиях по политической экономии и литературоведению должно быть признано недостаточным. Занимая в основном теоретически правильную позицию, работники в области марксистско-ленинской философии недостаточно активно участвовали в этих дискуссиях, недостаточно быстро реагировали на новые явления в указанных областях, были недостаточно внимательны к литературным выступлениям экономистов (ошибкой было печатание в «Под Знаменем Марксизма» статей И. Рубина без примечаний, что давало повод предполагать, что редакция солидаризировалась с ними), недостаточно подчеркивали необходимость связывать теоретическую борьбу в этих науках с практическими задачами социалистического строительства.

Дальнейшая работа на философском фронте борьбы за марксизм-ленинизм определяется, прежде всего, теми общими задачами, которые в настоящее время стоят перед страной пролетарской диктатуры. Пролетарская революция на настоящем этапе ее развития в условиях ожесточенной классовой борьбы и победоносного строительства социализма подошла к решению основной задачи социалистической революции в нашей стране, — выкорчевыванию корней капитализма. На основе достигнутых успехов в индустриализации страны сплошная коллективизация, и, на этой основе, ликвидация кулачества, как класса, означает создание коренных основ для ведения социалистического планового хозяйства. Пока обобществленной социалистической промышленности противостоит широкая стихия мелкого крестьянского хозяйства,— стихийность в общественных отношениях продолжает играть крупную роль. Теперешний этап революции выдвинул такие задачи, от решения которых зависит превращение «слепой» необходимости общественного развития в сознательное дело самих производителей. Это — тенденция, которая осуществляется в борьбе классов и которая ведет к созданию предпосылок для их уничтожения.

Для решения этих колоссальных, всемирно-исторических задач требуется величайшее напряжение всей практической энергии и теоретической мысли рабочего класса и его партии. Рациональная переделка технических основ общества и выработка новых производственных отношений не происходит стихийно, она требует сознательной, напряженнейшей работы марксистской теоретической мысли, мобилизующей все конкретные науки в интере-

сах социалистического строительства и ведущей борьбу со всеми ревизионистскими искажениями марксизма-ленинизма. Такая теория, которая не занималась бы разработкой проблем всемирно-исторического значения, выдвигаемым переживаемым сейчас периодом обостреннейшей борьбы классов, не заслуживала бы права именоваться революционной теорией: новые взаимоотношения между классами выдвигают новые задачи, новые задачи требуют перестройки работы применительно к ним, новых форм. На пройденных уже этапах развития коммунистическая философская мысль, следуя указаниям Ленина и опираясь на оставленное им и основоположниками марксизма наследство, правильно уловила основную теоретическую задачу в своей области. Необходимо, чтобы на новом этапе развития были указаны те основные линии, по которым должна развернуться дальнейшая работа по проникновению марксизма во все области знания и практического действия. В условиях, когда решаются важнейшие проблемы социалистической революции, сосредоточение внимания марксистско-ленинской теории на непосредственных проблемах социалистического строительства является неотложной задачей. Губительной ошибкой, однако, было бы думать, что могут быть достигнуты какие бы то ни было успехи в этом направлении, не опираясь на марксистско-ленинскую теорию во всей ее глубине и об'еме, не двигая вперед разработку ее собственного метода — материалистической диалектики. Правильное понимание взаимоотношений между классами, форм классовой борьбы, сложнейшего их переплетения, правильное понимание каждодневно возникающих новых форм и явлений, смены одних закономерностей развития другими возможно только при условии последовательного применения диалектико-материалистического метода во всем богатстве его содержания.

Поэтому разработка теории материалистической диалектики продолжает оставаться важнейшей задачей на философском фронте. Философам-коммунистам необходимо сосредоточить свое внимание на разработке ленинского философского наследства, на ряду с разработкой наследства Маркса и Энгельса. Ленинский конспект «Науки логики Гегеля», ряд материалов, опубликованных в XII «Ленинском Сборнике», вся совокупность работ Ленина в области теории, стратегии и тактики рабочего движения указывают философам те основные линии, по которым должна происходить разработка теории материалистической диалектики. Ленин подчеркивает, что диалектика, как наука, разрабатывающая метод, должна быть создана на основе всей совокупности человеческого познания. Ленин указывает, что теория материалистической диалектики может быть выработана на основе истории философии, истории отдельных наук, истории умственного развития ребенка, истории развития животных, истории языка плюс психология, плюс физиология органов чувств. Кратко говоря, — замечает Ленин, — история познания, вообще вся область знания — вот те области знаний, из которых должна сложиться теория познания и диалектика.

Работа над дальнейшим развитием теории материалистической диалектики должна быть обогащена и той п р а к т и ч е с к о й диалектикой, о которой писал Ленин и которой так полна как эпоха диктатуры пролетариата в целом, так и действительность реконструктивного периода. Дальнейшая работа над разработкой теории диалектики должна итти в самой тесной связи с теоретическими и практическими задачами, как выдвинутыми современным этапом развития социалистического строительства, так и теми проблемами, которые встают в свете мирового кризиса империализма и революционного под'ема. Только разработка теории диалектики, на основе истории мысли, на основе всей совокупности современного знания и нового исторического опыта пролетариата может помочь нам осознать специфические закономерности, которые складываются в экономике переходного периода.

На ряду с разработкой теории материалистической диалектики, в связи с разработкой философского наследства Ленина и основоположников марксизма, важнейшую задачу представляет разработка проблем исторического материализма, в особенности в применении к переходному периоду в целом и к данному этапу его в частности. Отставание в разработке проблем исторического материализма в связи с опытом революции и новейшими данными различных общественных наук представляет важнейший недостаток в работе на философском фронте за истекший период.

Без разрешения этой задачи невозможно ни выполнение требований, пред'явленных к революционной теории переживаемым ныне этапом социалистического строительства, ни руководство со стороны философов проникновением марксистского метода в различные области общественной науки.

На первый план должны быть выдвинуты проблемы международной борьбы пролетариата, построения социализма в нашей стране, критики социал-демократии, изучения форм классовой борьбы в переходный период, соотношения стихии и плана в нем, перерастания одних законов общественного развития в другие, соотношения политики и экономики, культурной революции, изучения новых форм соотношения хозяйства и общества, индивида и общества, изучения новых форм идеологии и новой роли различных форм идеологии.

Необходима систематическая критика идеологии контрреволюционного троцкизма, троцкистских искажений ленинизма, которая до сих пор в области философской велась совершенно недостаточно, а также различных правых и «левых» уклонов в коммунистическом движении.

Необходима систематическая разработка марксистского мировоззрения. Особо важным звеном в решении этой задачи является развертывание работы по «Философской энциклопедии».

В борьбе с мелкобуржуазными шатаниями, с различными отклонениями от марксистско-ленинской философии должна быть усилена борьба на два фронта — и против механистов, и против идеалистических шатаний (Лукач, «марксисты», смыкающиеся с фрейдизмом, и т. д.). Механисты, непосредственно сомкнувшиеся с правыми уклонистами в области философии, являются знаменем для самых разношерстных элементов, сопротивляющихся проникновению диалектического материализма в конкретные области знания, по-прежнему остаются главной опасностью. Ни шагу назад в борьбе с механистами, а, наоборот, усиление борьбы с ними. Самый решительный отпор беспринципному идейному примиренчеству к механистам. Усиление борьбы с механистами должно означать критику их воззрений в целом, а также в конкретных областях знания, в политике и т. д. Нужно продолжать неуклонное разоблачение их ревизионистской сущности, бить особенно жестоко там, где они непосредственно смыкаются с открытыми врагами марксизма.

В то же время необходимо обратить внимание на появление другой опасности, пока находящей себе выражение в ряде отдельных ошибок отдельных товарищей, но могущей привести к идеалистическому искажению диалектики — опасности формалистического ее понимания. Должен быть дан отпор такому пониманию диалектики, когда она превращается в мертвую схему, набор пустых форм, не связанных ни с каким конкретным содержанием, абстрактно «развивающихся» из самих себя, а не в качестве отражения материального движения.

На опасность такого понимания диалектики тем более необходимо указать, что и существующий все еще в наших условиях (Лосев и др.) и заграничный идеализм в последнее время пытается под маской якобы-«диалектики» провести чисто-мистические, поповские, антиматериалистические идеи.

На ряду с борьбой против ошибок этого рода должна вестись неуклонная борьба и со всякого рода другими ошибками идеалистического типа (фрейдистскими и т. д.).

Необходимо вести неуклонную, систематическую борьбу с примиренческим отношением ко всякого рода отклонениям от диалектического материализма и давать решительный отпор воинствующему эклектизму всех видов.

Необходимо активное участие философов в работе различных конкретных наук. Не должно быть философа, который не занимался бы какой-нибудь конкретной областью знания и в ней не применял бы и на ней не изучал бы свою методологию. По всей линии в различных науках должен быть дан отпор окопавшемуся в них механизму, эклектизму, формализму и связанному неразрывно с ним идеализму, особенно ожившему в период выкорчевывания корней капитализма в СССР и обострения классовой борьбы между пролетариатом и буржуазией всего мира.

Необходимо сосредоточить больше внимания на проблемах методологии истории, на преодолении вульгарного эмпиризма в рядах историков, на борьбе против различных буржуазных исторических теорий у нас и за границей.

Необходимо сосредоточить внимание на разработке методологии политической экономии, на усвоении метода Маркса и Ленина для применения его к изучению советского хозяйства и современного империализма. Необходимо, чтобы борьба в политической экономии против механистов, против идеалистов и формализма обозначала более глубокую разработку марксистской теории, диалектики капитала, не опираясь на все богатство которой нельзя понять ни законов советского хозяйства, ни законов современного империалистического капитализма.

В области литературоведения философы должны выдвинуть на первый план борьбу против эклектизма и вульгарного экономического материализма, против влияния на марксистов идеалистических (в частности, бергсонианских и фрейдистских) и формалистических течений за философски углубленную классово боевую марксистскую критику.

В области психологии необходима непримиримая борьба против остатков суб'ективной психологии и механистических учений, против одностороннего биологизма, за целостное изучение общественного человека.

Необходимо систематическое разоблачение выступающих под якобы марксистским флагом враждебных и чуждых большевистской партии теоретиков. Система идеалистических ошибок И. Рубина в политической экономии, воззрения Переверзева в литературоведении должны быть подвергнуты глубокой и беспощадной критике.

Во всей своей работе, во всех областях знания задачей философов является внимательно следить за возникновением новых идей и течений, которыми столь богата революционная эпоха, организовывать коллективное обсуждение их, давать беспощадный отпор классовому врагу, под какими бы масками он ни скрывался.

Задача социалистической реконструкции нашего хозяйства неразрешима без проникновения в области естественных наук и техники принципов диалектического материализма. Работа философов-марксистов в области естествознания представляет крайне важную часть работы по подготовке кадров строителей новых форм хозяйства, имеет огромное политическое значение. Диалектико-материалистическая философия не может не опираться в своем теоретическом развитии на достижения современного естествознания, не осмысливать их и не вести беспощадной борьбы против всех идеалистических и поповских теорий и идей, паразитирующих на ней.

Необходимо значительно большее, чем это имело место до сих пор, непосредственное участие философов в антирелигиозной пропаганде. Связь с Союзом воинствующих безбожников и работа ОВМД в этом направлении должна быть значительно расширена.

Необходимо дальнейшее развертывание массовой работы, пропаганды диалектического материализма, стремясь организационно, при посредстве ячеек содействия ОВМД, охватить широкие кадры рабочего актива на предприятиях. Необходима организация издания массовой популярной литературы по вопросам диалектического материализма. Необходимо расширение наличных философских кадров, увеличение числа работников, освобожденных от административно-организационной работы, введение системы отпусков со специальными заданиями по подготовке серии необходимых работ для дальнейшей разработки и пропаганды марксизма.

Необходимо большее внимание делу помощи заграничным коммунистическим партиям в их борьбе с религией, идеологией с.-д., идеализмом и поповщиной всех видов и оттенков. Необходимо разоблачение идейной подготовки похода против СССР со стороны помещиков и капиталистов, разоблачение идеологии империалистической буржуазии и ее слуг.

Решительное развертывание подлинно большевистской самокритики является коренным условием выполнения огромных задач, стоящих перед марксистско-ленинской философией. Дальнейшее движение вперед в области теории, в условиях монопольного положения марксизма, возможно только на основе широко развитой самокритики в собственных рядах. Самокритика должна обеспечить такое положение, чтобы малейшие ошибки в среде марксистов не замалчивались, а немедленно подвергались критике и исправлению

Самокритика должна стать повседневным методом нашей работы, она должна содействовать вовлечению в теоретическую работу широких слоев рабочего, партийного актива, через самокритику только можно добиться того положения, чтобы вся наша работа находилась под постоянным контролем широкой пролетарской общественности.

Самокритика на теоретическом фронте должна носить выдержанный большевистский характер, решительно борясь со всякого рода попытками выхолащивания принципиально-теоретического и политического существа ее, превращения ее в «чисто академическую» оторванную от конкретных задач партии и от задач на теоретическом фронте. Точно так же необходимо давать решительный отпор попыткам зажима самокритики, попыткам подмены самокритики не принципиальными, а личными моментами.

Настоящий этап социалистического строительства пред'являет такие требования к теоретической мысли, которые могут быть выполнены только большим постоянно пополняющимся все новыми силами коллективом теоретических работников.

Работе по подготовке новых теоретических кадров должно быть уделено огромное внимание. Той узкой прослойкой теоретических кадров, которая имеется в стране, невозможно выполнить огромных требований, пред'являемых к теоретической мысли социалистическим строительством.

Должен быть взят решительный курс на подготовку сотен и тысяч теоретических работников. При чем во всей этой работе необходимо решительно проводить линию на орабочение кадров теоретических работников.

Только в том случае мы справимся со своими задачами, когда сумеем создать армию теоретических работников из среды коренных пролетариев, из товарищей, прошедших гражданскую войну, из числа рабочих прошедших школу общественной и партийной работы.

Теоретические кадры должны быть созданы из людей, которые на протяжении всей истории внутрипартийных боев на деле, примером доказали, что они боролись за ленинскую линию партии, что они отстаивали принципы большевизма против троцкистско-зиновьевских и правооппортунистических искажений ленинизма.

Философский фронт — один из участков руководимого коммунистической партией фронта борьбы за построение социализма в нашей стране, за международную революцию.

Поворот в работе, обусловленный новыми задачами революции, требует от всех работников, на этом фронте ясного сознания своих задач, удесятеренной энергии и неуклонной решимости приложить все силы для их осуществления. Нет и тени сомнения в том, что он приведет к новым победам ортодоксального марксистско-ленинского философского оружия.



Логика Гегеля и логика марксизма[1].

Г. Дмитриев.

Метод и содержание философии Гегеля[2].

Логика Гегеля занимает особое место по сравнению со всеми другими частями его философии. Логика Гегеля — это центральная наука, основа основ, ось всего философского учения великого мыслителя,—от нее расходятся нити во все стороны и части грандиозного здания его системы. Логика Гегеля царствует, она управляет всей его философской территорией, она командует, распоряжается и возвышается над всеми другими науками и областями человеческой теории и практики. Это заключено, по мнению Гегеля, в самой природе логического, потому что все существующее обязано ему своим существованием, а логика есть учение о логическом в наиболее истинной самой адэкватной соответствующей ему форме.

Но в то же время логика Гегеля не может быть оторвана от его учения о природе и общественной истории. Нельзя логику Гегеля изучать самодовлеющим путем, не прибегая к постоянному сравниванию, постоянному общению с конкретным историческим знанием, составляющим область изучения конкретных естественных и общественных наук. Более того, только в этом общении логического и исторического, познавательного и действительного обнаруживается подлинная природа самого логического. В результате этого общения даже логика Гегеля вынуждена отречься от своего царственного престола. Логика Гегеля, в таком случае, уже не является наукой над науками и не может быть определена как чистое, абстрактное, совершенно свободное учение о мышлении. Логика есть методология познания, наука о методе, учение об общих законах развития действительности и человеческого мышления. Она уже не господствует безраздельно над историей, над конкретными науками, а становится вместе с ними в один коллективный ряд, осуществляя общую, но дифференцированную, научную задачу.

Логика Гегеля, несмотря на все свои особенности, характеризуется поэтому теми же чертами, как все другие части его философии. Она имеет в общем те же плюсы и минусы, те же достижения и недостатки, положительные и отрицательные стороны.

Мы ставим перед собой задачу охарактеризовать отношение метода и содержания, диалектики и идеализма,—как оно сказывается в логике Гегеля, но прежде, чем подойти вплотную к этой задаче — мы решили поставить вопрос в общем виде,—мы покажем, как соотносится метод и система в философии Гегеля вообще.

---

[1]) Печатается в порядке обсуждения. Ред.

[2]) См. «В. К. А.» № 34—35, 1929 г.: Г. Дмитриев. «Логика Гегеля как учение о ступенях развития абсолютной идеи, природы и человеческого духа».

1. Метод и содержание философских учений.

Содержание философских учений исторически многообразно. Каждая эпоха развития философской мысли выдвигала на первый план своеобразные, только ей свойственные, проблемы и вопросы. В глубокой древности в Греции философская мысль вначале была сосредоточена над вопросами бытия, над проблемами происхождения мира и его устройства, над проблемой материи. Со времени Сократа на первый план выдвигаются гносеологические и этические вопросы; в средние века, когда философия лишилась совершенно самостоятельности, содержание ее стало тождественно с теологией; в новое время на первый план, вначале, выплыли вопросы метода...

Как бы ни разнообразило это содержание философских течений,—но, в зависимости от ответа на кардинальнейший, «возвышеннейший» вопрос философской мысли о соотношении познания и действительности, сознания и материи, суб'екта и об'екта—мы разбиваем все философские учения на два больших лагеря: идеалистов, которые исходят из первичности суб'екта и сознания, и материалистов, которые исходят из первичности об'екта и материи. Как всегда водится, есть еще третий лагерь,—философского болота—лагерь дуалистов, эклектиков и принципиальных путаников, которые хотят примирить идеализм с материализмом, которые исходят из положения о равной одинаковой истинности их обоих.

Методы философских учений также исторически разнообразны.

В Греции в первое время господствовал умозрительный метод; с именем Сократа связан так называемый сократический, эвристический метод; в средние века господствовал силлогический метод формальной логики; Бэкон в новое время явился основоположником эмпирического индуктивного метода; Декарт и Спиноза обосновали математический «геометрический» метод..

Но, как бы ни были разнообразны эти методы философских учений, мы разбиваем их на диалектику и метафизику.

Диалектика есть развитие—закон движения и развития материи, закон, определяющий переход одной формы материи в другую, принцип связи одних явлений с другими. Более конкретно, диалектика есть развитие путем борьбы противоположностей; закон перехода одной формы материи в другую, от одного качества к другому,—путем скачка и количественных изменений, путем отрицания отрицания. Диалектикой также называется и учение об этом развитии, наука о законах движения и развития материи, учение о диалектике. Диалектический метод — это способ рассматривать вещи с точки зрения развития, в связях и переходах, путем борьбы противоположностей и пр. Метафизика, в противоположность диалектике, — это принцип покоя, это правила устойчивого и неподвижного состояния действительности. Принципы метафизики, в противоположность диалектическим, есть принципы обособленности вещи, разрыва и ограниченности одних состояний, явлений и форм действительности от других. Метафизикой мы также называем и учение об этих принципах неподвижности и покоя.

В таком случае понимание метафизики тождественно с тем определением, какое мы даем формальной логике. Метафизический метод—это способ рассматривать вещь не в процессе, не в движении и развитии, а в покое, в застывшем стационарном состоянии. Следует подчеркнуть, что диалектический метод противоположен метафизическому, и только это противоположение является действительным, только оно имеет методологический смысл.

Таково основное деление философских учений по содержанию и по методу. Спрашивается теперь—как связаны между собой эти два разреза, эти две плоскости деления философских учений? В каком отношении деление философских учений на материализм и идеализм находится к их методоло-

ической характеристике, их разделению на диалектические и метафизические. Или иначе — какая форма более всего подходит к материалистическому содержанию философского учения и какая — к идеалистическому?

Здесь, так же, как и в других случаях, обнаруживается правильность известного диалектического положения, что всякое определенное содержание требует определенной, соответствующей ему формы, а эта последняя, в свою очередь, увязывается только с определенным, соответствующим ей содержанием. Метод философии, как известный способ решения философских проблем, находится в связи с содержанием и не может быть рассматриваем изолированно от него. Философская система вырастает обыкновенно с помощью определенно соответствующего ей метода, и, наоборот, строго определенный метод обыкновенно связан с определенной, соответствующей ему философской системой. В этих парных комбинациях: материализм и диалектика, материализм и метафизика, идеализм и диалектика, идеализм и метафизика — есть правильные в методологическом отношении и есть такие, какие таят в себе внутрённюю несогласованность и противоречие.

Диалектика, как мы определили, есть развитие материи, есть способ движения самой действительности. Диалектика есть всеобщий существенный атрибут самой материальной действительности, потому что действительность в целом, и в каждой своей части, и в природе, и в обществе, и в человеческом мышлении, движется по законам диалектики. Движение есть всеобщая форма существования материи, не может существовать движения без материи и наоборот—нет материи, которая была бы лишена движения. Существует, стало быть, самая теснейшая реальная связь между материей и движением, между действительностью и диалектикой. Именно эта реальная связь обуславливает собою логическую связь между материализмом и диалектическим методом, между учением о материи и способом рассматривать действительность в развитии.

Вот почему диалектическая форма философского учения соответствует и гармонирует только с материалистическим содержанием. Только материализм в диалектической форме есть логически выдержанный, последовательный, правильный, безупречный, истинный материализм. Г. В. Плеханов в своей работе о Н. Чернышевском совершенно правильно замечает, что «диалектический метод материалистичен по своей природе», и под его влиянием даже исследователи, стоящие на идеалистической точке зрения, в своих рассуждениях являются подчас несомненными материалистами. Лучшим примером этого может служить сам Гегель, который в своей философии истории нередко покидает почву идеализма и становится, как выразились бы теперь люди, злоупотребляющие терминологией Маркса, экономическим материалистом. Но для того, чтобы понять во всей ее полноте материалистическую природу диалектического метода, нужно выяснить себе, что его сила заключается в сознании того, что ход идей определяется ходом вещей и что поэтому суб'ективная логика мыслителя должна следовать за об'ективной логикой исследуемого явления» [1]) (Разрядка моя. *Г. Д.*).

То же самое неоднократно подчеркивал и т. Деборин, указывая на то, что «метод неразрывно связан с содержанием», с «результатами», что «при правильном методе не должно быть противоречия между ним и его содержанием» [2]) и что «в известном смысле можно сказать, что материализм без диалектики слеп, а диалектика без материализма пуста. Этим и об'ясняется то обстоятельство, что великий идеалист, но

---

[1]) Г. В. Плеханов, Соч., т. V, стр. 229.

[2]) А. Деборин, Философия и марксизм, стр. 11.

вместе с тем и великий диалектик Гегель часто вступал на материалистическую почву, когда ему приходилось «пустую» диалектику наполнять конкретным содержанием. Материализм без диалектики ограничен, односторонен и превращается в метафизический материализм. Но диалектика без материализма пуста»[1]).

Соответственно этой связи материализма и диалектики также связаны методологически, теснейшим образом идеализм и метафизика. Метафизик уродует действительность, суб'ективирует ее, приписывает ей такие свойства, какие она не имеет, и, наоборот, отнимает от нее постоянные, присущие ей качества. Действительность развивается и переходит из одной формы в другую, а метафизик ее останавливает и рассматривает ее только в покое. Действительность конкретна, многосторонняя и многогранна — в полноте своих связей и соотношений, а метафизик разрушает эти связи, выпячивая абстрактно одну какую-нибудь черточку, одну только сторону, один моментик.

Переворачивая действительные отношения, теряя опору в действительности, метафизик неизбежно вынужден обосновывать свой метод идеалистически, ссылаясь на сознание, обращаясь к «субстанциональному постоянству» духовной жизни, ссылаясь на мысль, разум, логос и бога. «Все метафизические системы,— говорит А. Деборин,— имевшие своим предметом абсолютное, естественно, пользовались метафизическим методом и на него опирались. Метафизический метод порождает метафизические системы. Он неизбежно приводит к общим метафизическим представлениям о мире, к метафизическим теориям и, в конечном счете, к метафизическим системам. Метафизический метод, в свою очередь, опирается на так называемую формальную логику. Формальная логика, метафизический метод (теории) и метафизические системы логически связаны одно с другим, составляя одну цепь, одно целое». Метафизический метод поэтому неизбежно ведет к идеализму, по самой своей сути он идеалистичен.

Идеализм также уродует действительность, переворачивая истинную связь суб'екта и об'екта, сознания и материи. Точно в кривом зеркале все реальные отношения и связи принимают чуждый, извращенный характер. Идеализм не может, по самому существу, взглянуть на отношение суб'екта и об'екта, мысли и действительности с точки зрения развития, потому что из суб'екта, из мысли, из сознания нельзя развить, вывести, произвести материю и природу; то, что не выводится реально, то не выводится и логически, в размышлении. Идеализм, который исходит из первичности суб'екта и сознания, отвергает положение, что сознание есть продукт долгого исторического развития, что оно появилось только на определенной ступени развития материи. Идеализм, который первоначальным считает познание, не в состоянии обосновать практическую и теоретическую деятельность общественного человека, не в состоянии вывести из голой деятельности мысли все разнообразие реальных форм... Извращая материальные отношения, идеализм противоречив и вынужден неизбежно прибегать к натяжкам, к искусственным предположениям, чтобы придать себе вид убедительности и истинности. Идеализм связан самым тесным образом с религией. В сущности говоря, всякий идеализм, в какой бы он форме ни был выражен, тождественен с религией и теологией, всякий идеализм откровенно или тайно, открыто или замаскировано, под разными уловками и хитросплетениями всегда протаскивает «боженьку» и веру. Вот почему идеализм, именно потому, что он не может взглянуть на природу — последовательно диалектически, должен по необходимости прибегнуть к метафизическим постулатам,

[1]) Там же, стр. 245.

к абсолютному, вынужден неизбежно рассматривать вещи метафизически, в абсолютных или, наоборот, релятивных определениях, в застывшем раз навсегда данном состоянии. Стало быть, всякий идеализм, по своей сути, неизбежно метафизичен.

Такая методологическая связь существует между материализмом и диалектикой, между идеализмом и метафизикой.

Но это верное положение о гармонической связи метода и системы, формы и содержания философского учения, необходимой связи материализма с диалектикой, а идеализма с метафизикой, не должно быть абсолютизировано. Для характеристики некоторых философских учений существенно, наоборот, противоречие их метода и системы. Здесь также подтверждается диалектическое положение, что известное определенное содержание не всегда выражено в соответствующей ему форме. Вещи надо рассматривать конкретно, диалектически, в развитии, и тот не диалектик, кто твердит об однозначной и определенной, раз навсегда данной, связи формы и содержания.

Материализм в диалектической форме есть продукт долгого исторического развития. Материализм древних, материализм нового времени — XVII–XVIII ст. — был метафизичен, несмотря на отдельные проблески диалектики. И в то же время диалектический метод впервые был обоснован на почве идеалистических философских систем.

Нельзя представлять себе, что диалектика есть некая совершенно пустая форма, совершенно безразличная к тому содержанию, с каким она имеет дело. Именно потому, что диалектика, в какой бы форме она ни была выражена, по самой своей природе, характеризует движение материальной действительности — она не может согласоваться с чуждым ей идеалистическим содержанием. Вот почему — соединение материализма с метафизикой, а идеализма — с диалектикой есть противоречивое дисгармоничное соединение. Для понимания философских учений в таком случае характерно противоречие метода и системы, только последнее дает нам методологический ключ для их об'яснения и критической оценки.

2. Гегелевская философия есть абсолютный, об'ективный и панлогистический идеализм

Это противоречие характерно также и для философии Гегеля.

Философское учение Гегеля многосторонне и об'единяет собою все отрасли современной ему научной мысли, все области современных ему идеологических течений. Сама задача, какая была поставлена Гегелем философии, предопределяет универсальность и обширность его философской концепции. Надо было чисто-умозрительным путем, средствами одной лишь спекулятивной мысли — обосновать все человеческое познание, всю человеческую практику, — надо было синтезировать и связать в единое целое все области идеологии: науку и религию, право и нравственность, историю и естествознание, теорию и практику и пр. Эту задачу пытался осуществить Гегель в различных отделах и частях своего грандиозного философского учения. В центре находится логика, рядом с логикой — ее ближайшие ответвления: философия природы и философия духа, а затем разнообразнейшие философии: права, искусства, религии, истории, феноменология духа и пр. Эти различные части его философии покоятся на строгом единстве строительного плана, что имеет существенное значение для их критической оценки.

Гегель был последовательным мыслителем и со стороны содержания своего философского учения, и со стороны формы. Со стороны содержания —

он настойчиво проводит идеалистическую точку зрения, идеалистически разрешая основной вопрос всякой философии.

Со стороны метода Гегель последовательно пытается рассматривать все вопросы с помощью диалектики. Философское учение Гегеля в целом должно быть определено как диалектический идеализм.

Именно эта настойчивость, с какой Гегель хочет провести идеализм и одновременно разрешить все вопросы с помощью диалектического метода, приводит к единообразию противоречия метода и системы, которое повторяется в каждом отделе, в каждой части, в каждой проблеме его грандиозной философии.

Это противоречие, основное для философии Гегеля,—оно является источником всех других противоречий и неувязок, оно является как бы законом для понимания всех особенностей, всех положительных и отрицательных сторон его философии, ключом для ее критической оценки. Только в свете этого противоречия мы можем понять — какую социальную роль, каким классовым интересом, какое место среди политической и идеологической борьбы занимала философия Гегеля. И только в свете этого противоречия можно понять разложение гегелевской школы, переход от нее к марксизму и диалектическому материализму.

Неверно рассматривать это противоречие как механическое столкновение двух разрозненных, противоречащих друг другу половинок, метода, который всегда равен самому себе, «нацело» диалектичен, и системы, которая всегда и при всех условиях идеалистична. Само это противоречивое соединение метода и системы нужно рассматривать в движении и взаимодействии, в процессе которого и та и другая сторона и метод и система испытывают существенные изменения.

С одной стороны, идеалистическая система Гегеля в некоторой своей части, под влиянием диалектического метода, переходит в материализм. Метод Гегеля взрывает идеалистическую систему, и последняя вынуждена переворачиваться с головы на ноги. С другой стороны, идеалистическая система оказывает обратное влияние на метод Гегеля. Диалектический метод Гегеля, под влиянием системы, переходит в метафизику.

Эти два результата, какие получаются от взаимодействия метода и содержания, создают своеобразную трудность в изучении философии Гегеля. Получается весьма сложная сеть взаимодействий, взаимных влияний, больших и маленьких противоречий, которые все без остатка нанизываются на основное противоречие метода и содержания в философии Гегеля.

Не выходя за пределы гегелевской философии, материализм уже противопоставляет себя идеализму,— таков результат влияния диалектического метода на гегелевскую систему. Точно так же уже в пределах гегелевской философии метафизика противопоставляет себя диалектике, — таков результат обратного влияния идеалистической системы на метод Гегеля. Этими результатами предопределяется наша характеристика взаимодействия метода и системы философии Гегеля. Сначала мы дадим общую характеристику гегелевского идеализма и покажем затем, как и в каких пунктах этот идеализм, под влиянием диалектики, переходит в материализм, а потом мы покажем, как видоизменяется диалектический метод Гегеля под влиянием его системы.

* * *

Гегель—идеалист, это означает, что основной вопрос всякой философии об отношении сознания к материи он решает идеалистически. Первичным он считает суб'ект, сознание и дух, — об'ект, внешнюю действительность

он считает вторичным, производным от духа. Идеализм Гегеля своеобразен и отличен от суб'ективного идеализма Фихте и от критического идеализма Канта. Если искать исторических аналогий, то гегелевская философия, в смысле своего идеализма, — в отношении того, как понимается первичность духа по отношению к материи, ближе всего походит на великие идеалистические системы Платона и Лейбница. Так же, как и эти системы, Гегель определяет первичность духа по трем признакам. Гегелевская философия есть абсолютный, об'ективный и панлогистический идеализм.

Прежде всего, гегелевская философия есть абсолютный идеализм. В центре всей философии Гегеля находится абсолютная идея. Все части, все отделы грандиозного учения Гегеля служат лишь средством для изучения тех или иных проявлений абсолютной идеи. Так же, как все дороги ведут в Рим, так и все отделы гегелевской философии служат лишь путями познания абсолюта. Этот абсолют философии Гегеля есть не что иное, как бог. Гегелевский идеализм имеет своим, в сущности говоря единственным, предметом бога. В этом состоит самое первое определение гегелевской философии.

Гегелевская философия тождественна с теологией, но очищенной от суеверий, от явных нелепостей и наивной мистики, от обывательских басен и чудесных мифов. Это та же теология, но которую Гегель хочет подкрепить всем авторитетом современной ему науки, всеми средствами научных доказательств. Гегелевская философия поэтому есть рациональная теология, которая хочет разумом доказать неразумное и несуществующее, хочет об'яснить рационально иррациональное, доказать бытие того, что не имеет бытия и что поэтому не доказывается, не об'ясняется.

Философия Гегеля есть последний рациональный оплот теологии, как справедливо заметил Людвиг Фейербах. Тайна теологии есть тайна умозрительной философии. «Сущность умозрительной философии есть не что иное, как рационализированная, осуществленная, ясно представленная сущность бога. Умозрительная философия есть истинная, последовательная, разумная теология» [1]). Гегель возобновляет средневековые доказательства бытия бога. Вся его философия в целом представляет собою одно грандиозное доказательство существования бога. От проявлений мы восходим к сущности бога, от разрозненных отдельных свойств, атрибутов и определений мы восходим к их внутренней основе, к бесконечному единству всего существующего, чем является абсолютная идея.

Так же как и в теологии, бог у Гегеля занимается творчеством действительности. Абсолютная идея путем внутреннего присущего ей творческого акта полагает из себя действительность, природу и историю.

Гегель не отвергает существование материи и об'ективной действительности «на известных условиях», — он дает им место в своей философской системе. Абсолютный идеализм Гегеля есть в то же время об'ективный идеализм. Именно по этой причине и самое понимание суб'екта у Гегеля не то, чем в обыденном понимании или в концепции суб'ективного идеализма. Суб'ект философии Гегеля, прежде всего, не конкретный человек, суб'ект — индивидуум со своим индивидуальным ограниченным познанием, со своими ограниченными человеческими свойствами. Суб'ект в учении Гегеля — это абсолютная идея, бесконечный мыслящий дух, бог, который проявляется также и в конечном мыслящем духе человека. Человеческий индивидуум есть тоже суб'ект, но это конечный ограниченный суб'ект, порождение бесконечного суб'екта абсолютной идеи.

---

[1]) Л. Фейербах, Соч., т. I, стр. 77.

Отношение сознания и действительности в гегелевской философии выступает, прежде всего, в виде отношения абсолютной идеи к природе, бесконечного суб'екта к об'екту и действительности. В этом смысле нужно понимать, прежде всего, учение Гегеля о первичности суб'екта — абсолютной идеи по отношению к об'екту и действительности. Точка зрения Спинозы, которая выдвигает на первое место субстанцию, тождественную с природой, как источник всего существующего, недостаточна и поэтому неверна. Истинное определение субстанции состоит в том, что она является предикатом, сказуемым бесконечного суб'екта, абсолютной идеи. Внешняя действительность, материя—это только момент в жизни бесконечного целого- абсолютной идеи, одно из ограниченных и конечных ее определений. Материя не может быть понята из самой себя, а только в соотношении с этим бесконечным целым

Отношение сознания и материи в философии Гегеля может быть представлено так же, как отношение логического и исторического, его логики ко всем остальным его частям его философии, к его философии природы и духа, к естественной и общественной истории.

Логика есть учение об абсолютной идее, о бесконечном суб'екте в его чистой, развитой, наиболее совершенной истинной форме. Первичность суб'екта—абсолютной идеи по отношению к об'екту—есть, стало быть, первичность логики по отношению ко всем другим частям его философии. Вот почему доказательство необходимости существования предметной действительности, природы и человеческой истории надо искать только в логике. Логика Гегеля в целом во всех своих категориях и переходах заранее репетирует и воспроизводит ступени и формы, по которым происходит развитие конкретной действительности. Понятие еще не вышло из логической сферы, еще не перешло в область конкретного бытия, а уже предваряет весь ход развития естественной и общественной истории.

Сказанное в особенности применимо к последнему отделу логики, посвященному понятию. Здесь отчетливо видно, как гегелевское логическое топорщится, извивается в родах и силится произвести из себя, из чистой сферы духовной деятельности все реальное, конкретное и историческое. Ступени и разделы понятия (механизм, химизм, организм, идея) здесь в точности соответствуют ступеням развития природы и человеческого духа. Логика, по Гегелю, таким образом, производит историю. Конкретно-историческое есть тоже логическое, но выраженное в особой форме, выступая сначала в виде природы, а затем как ступень развития человеческого духа. Сущность логического есть мышление или деятельность понятия. Мышление или понятие есть истинная абсолютная основа всего существующего, потому что бесконечный суб'ект, бог есть не что иное, как бесконечный разум, мышление в бесконечном единстве своих определений. Логика и история тождественны в своей сущности—и то и другое есть мышление, но в разных формах своего проявления. Логика управляет историей, потому что все существующее изменяется и развивается по милости понятия, в силу закона имманентной, извечно присущей ему деятельности. Вскрыть деятельность понятия в реальной действительности — такова, по Гегелю, наивысшая задача научного познания. В этом смысле нужно понимать положение Гегеля о тождестве мысли и действительности, понятия и предмета.

Абсолютный, об'ективный идеализм Гегеля есть, таким образом, панлогизм.

Абсолютность, об'ективность, панлогичность суть три весьма важных признака гегелевского идеализма, придающие ему своеобразные черты. В плоскости этих трех признаков Гегель последовательно идеалистически подходит к изучению всех частей и отделов своей философской системы.

Для того, чтобы охарактеризовать гегелевский идеализм — вовсе нет необходимости следовать за Гегелем по всем этажам и переходам его колоссального философского здания. Для этой цели необходимо и достаточно выделить основное — показать, как и в чем проявляется идеализм Гегеля в его взглядах на природу, на человеческую историю и на движение человеческого познания.

* * *

Гегель идеалист в своих воззрениях на природу, в своих натурфилософских взглядах.

Логика—это идея истины, развивающаяся в отвлеченной стихии мышления. Природа есть тоже система логических определений, но осуществляющихся в предметах внешних и чуждых друг другу. Естественное происходит из логического. Логическое об'ективируется в природу. И поэтому вопрос, сотворена ли природа или нет, «разрешается сам собою».

Предметы природы об'ективны, но они не имеют независимого самобытного абсолютного бытия — они вторичны и производны по отношению к разуму и суб'екту. Создания природы раздроблены и раз'единены, и связь между ними не открывается сразу. Божественная идея скрыта в природе, затемняясь игрою внешних влияний, внешних случайностей. Идея бога не находит себе вполне соответственного выражения ни в одном из единичных предметов природы.

Но в то же время было бы неверно сказать, что природа лишена бога, что в ней не отражается вовсе абсолютная идея. Сама природа есть идея— она обоснована и обязана своим существованием абсолютной идее,—она движется и развивается только в силу того божественного начала, которое в ней имеется.

Этим и характеризуется развитие природы. Это развитие есть последовательное обнаружение деятельности понятия, которое с каждой ступенькой проявляется все яснее и яснее. Сначала в механике, на первой ступени развития природы—понятие проявлялось исключительно «во внешности» и именно поэтому было бы еще только, «во внутренности», скрываясь за случайными, единичными и раздробленными предметами природы. На последней ступени—в органической жизни, понятие обнаруживает отчетливо уже свою внутреннюю сущность—в силу чего создается переход к духу—последней более совершенной ступени.

Развитие природы есть, таким образом, процесс преобразования внешних отношений во внутренние. Природа может быть поэтому определена как вводная ступень к более совершенной духовной жизни. Природа, которая в своей внешности, в своей «кажимости» есть царство железной необходимости, исключающей какую-либо телеологию, на деле, в своем внутреннем определении, выполняет предназначенную ей цель—служить опорой и преддверием к бесконечному совершенству деятельности духа.

Гегель—идеалист в своих воззрениях на движение общественной жизни. Это обнаруживается прежде всего в месте, какое он отводит общественной истории в своем философском плане. Характеристика общественной истории фигурирует у Гегеля в качестве одного отдела-ступени: в развитии человеческого духа. Область духа обнимает собою три сферы ступени: суб'ективного, об'ективного и абсолютного духа. Всемирная история связана только со второй ступенью—с развитием об'ективного духа. Всемирная история, таким образом, целиком духовна и в качестве таковой фигурирует в одной плоскости с индивидуальным человеческим сознанием и с общественной идеологией.

Исторический процесс, также как и всякий другой действительный процесс, определен в своей основе абсолютной идеей. В основе всемирной исто-

рии лежит верховная цель—план, который устанавливается самим божественным провидением. Исторический процесс телеологичен и разумен—он является необходимым обнаружением мирового духа, по-разному проявляющему в исторических эпохах, событиях и фактах свою единую бесконечную божественную природу.

Общий дух человечества обособляется соответственно различным частям света, проявляясь в различных расах или человеческих породах, физические и духовные свойства которых остаются совершенно постоянными на всем протяжении развития мировой истории. Из всех основных рас—африканской, монгольской и кавказской—только в последней дух достигает абсолютного единства с самим собою, совершенно освобождаясь от природы. И только последняя раса определяет и производит всемирную историю.

Дух каждой расы, в свою очередь, разбивается на народности, которые также различны по своим внешним и внутренним свойствам, по образу жизни, физиологическим данным, наклонностям, дарованиям ума и пр. и пр. Эти различия определяют собою национальный или народный тип, который так же постоянен в развитии человеческой истории, как и расовый тип. Каждый народ осуществляет в историческом процессе известную определенную историческую миссию, определенное призвание, оправдывая этим смысл своего исторического существования. «Дух всякого народа ограничен, и потому он в своей самостоятельности образует только момент во всемирной истории; события всемирной истории показывают, что дух каждого народа, вследствие своей ограниченности уступает место другим, и в этом диалектическом движении состоит верховный суд истории» [1]).

Дух народа ограничен—он осуществляется в определенных условиях, в известных временных исторических интересах, законах и обычаях, в случайных поступках людей. Но дух народа сознает эту свою ограниченность, отрицает ее и возвышается к сознанию своей сущности, которая есть не что иное, как свобода. Отсюда то известное определение всемирной истории, какое дает Гегель. «всемирная история есть прогресс в сознании свободы». Этому положению Гегель придает особо выдающееся значение и кладет его, в качестве основного признака, в основу деления эпох всемирной истории.

Общий всемирный дух, через особенный дух народа, осуществляется конкретно в единичном духе отдельных исторических личностей. В своих частных интересах, в борьбе страстей, в погоне за наслаждением, в добродетельных поступках и пороках, большей частью бессознательно, а иногда и сознательно, эти исторические личности проводят веления абсолютной идеи. Вот почему эти исторические личности являются по справедливости «делопроизводителями» мирового духа, в чем и состоит «лукавство понятия» в области исторического процесса.

Так же идеалистически смотрит Гегель на все другие стороны и сферы общественной жизни.

Гегель — идеалист в своих воззрениях на движение человеческого познания.

Человеческое познание определено к развитию своей целью—абсолютной идеей. Достичь познания абсолюта, познать разумом, что все существующее обязано своим бытием божественной силе—такова верховная задача человеческого познания.

Человеческое познание об'ективно, в обыденном смысле этого слова. Оно действительно начинает с внешнего и якобы совершенно независимого от нашего мышления об'екта. Человеческому познанию, в его начальной стадии, противостоит внешняя действительность. Но она противостоит только для того, чтобы быть уничтоженной и отождествленной с мыслью и поня-

[1]) Гегель, Философия духа, стр. 350.

тием. Не материальная об'ективная действительность является предпосылкой для познавательной деятельности суб'екта, а его внутренние определения, имманентный закон его внутренней суб'ективной жизни. Не от суб'ективного к об'ективному направляется у Гегеля познавательный процесс, а наоборот,—от об'ективного к суб'ективному. Во внешнем, противостоящем человеческому познанию, об'екте суб'ект находит свои собственные проявления как мыслящего духа. Точка зрения субстанции, из которой исходит философия Спинозы, должна быть заменена точкой зрения суб'екта. Задача познания состоит в том, чтобы представить субстанцию, как суб'ект, показать, что все об'ективное и предметное, все противостоящее суб'екту, как чуждое, на самом деле есть не что иное, как собственное проявление мыслящего духа.

Эта задача выпадает на долю особой науки—феноменологии духа или учении об являющемся сознании.

Феноменология духа показывает, что чувственное познание, которое имеет дело с об'ектом и внешними предметами не может являться опорой для деятельности мысли. Чувственное познание лишено истины и поэтому оно должно быть отринуто и заменено разумным рациональным постижением существующего. Разумное познание развивается свободно—в чистой стихии мышления, не отягощенное об'ектом. Только в разумном познании достигается истина и обнаруживается, что предмет и мысль о предмете, об'ект и суб'ект — это одно и то же. Одно и то же потому, что предмет и есть мысль, а суб'ект есть, в конце концов, истина об'екта.

Так же идеалистически смотрит Гегель и на движение общественного сознания — на развитие идеологии: морали, эстетики, религии и философии.

3. Диалектический метод взрывает идеалистическое содержание философии Гегеля.

«Диалектический метод материалистичен по своей природе, и под влиянием его исследователи, стоящие на идеалистической точке зрения, в своих рассуждениях являются подчас несомненными материалистами. Лучшим примером этого может служить сам Гегель...»

Г. Плеханов, Н. Г. Чернышевский.

«В гегелевской системе дело дошло, наконец, до того, что она и по методу, и по содержанию оказалась лишь перевернутым вверх дном материализмом».

Ф. Энгельс, Л. Фейербах.

«Об'ективный (и еще более абсолютный) идеализм зигзагом (и кувырком) подошел вплотную к материализму, частью даже превратился в него».

Н. Ленин, Философские тетрадки.

Нет ни одного великого мыслителя древности и нового времени, в произведениях которого не было бы элементов диалектики. Энгельс совершенно справедливо указал на Аристотеля, который не только пользовался иногда диалектическим методом для решения некоторых вопросов своей философии, но «уже исследовал существеннейшие формы диалектического мышления». В новое время—Декарт, а особенно Спиноза, являются во многих отношениях блестящими представителями диалектики. Можно указать также на Бэкона, Лейбница, Канта, Дидро и др.

Но диалектика этих великих мыслителей, как бы она ни была блестяща и интересна в отдельных случаях, не является типичной и характерной для их философских учений в целом. Эта диалектика не систематична, бессознательна и случайна. Обыкновенно она находится в самом резком противоречии с теми методами, какие сознательно применяли мыслители в своих системах. Диалектика свидетельствует не о последовательности мыслителя,

а, скорее, о его непоследовательности, о бессилии тех способов и путей, к которым он обыкновенно прибегает для разрешения философских проблем.

Не то мы имеем у Гегеля... Гегель интересен для нас не только как мастер диалектики—в том отношении, что он сам искусно применяет диалектику, разрешая с помощью ее вопросы своей философии. Гегель интересен для нас, прежде всего, как методолог,—как учитель диалектики.. Он первый дал многообразное и развитое учение о диалектике, о диалектическом методе, об основных формах и законах диалектического движения, «целую энциклопедию диалектики»—как выразился однажды Ф. Энгельс. В этом состоит величайшая его заслуга перед историей развития философской мысли.

Именно по этой причине гегелевская диалектика в отличие от диалектики других великих мыслителей древнего и нового времени была сознательной и систематической.

Гегель сознательно применяет диалектический метод в своей философии. Он отчетливо понимает, что значит рассматривать вещи диалектически и в каком отношении диалектический метод противоположен метафизическому. Гегелевская диалектика систематична. Сознательно сделав диалектику методом своей системы, Гегель систематично, с ее помощью стремится разрешить каждый вопрос своей философии. В этом отношении вся его система, в каждой своей части, может служить прекрасным примером применения диалектики.

* * *

Как ни важно показать абсолютность, об'ективность и панлогичность гегелевского идеализма, но эти три признака не отличают его существенным образом от некоторых других идеалистических философских учений. Эти три признака свойственны также идеализму Платона в древнее время и идеализму Лейбница в новое время. Самая характерная, самая существенная, самая своеобразная и отличительная черта гегелевского идеализма состоит в том, что он диалектичен. Диалектика—специфическое качество гегелевской философии—ею она отличается от всех других видов и форм идеализма, от всех видов вульгарного метафизического материализма. Диалектика Гегеля не случайна, не является исключением из правила, а входит составляющим, фундаментальным основным элементом в его философию.

Гегель диалектик—это означает, что он хочет рассматривать все вещи в развитии, в движении, в процессе, в конкретных связях и переходах. Как диалектик, Гегель возвышается над ограниченностью формальных логиков. Во всех частях своей философии он дает блестящую, и, пожалуй, не превзойденную до сих пор, критику формально-логической концепции. Как диалектик, Гегель является основоположником подлинного историзма, который отличен от фальшивого историзма, скользящего на поверхности явлений, историзма эмпирического, зачастую переходящего в самый безудержный релятивизм. Действительность целиком исторична, единственной наукой, изучающей действительность, является история — таков основной диалектический результат философии Гегеля.

Гегель диалектик — он хочет провести в своей философии все основные методологические принципы, какие служат предметом изучения его логики.

Он рассматривает всю действительность, все явления природы, общества и человеческого мышления в единстве противоположностей. И этот главный диалектический принцип получил развитую характеристику и применение впервые только в философии Гегеля. Тождество в философии Гегеля не абстрактное метафизическое застывшее тождество, всегда равное самому себе.

Противоречие у Гегеля не метафизическое дуалистическое неразрешимое безвыходное противоречие, разбитое раз навсегда на две противостоящие друг другу половинки. Тождество у Гегеля включает, переходит, развивается в противоречие—и наоборот. Единство противоположностей—основной закон всякого развития. Согласно ему вещи развиваются в силу свойственных им противоречий. Противоречие движет миром, и нет ничего «на небе и на земле»,—говорит Гегель,—что не имело бы в себе противоречия. Это единство противоположностей конкретно обнаруживается в целом ряде других единств, которые также хочет установить Гегель—в единстве внешних и внутренних отношений, необходимого и случайного, единстве формы и содержания и пр. и пр.

Гегелевская философия монистична не только в количественном смысле, в том отношении, что она исходит из одного начала, в отличие от дуализма, исходящего из двух начал, в отличие от плюрализма, исходящего из многих начал. Гегелевская философия монистична в более высоком смысле—в том отношении, что она исходит из принципа единства противоположностей, существенно отличаясь в этом от абстрактного метафизического монизма.

Гегель хочет последовательно провести в своей философии принцип единства качества и количества. Он против непрерывной количественной концепции развития, особенно культивируемой представителями механистического мировоззрения, согласно которой природа «не делает скачков». Гегель, напротив, утверждает, что в природе, в истории, во всем мире скачки составляют такой же необходимый элемент развития, как и непрерывный эволюционный процесс. Этим самым гегелевская философия является общим теоретическим обоснованием и защитой революции.

Гегель последовательно хочет провести в своей философии принципы отрицания отрицания. Все существующее в себе самом имеет силы, которые ведут к его отрицанию, гибели, переходу в другую вещь. Всякое положительное есть вместе с этим также и отрицательное. Но это другое отрицательное, заступающее место первого, в свою очередь, также отрицается и переходит на следующую ступень, которая формально сходна и совпадает с первой.

Диалектический метод—содержательный метод—он требует вполне определенного содержания, только в сочетании с которым он способен сохранять свою диалектическую природу. Диалектика не есть пустая внешняя форма, совершенно равнодушная к предмету, с каким она имеет дело. Диалектический метод материалистичен по своей природе—это значит, он правильно, последовательно, гармонично увязывается только с материалистическим содержанием, это значит, что диалектический метод есть способ, каким сама материя разрешает поставленные ей вопросы, этот метод есть форма—закон самого материального движения. Вот почему последовательное применение диалектики неизбежно приводит к материализму и, наоборот, последовательно проведенный материализм есть, неизбежно, диалектический материализм. Нельзя последовательно провести точку зрения развития, последовательно применить принципы диалектики, последовательно рассматривать вещи с точки зрения основных законов диалектики: единства противоположностей, перехода качества в количество, отрицание отрицания, — не определяя конкретно — что развивается, из чего оно развивается и может ли оно развиваться именно из этого, не выясняя — что является сущностью единства и процесса развития, что является основой, на которой об'единяются противоположности.

В о т п о ч е м у в т о й м е р е, в к а к о й Г е г е л ь п о с л е д о в а т е л ь н о п р о в о д и т д и а л е к т и к у, о н в ы н у ж д е н н е и з б е ж н о, в о п р е к и с в о е м у и д е а л и з м у, п е р е х о д и т ь н а

материалистическую точку зрения. Это обнаруживается в том, что он вынужден иногда формулировать чисто-материалистические положения, вынужден стихийно прибегать в некоторых случаях к чисто-материалистическим об'яснениям.

А. Деборин в своей статье «Материалистическая диалектика и естествознание» следующим образом подчеркивает эту особенность философии Гегеля»: «особенность Гегеля состоит в том, что он, несмотря на свой идеализм, вопреки ему, по каждому почти вопросу развивает, на ряду со спекулятивными и диалектическими построениями, чисто-материалистические взгляды, и это главным образом благодаря диалектике».

В этих случаях особенно явственно сказывается научное бессилие всякого идеализма, в том числе и гегелевского об'ективного. Извращая реальные отношения, перевертывая и уродуя их, идеализм не может рассматривать вещи в развитии, потому что это по своей сущности противоречит всякому идеализму. Гегель сознательный идеалист—он сознательно противопоставляет свое философское учение материализму. Вот почему для самого Гегеля такой переход от идеализма к материализму бессознателен и случаен. Но в целом—материализм является неизбежным выводом из философии Гегеля в той мере, поскольку она пользуется диалектическим методом.

Это обстоятельство неоднократно подчеркивали Энгельс, Плеханов, Ленин. «В гегелевской философии,— говорит Ф. Энгельс,— дело дошло, наконец, до того, что она и по методу, и по содержанию оказалась лишь перевернутым вверх дном материализмом». На это же указывает и В. Ленин «Об'ективный (и еще более абсолютный) идеализм зигзагом (и кувырком) подошел вплотную к материализму, частью даже превратился в него».

Этот переход от идеализма к материализму мы можем последовательно проследить во всех частях гегелевской философии.

Три признака: абсолютность, об'ективность и панлогичность, которые роднят гегелевский идеализм с философским учением Платона и Лейбница, под влиянием диалектического метода существенно видоизменяются и получают другой отпечаток.

И философский метод Платона, и метод Лейбница, несмотря на некоторые проблески диалектики, был по существу метафизичен. Абсолют их философии—мировое благо, мировой разум, мировая душа,—был метафизическим абсолютным, ни в коей мере не подлежащим развитию и изменению. Такое понимание абсолюта вполне гармонировало с ортодоксальным теологическим представлением о боге как о силе, бесконечно совершенной и абсолютно неизменной.

Но диалектика Гегеля не мирится с таким пониманием абсолюта. Как и все существующее, так же, как и бренная природа, так же, как и ограниченный человеческий дух,—бог Гегеля развивается, изменяется, становится, переходит из одного состояния в другое и пр. И в этом развитии состоит по Гегелю самое существеннейшее определение абсолютной идеи. Но изменяющийся и развивающийся бог—это понятие явно противоречивое. Бог, который переходит из одного состояния в другое, бог, который на предшествующей ступени был другим, менее совершенным, менее благим, менее бесконечным, менее вечным; бог, который на последующей ступени стал другим более великим и более вечным; бог, который в разное время обладает разными качествами, не есть уже ортодоксальный христианский, католический, протестантский бог. Это даже совсем не бог — потому что качества божества тут даны уже вместе с их отрицанием.

Под влиянием диалектического метода также существенно видоизменяется и об'ективный характер гегелевского идеализма.

Абсолютная идея — бог у Гегеля — прежде материальной действительности. Сначала бог, а потом природа и человеческая история. Абсолютная идея существует сначала в до-мировом, до-природном, до-историческом состоянии, развиваясь в чистой, логической сфере, в свободной стихии мышления. Разум творит действительность и переходит из чисто-логического бытия в конкретные формы природы и духа.

Но в этом случае получается совершенно странный, неразрешимый параллелизм между богом и природой,— между бесконечным разумом и конкретным, материальным, чувственным существованием. Совершенно нельзя в таком случае примирить бесконечность бога с вечным существованием природы, на котором настаивает наука?! Как примирить бесконечное могущество бога с незыблемым действием законов, господствующих в действительности?! Теологи пытаются вовсе исключить эту область вопросов из сферы науки, пытаются сделать ее исключительным уделом чуда и веры. Но философское размышление о действительности не может удовлетвориться такой богословской постановкой вопроса. И Платон, и Лейбниц—два наиболее ярких представителя об'ективного идеализма, хотят перебросить мост от бесконечного разума, абсолюта, бесконечной монады к действительному фактическому чувственному миру, но не могут это сделать по причине своего метафизического метода. Их об'ективный идеализм есть метафизический идеализм,—суб'ект—абсолютная идея метафизически противоречиво застывает, противополагая себя об'екту, природе и истории.

Не то мы имеем в философии Гегеля... Гегель не разрешил этого вопроса, по причине своего идеализма, но дал пр..вильную постановку, указал пути для его разрешения. Философия Гегеля идеалистична, но это своеобразный идеализм, который нельзя взять за одну скобку, нельзя отождествить ни с об'ективным идеализмом Платона и Лейбница, ни с критическим дуализмом Канта, ни с учением суб'ективного идеализма Беркли и Фихте.

Гегель хочет преодолеть односторонние точки зрения абстрактного тождества и абстрактного противоположения суб'екта и об'екта, мысли и действительности. Он хочет подойти к решению вопроса об отношении суб'екта и об'екта, мысли и действительности, с точки зрения единства, монизма или конкретного тождества, с точки зрения развития, в котором тождество переходит в противоречие и обратно.

Диалектика Гегеля не мирится с дуалистическим пониманием отношения абсолютного суб'екта к материальной действительности, природе и истории. Абсолютная идея — этого требует диалектика Гегеля— в своем развитии переходит в об'ективную действительность, не как во что-то совершенно чуждое и постороннее. Природа и абсолютная идея—это одно и то же, потому что природа божественна, представляя собою понятие в особой внешней форме его существования. Еще более отчетливо выступает божественность понятия в человеческом духе, в его мыслях и всех его созданиях: в искусстве, религии и философии. Но вместе с этим тождеством бога и действительности, суб'екта и об'екта, понятия и реальности — отпадает необходимость в домировом-эфирном небесном существовании логической идеи. Действительная история проходит те же этапы, тот же путь развития, как и небесная история; действительное развитие есть то же логическое развитие, которое служит абстрактным предметом изучения логики. Логическая идея, бог, суб'ект, в таком случае находится не где-то вне мира, до природы и истории — она существует вместе с миром, в самом мире, в природе, в самой человеческой истории. Под влиянием диалектического метода — об'ект и действительность, подчиненные и зависимые от логической идеи проявляют самостоятельность и даже заявляют претензии на главенствующую, руководящую роль. Бог-суб'ект, таким способом отождествленный

с природой, теряет совершенно все свои божественные бесконечные атрибуты и растворяется в природе. Таким образом теизм Гегеля через его пантеизм переходит в атеизм.

Проблема этого атеистического истолкования гегелевской философии, использования его диалектики в борьбе против традиционного казенного богословия, составила содержание целого исторического периода в умственной жизни немецкого общества в начале XIX столетия. Левое крыло гегелевской школы поставило своей задачей последовательно провести принципы историзма и диалектики в истолковании религиозных мифов, евангельских сказаний, в об'яснении чудес, выяснении достоверности божественных личностей, пророков, Иисуса и пр. Умы радикальной части немецкого общества были сосредоточены, некоторое время, исключительно на критике теологии и религии, в такой форме, первоначально, шла борьба против помещичьего деспотизма и так подготавливалась революция 1848 года.

Сочинения Б. Бауэра, Штраусса, Л. Фейербаха, посвященные этому вопросу, произвели целую революцию в богословской литературе. Штраусс и Бауэр попытались дать рациональное и научное об'яснение евангельским мифам. Характерно для Бауэра, что в своей критике ортодоксального богословия он ловко использовал сочинения самого Гегеля. Путем искусного подбора цитат и выдержек из произведений великого мыслителя ему удалось действительно показать, что атеизм есть необходимый вывод из его диалектической философии.

Еще дальше вперед пошел Л. Фейербах. Величайшая его заслуга состоит в том, что он атеистические выводы из философии Гегеля подкрепил материалистическим фундаментом. В самом деле, если бесконечная гегелевская субстанция, бог, тождественна с природой, если бог не отличен от действительности и существует не до мира, а в самом мире, то природа, а не бог является истинным суб'ектом, истинным носителем всех действительных и возможных предикатов. Природа, материя имеет, стало быть, первичное и независимое существование, а дух является вторичным и производным. Таким образом, субстанция снова торжествует над суб'ектом и точка зрения Спинозы остается не опровергнутой.

Таким образом, идеалистический об'ективизм Гегеля переходит в материалистический об'ективизм.

Как ни важен этот переход, он еще недостаточен, чтобы показать всю диалектичность гегелевской постановки вопроса об отношении суб'екта и об'екта. Немецкий классический идеализм подчеркнул действенную активную сторону в отношении суб'екта и об'екта, — в этом его величайшая заслуга в развитии философской мысли, этим он отличается от метафизического материализма и в частности от французского, которому свойственны были созерцательность и пассивность. Но особенно выпукло эта сторона была подчеркнута Гегелем. Даже в свою логику, которая изолирована от чувственности и об'ективного внешнего существования, которая занята миром «чистых сущностей», чистой стихией мышления, Гегель вводит критерий практики. «Замечательно,— по сему поводу говорит Ленин,— к идее, как совпадению понятия с об'ектом, к идее, как истине, Гегель подходит через практическую целесообразную деятельность человека. Вплотную подходит к тому, что практикой своей доказывает человек об'ективную правильность своих идей, понятий, знаний, науки» [1]).

Сама абсолютная идея определяется Гегелем как единство теоретической и практической идеи. Теоретическая идея—познание есть чистое движение мысли, практическая идея есть осуществленное, реализованное познание, мышление, перешедшее в действительность. Вот почему реализация абсолют-

[1]) Ленин, Конспект «Науки Логики».

ной идеи в об'ективную действительность или творчество природы есть не что иное, как конкретное проявление единства теории и практики, теоретической и практической идеи. Но вместе с отождествлением суб'екта и об'екта, вместе с растворением абсолютной идеи в об'ективной действительности — это единство теории и практики — как иное выражение единства суб'екта и об'екта, принимает другой смысл. Оно становится единством теории и практики в человеческой деятельности, в его технической и общественной борьбе.

Вместе с этим диалектическим взглядом на абсолютную идею, вместе с этим диалектическим отождествлением бога и природы существенно видоизменяется и третий признак гегелевского идеализма — его панлогичность. Вместе с отождествлением логического в историческом логика перестает уже играть роль абсолютно суверенной царицы наук, от которой исходят все законоположения, которая все обосновывает и всему дает право на существование, не нуждаясь сама ни в чем. Вместе с подчинением логики истории — существенно видоизменяется и самое понимание логического. Логика является исторической наукой и может быть, в связи с этим, определена как общее учение о действительности, как абстрактное изучение реального исторического процесса. Панлогизм Гегеля в таком случае переходит в диалектический историзм. Но такое, единственно правильное, понимание логического может быть связано только с материалистическим мировоззрением. Логика, которая у Гегеля царственно возглавляет всякое развитие, логика, которая дает начало всякому действительному историческому процессу в этом новом понимании отношения логического и исторического, находит себе место лишь в самом конце исторического развития. Логика, в этом понимании, есть не что иное, как человеческое мышление, которое осознает существенную необходимость действительного исторического процесса. Логика опосредствуется историческим процессом и появляется только вместе с развитием человечества, на самых высоких ступенях развития человеческого общества.

Так же диалектически Гегель рассматривает развитие природы, общественную историю и человеческое познание.

* * *

Область науки о природе находилась при Гегеле во власти метафизического метода мышления. С одной стороны, господствовал узкий эмпиризм естественников, с их методом анализа, с их подозрительным отношением к широкой работе теоретической мысли; с другой, в «точном» естествознании господствовало механистическое мировоззрение со своим также односторонним, количественным подходом.

Уже Кант сделал прорыв метафизического фронта в области естествознания своей теорией об эволюции звездных миров. В виде реакции, против метафизики естественников, возникло спекулятивное размышление о природе или натурфилософия, — в которой было очень много философии, но мало «натуры». Эта натурфилософия имела крупнейшие недостатки, проистекающие, прежде всего, по причине крайне произвольного обращения с научными фактами, крайне произвольной их группировки и совершенно фантастическими попытками их об'яснения, — почему она и вызвала справедливое порицание всех трезвых положительно мыслящих естественников.

Но эта же натурфилософия в некоторых отношениях имела большое значение. Натурфилософы попытались взглянуть на природу диалектически — как на связное целое, проходящее, в своем движении, последовательно определенные ступени. Шеллинг, типичнейший представитель натурфилософии, определяет природу как систему развития, где совершается переход от внешнего к внутреннему, плодом чего является бесконечно-совершенная жизнь духа. Дух и природа находятся между собою в единстве, движущими началами

которого является принцип полярности. Куно Фишер правильно указывает на то, что «Шеллинг первый совершенно ясно, исходя из философских основоположений, высказал принцип органического развития, лежащего в основе современного дарвинизма, если употреблять этот термин без всякого догматического сужения его смысла».

Эта мысль о развитии природы, среди классиков немецкого идеализма, получила наиболее законченное выражение у Гегеля. Прежде всего, как диалектик, Гегель против сотворенности природы. Тот же Гегель, который утверждает, что вопрос о божественном происхождении природы решается утвердительно сам собою, вынужден признать вечное существование природы. С разными схоластическими вывертами, пытаясь противопоставить понятие вечности — понятию бесконечно-долгого времени, Гегель вынужден признать, что, «рассматривая мир, как совокупность конечных существований, мы должны постоянно переходить от одного условливающего предмета к другому, и в этой смене предметов мы не найдем абсолютного начала. С какого бы предмета мы ни начали, мы всегда можем спросить о том, что существовало прежде него, а предмет, его условливающий, в свою очередь, условливается другим и т. д. Короче, оставаясь в сфере конечных предметов, мы не найдем их исходного пункта»[1]. (Курсив мой. *Г. Д.*).

Но природа, не имеющая абсолютного начала, не имеющая исходного пункта; есть, разумеется, вечная природа, существующая как самопричина, как самоначало, не сотворенная и не произведенная духом. К такому материалистическому пониманию о субстанциональной независимости природы неизбежно приводит диалектика. Диалектика есть учение о закономерном развитии действительности, сущности диалектического метода противоречит чудо, всякое неестественное нарушение естественных законов. Необходимость развивается из необходимости и всякое нечто происходит из другого нечто, всякое новое происходит из старого, а не из ничто. Ничто— не материальный, не естественный дух не может служить началом и исходным пунктом материального и естественного развития.

Свое изложение философии природы Гегель начинает характеристикой различных отношений человека к природе. Эти отношения в основном суть двоякого рода: практическое и теоретическое. Как диалектик, Гегель хочет связать теоретическое отношение к природе с практическим, хочет об'единить спекулятивное размышление о природе, о ее силах и законах с техническим действием человека на природу. «Теоретическое отношение к природе,—говорит Гегель,—должно быть дополнено существенными качествами практического отношения к ней, и что только при таком дополнении наше знание о природе будет цельно и полно».

Практическое отношение к природе исходит из потребности человека и состоит в том, что человек заставляет служить природу своим целям. «Человек находит средства против самых различных естественных сил, против холода, воды, огня, диких зверей и т. д. Он берет эти средства из самой природы и употребляет их против нее же; хитрость его разума состоит в том, что он направляет действия одних естественных сил на другие, заставляет их уничтожать эти последние и таким образом достигает желанного результата»[2].

Но одного практического отношения к природе еще недостаточно, чтобы овладеть «самою природою ее общими силами и употребить их в свою пользу». Практическое отношение имеет дело с единичностью природы,

[1] Гегель, Философия природы, стр. 37.
[2] Там же, стр. 25.

с отдельными единичными силами и предметами. Вот почему это отношение должно быть дополнено теоретическим, должно быть связано с естествознанием и с философией природы. Естествознание, а особенно философия природы, «узнает всеобщие условия их существования». Философская мысль овладевает предметами так, что их общие определения неразрывно связаны с их частным и единичным содержанием. Философское мышление, таким образом, «совмещает в себе практическое отношение к природе с теоретическим».

Как же характеризует Гегель теоретическое отношение к природе?

Гегель возражает против безудержной спекуляции современных ему натурфилософов и главным образом против Шеллинга и его последователей.

«Идея философии природы, — говорит Гегель,— опять возникшая в новое время, к несчастью попала в дурные руки, и ей нанесли смертельный удар не столько ее противники, сколько ее друзья. Разумное размышление о природе превратилось в самый пустой, бессодержательный формализм поверхностных мыслей и игру праздной фантазии. Неудивительно, что трезвые наблюдатели и естествоиспытатели отвернулись от таких произвольных идей, навязываемых природе, и что философы, принадлежащие критической школе, не могли одобрить таких странных приемов мышления, выходящих за пределы истинного знания. В самом деле, эти попытки хаотически смешивали грубые эмпирические данные с безотчетными формами мысли, полный произвол фантазии с самыми поверхностными аналогиями и выдавали эту безобразную смесь за идею природы, за разумное знание, за науку; они были уверены, что отсутствие всякого метода и всякой наукообразной формы составляет высшую форму науки. Эти крайности подорвали доверие философии природы и, в особенности, философии Шеллинга» [1]).

Безграничная фантастическая спекуляция Шеллинга и его последователей оторвала натурфилософию от конкретных естественных наук, и противопоставила ее последним. А между тем естествознание и философия природы,— говорит Гегель,— по существу совпадают. Нельзя проводить различие между ними в том, что философия природы основана исключительно на размышлении, а естествознание на одном лишь голом наблюдении, чистом созерцании», — «оба они суть мыслящее исследование природы, и все их различие состоит в различных формах и приемах самого мышления». И философия природы и естествознание обращаются к действительности. Философия не может отбросить от себя эмпирического содержания, составляющего предмет изучения естественных наук. Она признает это содержание, использует его и делает своим собственным содержанием. Она признает всеобщее в отдельных частных данных эмпирического естествознания, очищает его от чувственных примесей и об'ясняет его посредством своих философских категорий. В этом основное отличие философии природы от эмпирического естествознания.

В этих рассуждениях Гегеля о взаимоотношении естествознания и философии уже заключен переход от идеализма и спекулятивной точки зрения к материалистическому взгляду на природу. В самом деле, если естествознание и философия природы совпадают по своему содержанию, то спрашивается, какая надобность может существовать в особой философии природы, стоящей вне и над естественными науками. Не сделать ли лучше тот вывод, какой вполне последовательно позже сделал Ф. Энгельс, исходя из этих же самых посылок, а именно: диалектический взгляд на природу делает ненужной и невозможной всякую философию природы, и что наша задача состоит не в том, «чтобы придумывать связь, существующую между явлениями, а в том, чтобы открывать ее в самих явлениях».

---

[1]) Там же, стр. 21.

В некоторых отношениях это Гегелю уже действительно удалось. Гегель много сделал для очистки натурфилософских взглядов от шелухи и спекулятивной фантастики и дал отчетливую характеристику основных форм движения природы, исходя из самой природы.

Природа развивается по ступеням с необходимостью вытекающих одна из другой. Каждая последующая ступень качественно сложнее, чем предшествующая, и в ней воспроизводятся все предшествующие ступени, но уже в снятом виде. «Те формы, которые существовали самостоятельно на низших ступенях развития природы, являются в высших ступенях как только подчиненные моменты».

Первая простейшая ступень природы — механизм. Здесь материальные элементы существуют самостоятельно, исключают друг друга, и поэтому они множественны. Следующая ступень — физика, она имеет своим предметом индивидуальные тела, т.-е. такие, которые сами определяют свои свойства и в которых обнаруживается внутренняя формирующая деятельность, одерживающая верх над тяжестью или стремлением к внешнему центру». Последняя ступень развития природы — организм. Органические тела — это «самостоятельные особи, которые изнутри самих себя определяют свои элементы».

Вопреки своему идеализму, своему стремлению насадить ступени природы на ступени логического понятия, Гегель, как диалектик, вынужден развивать одни формы природы из других. Природа, в силу этого, получает характер единого целого, единство которого создается переходом одной материальной формы в другую.

Исходя из этой характеристики форм развития материи, Гегель строит свою диалектическую классификацию наук. Соответственно трем основным формам развития природы, существует три основные естественные науки: механика, физика и органика.

Более дробному разделению ступеней развития природы соответствует более дробное подразделение основных областей научного познания. Механика разделяется на ряд научных дисциплин: геометрия, арифметика, конечная механика и абсолютная механика (или астрономия). Физика разделяется на физику: космических тел, обособившихся тел и индивидуально-определенных тел, частью которой является химия. Органика разделяется на геологию, ботанику и зоологию.

Эта гегелевская классификация наук материалистична, потому что здесь научное познание ставится в прямую и непосредственную зависимость от действительности, от форм движения материи. Эта классификация имеет «естественный» характер и во всех отношениях превосходит «искусственную» формальную метафизическую классификацию О. Конта и Г. Спенсера.

И эта гегелевская группировка форм движений материи и связанная с ней гегелевская классификация наук имеют большое научное значение и могут быть, после очистки от идеалистической шелухи, в основном приняты марксизмом. Ф. Энгельс в своих произведениях исходит из этой группировки и классификации, дополняет и развивает ее в связи с современным состоянием научной мысли.

Мы не будем останавливаться на других интересных моментах диалектического взгляда Гегеля на явления природы. Приведенного достаточно, дабы опровергнуть положение некоторых исследователей, что будто бы диалектический метод, по самой своей природе, противоречит конкретной эмпирической методологии естествознания, будто бы он является главной причиной ошибок, какие имеются в гегелевской натурфилософии.

Такое предположение в корне неверно. Верно как раз обратное положение: только благодаря диалектике, благодаря тому, что Гегель стал на

точку развития, он вынужден придерживаться фактов, вынужден давать им об'яснение, соответствующее современной ему науке, вынужден, в некоторых случаях, проводить точку зрения материализма.

Благодаря своему диалектическому методу Гегель, в некоторых отношениях, имел более правильное представление о природе, чем современные ему метафизики-материалисты. Ф. Энгельс категорично и резко по сему поводу выразился следующим образом, что Гегель «своим синтезом и рациональной группировкой естествознания сделал большее дело, чем все материалистические болваны, вместе взятые».

* * *

Гегель — диалектик в своих взглядах на движение общественной жизни. Он — основоположник диалектического историзма, и здесь, преимущественно, сосредоточен фокус его идеологического влияния на умы последующих поколений.

Историк, говорит Гегель, должен изображать то, что было, и то, что есть, он занят фактическими событиями, и он тем ближе к истине, чем более придерживается данного. В истории мы должны производить свое исследование «исторически, эмпирически», и в этом отношении научный об'ективный взгляд на исторический процесс отличается от суб'ективного вымысла некоторых историков-специалистов, которые фантазируют и конструируют исторический процесс чисто-априорным умозрительным путем.

Некоторые полагают, что научный подход к изучению исторического процесса должен совпадать с требованием совершенной беспристрастности. Этим требованием должен обязательно руководствоваться историк, чтобы изучать то, что есть и как оно есть, чтобы не приносить с собою никакой фантастики, никаких суб'ективных вымыслов.

Но это требование совершенного беспристрастия отклоняется Гегелем. Историк не может быть беспристрастным, нейтральным и пассивным, раз он заботится об истине. Он выбирает факты, отделяя случайное от неслучайного, необходимые и существенные от внешнего и единичного; он группирует исторические события по их важности, руководствуясь определенной целью, определенной критической оценкой. «История, написанная без цели и без критики, была бы рядом неосмысленных картин; она стояла бы ниже детской сказки». Историк активен, потому что он подвергает эмпирические данные рациональной обработке. Этими чертами характеризуется мышление даже обыкновенного посредственного историка, «который даже может быть думает и утверждает, что вся его роль сводится к тому, что он воспринимает, лишь отдается данному». На самом деле, его мышление не пассивно: «он приносит с собой свои категории и рассматривает существующее при их посредстве». «Кто разумно смотрит на мир, на того и мир смотрит разумно» [1]).

Таков метод исторической науки. История эмпирична, но этот эмпиризм не вульгарного типа, который только скользит по поверхности явлений. История рациональна, но эта рациональность отнюдь не сводится к безудержной фантастике спекулятивной мысли. Историк должен учитывать психологические данные, но он не психологист потому что он не сводит силы исторического процесса к одним лишь психологическим факторам. Словом, метод истории есть диалектический метод, таков же как и метод всякой другой науки.

Гегель не согласен с метафизикой вечных принципов, с представлением о незыблемости и вечности общественных установлений, законов и обычаев, права и государства, нравов, моральных и идеологических воззрений.

Исторический процесс изменчив. «Всемирный дух никогда не стоит на одном месте. Он постоянно идет вперед, потому что в этом движении вперед

[1]) Гегель, Философия духа, стр. 352.

и состоит его природа. Иногда кажется, что он останавливается, что он утрачивает свое вечное стремление к самопознанию. Но это только так кажется. На самом деле в нем совершается тогда глубокая внутренняя работа, незаметная до тех пор, пока не обнаружатся достигнутые ею результаты, пока не разлетится вправ кора устарелых взглядов, и сам он, вновь помолодевший, не двинется вперед семимильными шагами».

Каждая историческая эпоха временна и преходяща, потому что вместе с ее утверждением, вместе с теми силами, какие ведут к ее господству, она, в себе самой, несет свое отрицание и гибель. Всемирный дух «хорошо роет», постоянно устремляясь вперед,—такова его природа. Одни установления, нравы и обычаи, права и обязанности, быт народа и его верования, по причине внутренней «кротовой» работы всемирного духа, сменяются другими установлениями, нравами и обычаями. Вследствие этого «возникают великие столкновения между существующими признанными обязанностями, законами и правами и между возможностями, которые противоположны этой системе, нарушают ее и даже разрушают ее основу и действительность, а в то же время имеют такое содержание, которое также может казаться хорошим, в общем полезным, существенным и необходимым» [1]).

В этих взглядах Гегеля мы видим прямое обоснование необходимости общественных революций. Великий мыслитель против реформистской количественной концепции развития. Скачки, т.-е. революции, в обществе также необходимы как непрерывные количественные изменения.

Общественная история в этом своем закономерном диалектическом движении проходит разные ступени, формы. Периодизация исторического процесса устанавливается не случайно и суб'ективно, по внешним признакам — она определена самим его существом, его природой. Каждая ступень исторического процесса представляет собою своеобразную эпоху, которой соответствуют свои определенные формы общественных отношений, свои нравы, быт, научные; религиозные, философские и другие верования, государственные и правовые установления, «только при данной религии,—говорит Гегель,—может существовать данная форма государственного устройства и только при данном государственном устройстве может существовать данная философия и данное искусство». Каждая историческая эпоха вместе со своим утверждением в себе самой таит свое отрицание, имеет в себе силы, которые, обнаружившись, приведут ее к гибели и, вследствие этого, приведут к новой исторической эпохе со своими специфическими общественными отношениями и установлениями.

В историческом движении ничто не теряется, ничто не пропадает даром; каждая ступень развития воспроизводит в себе, в снятом виде, все особенности предшествующих ступеней. Но в то же время каждая последующая ступень есть качественно другая по отношению предыдущей, и ход исторического развития есть процесс качественного усложнения общественной жизни.

В неясном виде, сквозь уродливые извороты идеалистической мысли, у Гегеля просвечивает уже идея общественной формации, идея, которая является осью концепции исторического материализма.

Чем же определяется ход исторического развития? Отчего происходят общественные перемены, почему одна историческая ступень переходит в другую?

Все стороны общественной жизни взаимодействуют между собой. Семья влияет на государство, на право, на быт народа и, наоборот, определенный вид семьи складывается под тесным влиянием определенных правовых институтов, государственных форм и пр., и пр. Искусство складывается под самым близ-

[1]) Гегель, Основы философии истории; А. Деборин, Книга для чтения, 1928 г., стр. 341.

ким влиянием политических теорий, научных и философских течений, оказывая на них, в свою очередь, обратное влияние.

Историк должен обязательно разобраться в этой сложной сети взаимодействий, взаимных, перекрещивающихся влияний, он должен показать конкретно, как и в какую эпоху какие «факторы» выступают на первый план, а какие, наоборот, занимают второстепенное, подчиненное место. Так создается «теория факторов», согласно которой каждый из факторов влияет на другие, испытывая на себе их обратное влияние. «В результате получается такая запутанная сеть взаимных влияний, прямых действий и отраженных воздействий, что у человека, задавшегося целью об'яснить себе ход общественного развития, начинает кружиться голова, и он чувствует непреодолимую потребность найти хоть какую-нибудь нить для выхода из этого лабиринта» [1]).

Как ни важно найти и показать взаимодействие различных сторон и моментов общественной жизни, но это еще недостаточно для понимания основ исторического процесса. «Теория факторов» имеет поверхностный характер, а для того, чтобы история была, действительно, наукой, она должна пойти вглубь и возвыситься дальше на следующую ступень познания — к определению фундамента, сущности, основной движущей силы исторического процесса. И эта следующая, более высокая ступень познания — синтезирует факторы общественной жизни, об'единяет их в единое целое, связывает их, об'ясняя их перекрещивающиеся взаимодействия общей основой, общей, коренной причиной.

Основоположником этого синтетического взгляда на общественную жизнь, по справедливости, можно назвать Гегеля.

Гегель не довольствуется поверхностным описанием взаимодействующих сторон общественной жизни — он хочет найти их существенную, определяющую основу. Как идеалист, он находит такую в свойствах всемирного духа, и это, конечно, мешает его диалектике быть последовательной. Гегель не дает поэтому правильного и окончательного разрешения вопроса, которое может быть только материалистическим. Но, благодаря диалектике, Гегель дает правильную постановку вопроса и, следовательно, указывает путь для его материалистического разрешения. Он указывает путь для разрешения целого ряда исторических антиномий, перед которыми в бессилии останавливалась философская и историческая мысль в прошлом, над которыми ломали голову и французские материалисты, и рационалисты метафизики, и Кант, и английские эмпирики. Гегель правильно дает постановку вопроса о соотношении необходимого и случайного, свободы и детерминизма, причинности и целесообразности, он правильно, в общем, указывает на соотношение общества и личности.

Благодаря этому диалектическому взгляду на исторический процесс Гегель вынужден, сам того не сознавая, в некоторых случаях, прямо становиться на точку зрения материалистического об'яснения исторического процесса, вынужден явно иногда обращать свою идеалистическую систему в материализм. Прежде всего, следует указать на то значение, какое придает Гегель географической среде. Как справедливо отметил Г. Плеханов, Гегель избежал ошибки, свойственной некоторым мыслителям, подчеркивающим роль географической среды для об'яснения общественной жизни, но сводившим эту роль исключительно к внешнему влиянию на психические и физические свойства человека. Гегель связывает в общем это влияние с общественными производительными силами, со способом производства, с производственными отношениями.

[1]) Плеханов, Критика наших критиков, К 60-й годовщине смерти Гегеля, Спб. 1906 г., стр. 216.

Следующая особенность взгляда Гегеля, приближающая его к историческому материализму,— это то значение, какое в некоторых случаях он придает экономической стороне общественной жизни. «Гегель едва ли много занимался политической экономией, но его гениальный ум и здесь, как и во многих других областях, помог ему схватить самую характерную и самую существенную сторону явления. Гегель яснее своих современных ему экономистов, не исключая даже Рикардо, понимал, что в обществе, основанном на частной собственности, рост богатства на одной стороне непременно должен сопровождаться ростом бедности на другой». Всякий раз, — продолжает Г. Плеханов,— когда он обращался к экономии — она «снимала его с тех мелей, на которые заводил его идеализм. Экономическое развитие оказывалось тем prius'ом, который обуславливает собою весь ход истории» [1]).

* * *

Гегель диалектик в своих взглядах на движение человеческого познания. До Гегеля в теории познания господствовал метафизический взгляд. Познание не рассматривалось в развитии, в процессе, который проходит различные ступени-формы, каждая из которых характеризуется своими специфическими чертами. Оно рассматривалось как нечто данное, застывшее на всем протяжении развития человеческой жизни, неизменное на всем протяжении общественно-исторического процесса. Односторонне выпячивалась и универсализировалась какая-нибудь отдельная сторона, и к ней сводилась вся остальная познавательная деятельность.

Английские эмпирики односторонне выпятили ступень чувственного познания. Единственным источником и критерием истинности, по их мнению, являются непосредственные данные наших чувств, — наши ощущения и восприятия. Разумное или рациональное познание всецело сводится к этой деятельности чувственности, не представляя собою ничего специфического, никакой ступени в познавательном процессе.

Эмпирическая теория абстракции или теория понятия одностороння — это есть номиналистическая теория, согласно которой общее всецело сводится к единичному, потому что только последнее существует реально. В своем последовательном развитии односторонний эмпиризм через феноменализм переходит в самый безудержный суб'ективизм. Человеческое познание не имеет об'ективного значения — оно не есть познание об'ективного вне нас существующего предмета; человеческое познание, по самой своей природе, не может выйти за границы чисто-человеческих, чисто-суб'ективных данных— ощущений и возникших на этой почве восприятий и понятий.

Рационалисты односторонне выпятили ступень рационального или разумного познания. Чувственное познание суб'ективно, — оно искажает и уродует действительность, оно не дает нам правильного, истинного отображения предмета. Единственным источником и критерием нашего познания являются данные нашего разума, — некоторые основные изначальные понятия, аксиомы, некоторые врожденные положения, интуитивные суждения, из которых, чистым рациональным доказательным путем, мы можем вывести всю совокупность человеческого знания. Разумеется, что эти аксиоматические, изначальные положения, в своем логическом строении, должны быть самой максимальной общности, иначе мы не могли бы из них вывести все остальное существующее знание. В своем последовательном завершении рационалистическая теория познания, так же как и односторонняя эмпирическая, идеалистична, суб'ективна и не может справиться с конкретностью и единичностью противостоящей человеку об'ективной действительности.

[1]) Г. Плеханов, Критика наших критиков, К шестидесятой годовщине смерти Гегеля, Спб, 1906 г., стр. 216, 217.

ким влиянием политических теорий, научных и философских течений, оказывая на них, в свою очередь, обратное влияние.

Историк должен обязательно разобраться в этой сложной сети взаимодействий, взаимных, перекрещивающихся влияний, он должен показать конкретно, как и в какую эпоху какие «факторы» выступают на первый план, а какие, наоборот, занимают второстепенное, подчиненное место. Так создается «теория факторов», согласно которой каждый из факторов влияет на другие, испытывая на себе их обратное влияние. «В результате получается такая запутанная сеть взаимных влияний, прямых действий и отраженных воздействий, что у человека, задавшегося целью об'яснить себе ход общественного развития, начинает кружиться голова, и он чувствует непреодолимую потребность найти хоть какую-нибудь нить для выхода из этого лабиринта» [1]).

Как ни важно найти и показать взаимодействие различных сторон и моментов общественной жизни, но это еще недостаточно для понимания основ исторического процесса. «Теория факторов» имеет поверхностный характер, а для того, чтобы история была, действительно, наукой, она должна пойти вглубь и возвыситься дальше на следующую ступень познания — к определению фундамента, сущности, основной движущей силы исторического процесса. И эта следующая, более высокая ступень познания — синтезирует факторы общественной жизни, об'единяет их в единое целое, связывает их, об'ясняя их перекрещивающиеся взаимодействия общей основой, общей, коренной причиной.

Основоположником этого синтетического взгляда на общественную жизнь, по справедливости, можно назвать Гегеля.

Гегель не довольствуется поверхностным описанием взаимодействующих сторон общественной жизни — он хочет найти их существенную, определяющую основу. Как идеалист, он находит такую в свойствах всемирного духа, и это, конечно, мешает его диалектике быть последовательной. Гегель не дает поэтому правильного и окончательного разрешения вопроса, которое может быть только материалистическим. Но, благодаря диалектике, Гегель дает правильную постановку вопроса и, следовательно, указывает путь для его материалистического разрешения. Он указывает путь для разрешения целого ряда исторических антиномий, перед которыми в бессилии останавливалась философская и историческая мысль в прошлом, над которыми ломали голову и французские материалисты, и рационалисты метафизики, и Кант, и английские эмпирики. Гегель правильно дает постановку вопроса о соотношении необходимого и случайного, свободы и детерминизма, причинности и целесообразности, он правильно, в общем, указывает на соотношение общества и личности.

Благодаря этому диалектическому взгляду на исторический процесс Гегель вынужден, сам того не сознавая, в некоторых случаях, прямо становиться на точку зрения материалистического об'яснения исторического процесса, вынужден явно иногда обращать свою идеалистическую систему в материализм. Прежде всего, следует указать на то значение, какое придает Гегель географической среде. Как справедливо отметил Г. Плеханов, Гегель избежал ошибки, свойственной некоторым мыслителям, подчеркивающим роль географической среды для об'яснения общественной жизни, но сводившим эту роль исключительно к внешнему влиянию на психические и физические свойства человека. Гегель связывает в общем это влияние с общественными производительными силами, со способом производства, с производственными отношениями.

---

[1]) Плеханов, Критика наших критиков, К 60-й годовщине смерти Гегеля, Спб. 1906 г., стр. 216.

Следующая особенность взгляда Гегеля, приближающая его к историческому материализму,— это то значение, какое в некоторых случаях он придает экономической стороне общественной жизни. «Гегель едва ли много занимался политической экономией, но его гениальный ум и здесь, как и во многих других областях, помог ему схватить самую характерную и самую существенную сторону явления. Гегель яснее своих современных ему экономистов, не исключая даже Рикардо, понимал, что в обществе, основанном на частной собственности, рост богатства на одной стороне неизбежно должен сопровождаться ростом бедности на другой». Всякий раз, — продолжает Г. Плеханов,— когда он обращался к экономии — она «снимала его с тех мелей, на которые заводил его идеализм. Экономическое развитие оказывалось тем prius'ом, который обуславливает собою весь ход истории» [1]).

* * *

Гегель диалектик в своих взглядах на движение человеческого познания. До Гегеля в теории познания господствовал метафизический взгляд. Познание не рассматривалось в развитии, в процессе, который проходит различные ступени-формы, каждая из которых характеризуется своими специфическими чертами. Оно рассматривалось как нечто данное, застывшее на всем протяжении развития человеческой жизни, неизменное на всем протяжении общественно-исторического процесса. Односторонне выпячивалась и универсализировалась какая-нибудь отдельная сторона, и к ней сводилась вся остальная познавательная деятельность.

Английские эмпирики односторонне выпятили ступень чувственного познания. Единственным источником и критерием истинности, по их мнению, являются непосредственные данные наших чувств, — наши ощущения и восприятия. Разумное или рациональное познание всецело сводится к этой деятельности чувственности, не представляя собою ничего специфического, никакой ступени в познавательном процессе.

Эмпирическая теория абстракции или теория понятия одностороння — это есть номиналистическая теория, согласно которой общее всецело сводится к единичному, потому что только последнее существует реально. В своем последовательном развитии односторонний эмпиризм через феноменализм переходит в самый безудержный суб'ективизм. Человеческое познание не имеет об'ективного значения — оно не есть познание об'ективного вне нас существующего предмета; человеческое познание, по самой своей природе, не может выйти за границы чисто-человеческих, чисто-суб'ективных данных— ощущений и возникших на этой почве восприятий и понятий.

Рационалисты односторонне выпятили ступень рационального или разумного познания. Чувственное познание суб'ективно, — оно искажает и уродует действительность, оно не дает нам правильного, истинного отображения предмета. Единственным источником и критерием нашего познания являются данные нашего разума, — некоторые основные изначальные понятия, аксиомы, некоторые врожденные положения, интуитивные суждения, из которых, чистым рациональным доказательным путем, мы можем вывести всю совокупность человеческого знания. Разумеется, что эти аксиоматические, изначальные положения, в своем логическом строении, должны быть самой максимальной общности, иначе мы не могли бы из них вывести все остальное существующее знание. В своем последовательном завершении рационалистическая теория познания, так же как и односторонняя эмпирическая, идеалистична, суб'ективна и не может справиться с конкретностью и единичностью противостоящей человеку об'ективной действительности.

[1]) Г. Плеханов, Критика наших критиков, К шестидесятой годовщине смерти Гегеля, Спб, 1906 г., стр. 216, 217.

Теория познания критицизма хочет преодолеть односторонность эмпиризма и рационализма, хочет примирить их в высшем синтезе. Но это осуществить критицизм не может, потому что он сохраняет в своем учении е недостатки, всю односторонность и эмпирической и рационалистической точки зрения. Чувственное познание содержательно, конкретно, многообразно, единично, но оно лишено формы, связи, общности и необходимости. Априорное познание, наоборот, формально, обладает общностью, необходимостью, но оно абстрактно и бессодержательно. Таким образом, эти два рода познания дуалистически-исключающе противостоят друг другу, и теория познания критицизма никак не может выбраться из метафизического тупика.

Путь для разрешения теоретико-познавательных антиномий был указан Гегелем. Гегель последовательно стал рассматривать человеческое познание в развитии, отметая метафизическую точку зрения своих предшественников.

Познавательный процесс проходит ряд ступеней-форм, каждая из которых согласно общему диалектическому закону возвышается над предшествующей, включая ее в себе, как низший подчиненный, снятый момент. Первая ступень—непосредственное созерцание, ступень чувственности или ощущения. Она имеет дело со всем многообразием действительности, с неопределенной, единичной содержательной конкретностью. Вторая ступень — рассудочное познание, — оно ставит перед собою задачу расчленения неопределенных данных чувственной конкретности на абстрактные части. Рассудок выделяет сходное и различное, классифицирует и упорядочивает, поднимаясь по ступеням до самых абстрактных тощих определений. Третья — высшая и последняя ступень — разумное познание — синтезирует две предшествующих, она воспроизводит конкретное, но уже как многообразное определенное целое во всем единстве его определений. Эта третья ступень имеет дело с конкретным понятием, которое устанавливает единство единичного и общего, эмпирического и рассудочного, конкретного и абстрактного.

Ни одна из этих ступеней не исключает другую, но каждая является необходимым моментом в развитии познавательного целого. Каждая ступень подготовляет последующую и содержит в себе предшествующую в снятом подчиненном виде. Таким образом, обнаруживается истинная роль и эмпирического и рационалистического направления теории познания. Каждое из этих направлений имеет положительное значение и содержит в себе истинный момент, в той мере, поскольку оно отражает действительную ступень в движении познавательного целого. Но, в то же время, каждое из этих направлений одностороне и ложно, поскольку оно не сознает своей ограниченности, выходит за свои пределы и выдает себя за все познавательное целое.

Точка зрения развития об'ясняет нам также все недостатки критической теории познания. Вместо того, чтобы рассматривать познание в процессе — критицизм хочет механически соединить эмпирическое направление с рационалистическим, чувственность с мышлением. Ясно, что в результате такого соединения воспроизводятся противоречия этих обоих направлений.

Отчего же происходит познавательное движение, что является движущей силой познавательного процесса? Ответ на этот вопрос дает прежде всего гегелевская феноменология духа. Эта наука рассматривает все ступени сознания от непосредственного созерцания до самой высшей — разумной ступени. Она ставит перед собой задачу охарактеризовать закономерность, которая определяет переход одной ступени познания в другую. Сознание суб'екта различает от себя нечто об'ективное, некоторый противостоящий ему внешний предмет. «Если мы назовем знание понятием, сущность или истинное сущим или предметом, то исследование состоит в том, чтобы посмотреть, соответствует ли понятие предмету».

В этом постоянном сравнивании в нахождении соответствия понятия с предметом, суб'ективного с об'ективным и состоит деятельность познания.

Если в этом сравнении оба момента — понятие и об'ективный предмет — не соответствуют друг другу, — тогда сознание изменяется для того, чтобы достигнуть согласия с предметом. В конце концов, это диалектическое движение сознания останавливается, когда обнаруживается совпадение знания и предмета, суб'ективного и об'ективного момента в познании.

Каждая ступень познания характеризуется своим особенным, только ей свойственным, отношением суб'екта и об'екта, познания и предмета; для последней же заключительной ступени характерно их совпадение или тождество. На этой ступени — познание достигает истины. Но это не означает, что предшествующие ступени были не истинны, что для них было характерно только противоречие познания и предмета. Обычное мнение, которое полагает, что «истинное и ложное имеют значение неподвижных особых сущностей, при чем «одна из них изолированно и твердо стоит по сю сторону, а другая — по ту сторону, вне связи друг с другом», — само является ложным.

«Наоборот, необходимо признать, что истина не является отчеканенной монетой, которая может быть дана готовой и в таком виде взята».

Истина есть процесс, и каждая ступень познания обладает истиной, потому что каждая ступень создает свое единство, свое согласие, свое соответствие и совпадение познания и предмета.

Это взаимодействие суб'екта и об'екта в познавательном процессе иначе выражается взаимодействием формы и содержания познания, истины и достоверности. Каждая ступень познания характеризуется своим, только ей свойственным, отношением формы и содержания познания. Движение познания состоит, с одной стороны, в тождестве формы и содержания познания, а с другой, в их противоречии. Именно это противоречие, или, что то же, противоречие истины и достоверности, является причиной перехода одной познавательной ступени в другую.

Гегель подвергает уничтожающей критике концепцию формальной логики. Формальная логика противопоставляет содержание познания его форме. «Господствующее до сих пор понятие логики основывалось на однажды навсегда предположенном и обычном сознании разделения содержания познания и его формы, иначе истины и достоверности»[1]). Но это разделение не верно, говорит Гегель,— оно противоречиво и страдает суб'ективизмом. Истинное мышление есть содержательное мышление, а не пустая внешняя форма. Формы мышления не безразличны к тому познавательному содержанию, с каким они имеют дело. В своей истинности эти формы могут быть поняты только в связи, в единстве с содержанием. Установление и характеристика этого единства составляет основное содержание теории познания. Вот почему, как правильно заметил В. И. Ленин, «Гегель требует логики, в коей формы были бы содержательными формами, формами живого, реального содержания, связанными неразрывно с содержанием»[2]).

Неверно было бы совершенно отвергнуть значение и некоторую истинность обыденной формальной логики. Формы, с которыми она имеет дело, не бессодержательны сами по себе, они имеют познавательную ценность, если мы правильно подойдем к их характеристике. «Бесконечная заслуга» Аристотеля состоит в том, что он первый подверг их подробнейшему описанию.

Формальная логика ошибается в том, что не устанавливает систематической связи этих форм, она не видит их подлинной диалектической зависимости. «Но бессодержательность логических форм состоит, главным образом, в способе их рассмотрения и разработки. Будучи разделяемы одна от другой, как устойчивые определения, и несвязанные в органическое единство, они суть формы мертвые»[3]). Связать их в органическое единство, это значит по-

[1]) Гегель, Большая логика, ч. I, стр. 2.
[2]) В. И. Ленин, Конспект Науки логики Гегеля, «Ленинский Сб.», IX, стр. 39.
[3]) Гегель, Большая логика, ч. I, стр. 5.

смотреть на них в развитии, — это значит определить конкретно их место в познавательном процессе, связать их со ступенями познания, с конкретным познавательным содержанием.

Гегель дает диалектическую группировку познавательных форм в третьей части своей большой логики. Согласно основному делению содержания своей логики, он разделяет суждения следующим образом: 1) суждения наличного бытия; 2) суждения рефлексии, 3) суждения необходимости, 4) суждения понятия. «Какой сухой вид ни имеет все это,—говорит Ф. Энгельс,—и какой произвольной ни кажется на первый взгляд местами эта классификация суждений, но внутренняя истина и необходимость этой группировки станет ясной всякому, кто проштудирует гениальные рассуждения Гегеля об этом в «Большой логике». Эта группировка,—добавляет дальше Ф. Энгельс,—«обоснована не только законами мышления, но и законами природы» [1]). Но это еще не исчерпывает своеобразия и ценности гегелевской теории познания. Заслуга Гегеля состоит также в том, что он дает правильную диалектическую постановку вопроса о связи теории познания с историей познания. Гегель связывает историю развития индивидуального человеческого познания с развитием общественного познания, с теми ступенями и формами, какие проходит развитие науки, философии и общественной идеологии. Эта связь характеризуется двоякими чертами: по своему содержанию индивидуальное человеческое познание находится в прямой зависимости от коллективного человеческого духа, мышление человека определено эпохой, общим идеологическим состоянием умов, по своей форме и познание индивидуума, и познание коллектива проходит одни и те же логические ступеньки.

Таковы вкратце взгляды Гегеля на теорию познания,— более подробно на них мы остановимся дальше в связи с вопросом об отношении гегелевской теории познания к его логике и феноменологии духа.

И эта гегелевская характеристика основных ступеней познания и группировка мыслительных форм и понимание основных движущих сил познавательного процесса, — все это, вопреки идеалистическому исходному пункту, под влиянием диалектического метода приобретает материалистический смысл. Гегелевское основное разделение ступеней и форм познания соответствует действительности, потому что, действительно, одни ступени, одни формы развиваются из других, высшее из низших, более сложное из простых, потому что, действительно, познавательные формы связаны с познавательным содержанием и, стало быть, в конечном счете, определены законами движения самой природы. Гегелевская характеристика основных причин познавательного движения научна и соответствует действительности, потому что, действительно, мышление движется вперед благодаря противоречию суб'екта и об'екта, формы и содержания познания.

4. Диалектика Гегеля под влиянием идеализма переходит в метафизику.

> «Извращение диалектики у Гегеля основано на том, что она должна быть у него «саморазвитием мысли», и потому диалектика вещей — это только ее отблеск».
>
> Ф. Энгельс. Письма.
>
> «У Гегеля диалектика совпадает с метафизикой».
>
> Г. Плеханов. Предисловие к брошюре „Л. Фейербах“.
>
> «Абсолютная идея Гегеля собрала вместе все противоречия кантовского идеализма, все слабости фихтеанства».
>
> Н. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм.

Мы изучаем Гегеля не для того, чтобы замечать в его сочинениях одни лишь «паралогизмы и передержки», невязки и противоречия. Предоставим это

[1]) «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», кн. 2, Ф. Энгельс, стр. 181.

«школьное занятие» нашим механистам. Философия Гегеля интересует нас, прежде всего, со своей положительной стороны, — в отношении того, что мы можем найти в ней приемлемого для нас. Но эта положительная, центральная для нас задача критической оценки философии Гегеля самым теснейшим образом связана с отрицательно-критической. Мы не можем обойти молчанием и закрыть глаза на темные и противоречивые положения гегелевской философии, мы не можем пройти мимо его идеалистических извращений, его метафизики, мистики и формализма, мимо всего того, что в корне отличает его философию от нашей, марксистской.

Гегель последовательный мыслитель в сравнении со своими великими предшественниками и современниками: Беркли, Юмом, Лейбницем, Вольфом, Кантом и др. Эти мыслители решали вопросы своей философии с помощью метафизического метода, а этот метод ведет к формально-логическим, совершенно неразрешимым, безвыходным противоречиям. Гегель последовательный мыслитель в то мере, поскольку он диалектик, потому что диалектика есть метод, который наиболее полным и всесторонним образом отображает последовательность и связь самой материальной действительности. Но Гегель метафизик в той мере, поскольку он стремится рассматривать вещи идеалистически. Идеализм Гегеля ведет его к противоречиям и нарушает логическую последовательность и стройность, его рассуждений и доказательств, разрывает диалектическую связь, цементирующую все части и отделы его грандиозного философского здания.

Противоречия, какие имеются в философии Гегеля, можно разбить, по своему типу, на два основных вида: противоречия содержания философии Гегеля и противоречия метода.

Мы остановились, до сих пор, только на одной стороне взаимодействия метода и содержания философии Гегеля, мы показали, как под влиянием диалектики гегелевский идеализм перевертывается и переходит в материализм. Этим переходом характеризуется содержательная сторона противоречий в философии Гегеля. Философия Гегеля противоречива по своему содержанию, потому что ее исходный идеалистический пункт противоречит материализму, ее конечному диалектическому результату.

Другая сторона противоречий гегелевской философии — это тот результат, какой получается в силу обратного влияния идеалистического содержания гегелевской философии на диалектический метод. Идеализм, извращающий истинные отношения действительности, по самой сути метафизичен, по самой своей природе он не может взглянуть на вещи в развитии, в движении. Идеализм Гегеля ведет его к метафизике и заставляет обращать диалектический метод в метод формально-логический. «У Гегеля диалектика совпадает с метафизикой», — говорит Г. Плеханов.

Не надо это совпадение понимать вульгарно, как это, например, свойственно нашим механистам. Наши механисты так растолковывают это совпадение, что от диалектики у Гегеля ничего не остается, остается только одна чистая метафизика. Диалектика Гегеля переходит, это мы подчеркиваем, в метафизику. Отправной, исходный, сознательно-применяемый пункт гегелевской методологии есть диалектика, но она под влиянием идеализма, в конечном счете, сливается с метафизикой.

В силу этого влияния идеализма — диалектика у Гегеля мистифицируется. Диалектика, по самой своей природе конкретна, она неразрывно связана с материей — потому что диалектика есть закон движения материи,

закон развития действительности, который определяет переход одной формы материи в другую. Гегель — идеалист, он уродует истинные связи действительности, он извращает последовательность и порядок развития вещей. «У Гегеля в диалектике наблюдается то же самое извращение всех реальных отношений, как и во всех прочих частях его системы» [1]).

Гегель отрывает диалектику от материального содержания, от действительности и хочет представить ее в абстрактном виде, в чуждом ей наряде,— как форму движения понятия, как закон развития логической идеи. Диалектика у Гегеля выражена в мистической форме». «Она стоит у него на голове. Нужно перевернуть ее, чтобы найти рациональное ядро в мистической оболочке» [2]). Но эта мистическая оболочка, эта идеалистическая форма гегелевской диалектики не безразлична к содержанию, к ядру. Вот причина, почему диалектический метод Гегеля, в конечном счете, переходит в метафизический.

Это противоречие диалектического метода метафизическому в философии Гегеля создает методологическую формальную сторону противоречий его учения.

Благодаря своей диалектике Гегель возвышается над ограниченной метафизической точкой зрения своих предшественников и современников. Но диалектика Гегеля, под влиянием идеализма, переходит в метафизику, в силу чего Гегель повторяет, воспроизводит в своем учении все формально-логические противоречия, какие встречаются у его предшественников. Те единства—какие, как диалектик, хочет установить Гегель — не имеют органического характера, они не прочны и рассыпаются, в конечном счете, на свои составные части-моменты. В конечном счете, тождество философии Гегеля не есть конкретное многостороннее диалектическое тождество, оно не увязывается в единство с противоречием. Противоречие в философии Гегеля не есть, в конечном результате, ведущее вперед, движущее подлинно-диалектическое противоречие, оно бессильно, оно фальшиво и мнимо, оно не в состоянии дать развитие. Гегелевская философия монистична, но этот монизм под влиянием идеализма распадается и переходит, с одной стороны, в односторонний абстрактный монизм, а с другой, в такой же абстрактный дуализм.

Это крушение диалектического метода, это вторжение метафизики не случайно, а с необходимостью вытекает из гегелевского идеализма; оно имеет общий характер и может быть обнаружено в каждой части его философии.



Гегель абсолютный идеалист, но абсолютная идея исключает всякое развитие, она требует неподвижности и покоя; бесконечное совершенство бога, вечное нерушимое единство бесконечных его свойств не подлежит изменению, ибо это противоречит самой природе божественного. Бог метафизичен, так сказать, в самой высшей бесконечной, в самой превосходной степени и беспрекословно требует от Гегеля метафизики.

Под этим углом блестяще раскритиковал гегелевскую философию Л. Фейербах. Он совершенно верно определил основной порок гегелевской системы, который заключается в том, что атеизм у Гегеля противополагает себя теизму, наука отрицает религию на почве теизма и религии. «Противоречие новой философии, в особенности философии пантеизма, состоит

[1]) Ф. Энгельс, Диалектика природы, «Архив» т. II, стр. 133.

[2]) Там же, стр. 133.

ность в том, что она была **отрицанием теологии, на почве самой теологии**, или таким отрицанием теологии, которое **само оставалось теологией**, это противоречие **в особенности характеризует гегелевскую философию**»[1]).

Точно так же не выдерживает напора идеализма и расползается по швам единство суб'екта и об'екта, идеи и действительности, какое хочет установить Гегель. Нельзя связать в нерасторжимое органическое единство сознание и действительность, исходя из суб'екта, из сознания, из идеи. Из суб'екта, даже наделенного заранее всеми совершенными бесконечными, божественными свойствами, нельзя логически вывести реальности, раз это не соответствует действительному выведению, истинной связи суб'екта и об'екта. Как диалектик Гегель возвышается над односторонним дуализмом и суб'ективным идеализмом, над учением Канта и Фихте, над метафизическим об'ективным идеализмом, наиболее выпукло представленным в учении Платона и Лейбница. Но благодаря своему идеализму Гегель собирает вместе, на расширенной основе, все противоречия этих метафизических учений. Маркс говорит, что абсолютный дух Гегеля представляет собою **необходимо противоречивое** единство спинозовской субстанции и фихтевского самосознания. Сравнивая универсальную подстановку махистов с абсолютной идеей Гегеля, Ленин отмечает, что «абсолютная идея Гегеля собрала вместе **все противоречия кантовского идеализма**, **все слабости фихтеанства**. Фейербаху оставался **только** один серьезный шаг, чтобы повернуть снова к материализму; именно — универсально выкинуть вон, абсолютно удалить прочь абсолютную идею, эту гегелевскую «подстановку» психического под физическую природу»[2]) (Курсив мой. *Г. Д.*).

Гегелевское единство суб'екта и об'екта, сознания и действительности оказывается непрочным, — оно трещит во всех направлениях по причине вторжения идеализма, — оно распадается на свои составные моменты: на абстрактное тождество и такое же абстрактное противоречие. Гегелевская философия, в конечном счете, приходит к суб'ективизму, формально-логическому растворению об'екта в суб'екте. Философии Гегеля присущи те же пороки, что и учению Фихте и, **в конце концов**, гегелевский идеализм не в состоянии перешагнуть и действительно критически преодолеть недостатки суб'ективного идеализма. Об'ект, природа, мир противостоят суб'екту, но только в пределах мышления этого суб'екта; бог и внешняя действительность оказываются тем же ограниченным человеческим суб'ектом, но вывороченным, так сказать, наружу, обобщенным и универсализированным; определения ограниченного человеческого суб'екта, в конечном результате, доминируют, господствуют и подчиняют себе определения самой природы, самого об'ективного мира.

Л. Фейербах, а вслед за ним Г. Плеханов неоднократно подчеркивали эту сторону философии Гегеля. «Гегелевская философия, — говорит Л. Фейербах, — является отрицанием противоречия между мышлением и бытием, в особенности, как его выражает Кант; но заметьте — отрицанием этого противоречия **внутри** самого противоречия, внутри одного из его **элементов**, **внутри мышления**. **Мысль** у **Гегеля** является **бытием**. Мысль — это суб'ект, бытие, предикат»[3]). Мышление, т.-е. **суб'ективную** сущность, но лишь без суб'екта мыслимую, т.-е. представляемую **отличной** от суб'екта, гегелевская философия превратила **в божественную**, абсолютную сущность»[4]). Исходя из этих соображений, Людвиг Фейер-

[1]) Л. **Фейербах**, т. I, стр. 102.
[2]) Н. **Ленин**, т. XIII, стр. 190.
[3]) Л. **Фейербах**, т. I, стр. 106.
[4]) Там же, стр. 106.

бах подчеркивает связь абсолютного и суб'ективного идеализма. «Подобно тому, как божеская сущность есть не что иное, как сущность человека, освобожденная от ограничений естества, так и сущность абсолютного идеализма есть не что иное, как сущность суб'ективного идеализма, освобожденная от разумных ограничений суб'ективности, т.-е. от чувственности, от об'ективности вообще. Гегелевская философия может быть, поэтому, выведена непосредственно из идеализма Канта и Фихте» [1]).

Гегель не в состоянии последовательно до конца преодолеть дуализм, который вообще свойственен об'ективному идеализму; не в состоянии выбраться также из дуалистических противоречий своего великого предшественника Канта. Как диалектик Гегель не может замкнуться в пределах одной лишь суб'ективности. Точка зрения развития требует выхода к об'ективности, к миру, к чувственной предметной реальности. Но, признав существование реальной природы и истории, Гегель не может, с точки зрения своего идеализма, обосновать их существование в своей системе. Действительность, которая должна быть порождением идеи, в свою очередь, сама порождает сознание и дух в органической жизни, в познающем суб'екте. Получается чисто-дуалистический, совершенно замкнутый, неразрешимый круг.

Этот дуалистический характер гегелевской философии неоднократно отмечался К. Марксом. В «Критике философии права Гегеля» К. Маркс следующим образом характеризует идеалистические извращения гегелевской концепции. Гегель переворачивает все действительные отношения. «Гегель превращает предикаты, об'екты в нечто самостоятельное, но он их отрывает при этом от их подлинной самостоятельности, от их суб'екта. Впоследствии действительный суб'ект появляется, но как результат, между тем как именно от действительного суб'екта следует исходить к его об'ективированию и следует рассматривать. Действительным суб'ектом у Гегеля становится мистическая субстанция, а реальный суб'ект представляется как нечто другое, как момент мистической субстанции. Именно потому, что Гегель, вместо того, чтобы исходить из реального существа (ens, ὑποκείμενον, subject), исходит из предикатов, из всеобщих определений, а между тем, все же должен быть какой-нибудь носитель этих определений, — этим носителем становится мистическая идея. Тут-то и сказывается гегелевский дуализм (курсив мой. *Г. Д.*), в силу которого Гегель всеобщее не рассматривает как действительную сущность действительно конечного, т.-е. существующего, определенного, или действительное существо и не считает подлинным суб'ектом бесконечного» [2]).

Гегель не может также последовательно провести единство логического и исторического процесса, логики и истории. Это единство у него также расщепляется на свои составные моменты. С одной стороны, логическое всецело подчиняет себе историческое, последнее лишается совершенно самостоятельности и полностью без остатка растворяется в логическом. Эту тенденцию гегелевской философии и, в частности, гегелевской логики мы уже осветили в предыдущей главе [3]). Эта сторона была также подчеркнута К. Марксом в его «Критике философии права Гегеля». Те же самые категории и переходы,—говорит Маркс,—какие совершаются в логике, совершаются у Гегеля в его натурфилософии и общественной истории. «Это все одни и те же категории, которые составляют душу то одной сферы, то другой сферы. Дело только в том, чтобы найти для отдельных конкретных определений соответствующие абстрактные» [4]).

[1]) Там же, стр. 104.
[2]) К. Маркс, Критика философского права Гегеля, «Архив» кн. III, стр. 158
[3]) См. «В. К. А.» № 35 — 36.
[4]) К. Маркс, Критика философии права Гегеля, «Архив» кн. III, стр. 147.

Интерес Гегеля направлен не на то, чтобы найти настоящие, подлинные силы исторического движения, действительную закономерность естественно-исторического и общественного процесса, а на то, чтобы отыскать в истории повторение логического развития. Гегель извращает действительные отношения,—они «провозглашаются спекулятивным мышлением, как нечто кажущееся, как феномен»; основная задача Гегеля состоит в том, чтобы представить эти отношения в качестве внутренней воображаемой деятельности идеи. Гегель стремится, например, к тому, чтобы «найти в государстве повторение истории логического понятия». «Философская работа Гегеля не направлена на то, чтобы наполнить абстрактное мышление конкретным содержанием политических определений, а на то, чтобы испарить содержание существующих политических определений и превратить в абстрактную мысль. Не логика дела, а дело логики, является философским моментом. Не логика служит для оправдания государства, а государство для оправдания логики» [1]).

Это неизменное стремление Гегеля логизировать действительные отношения переходит, в конечном счете, в самый безудержный, ничем не ограниченный панлогизм. Все есть логика, кроме логики ничего не существует и не может существовать, историческое всецело должно уничтожиться и пропасть в логическом. Все остальные науки лишаются совершенно права на самостоятельное существование и являются не чем иным, как «прикладными логиками»—частями и отделами этой единой и единственной науки.

Другая сторона, какая получается от расщепления гегелевского единства исторического и логического, это их дуалистическое неразрешимое противопоставление друг другу. Гегель не в состоянии логизировать до конца действительную историю. История не поддается и сопротивляется логизации, она не умещается и не растворяется в логике. Господство, первичность и безусловный суверенитет логического на деле оказывается только словесным и формальным. История, даже у Гегеля, живет самостоятельной жизнью и никак не хочет преклониться перед логикой. «Нет сомнения, — пишет А. Деборин,—что Гегель вертится в заколдованном кругу, если исторический процесс «подготавливает», так сказать, высшие формы, если они являются продуктом низших форм или ступеней, то очевидно, что предшествование низших ступеней высшим имеет значение порождения» [2]). Гегель вынужден рассматривать закономерность и развитие истории, исходя, иногда, из самой реальной истории, и, как бы он этого ни хотел, он не может свести действительные исторические законы к законам чисто-логического, познавательного развития.

Получается, в самом деле, совершенно безвыходный, неразрешимый заколдованный круг: логика порождает историю, история порождает логику, логика предшествует истории, история предшествует логике, логика и история противопоставляют себя непримиримо друг другу.

Так, в результате, под влиянием гегелевского идеализма, абсолютное в философии Гегеля не увязывается в единство с относительным, с изменяющимся; об'ективное не увязывается с суб'ективным, а логическое с историческим.

Эти противоречия, этот переход диалектики Гегеля в метафизику мы обнаруживаем также в его учении о природе, обществе и человеческом познании.

* * *

В своих воззрениях на природу Гегель не в состоянии последовательно до конца провести точку зрения развития. Как диалектик Гегель хочет уста-

[1]) Там же, стр. 133.

[2]) А. Деборин, Философия и марксизм, Маркс и Гегель, стр. 291.

новить единство эмпирического и философского подхода к природе, синтез естествознания и философии природы. Он хочет найти для этих наук общий язык, почву для соглашения, он хочет строго разграничить сферы их влияний. Этой почвой, по мнению Гегеля, является требование изучать действительность как она есть. И эмпирическое естествознание и философия природы имеют своим предметом действительность, — они различаются лишь своим подходом, своим способом изучения.

Так говорит Гегель диалектик, но не так говорит Гегель идеалист...

Требование обращения к действительности, оказывается, получает у Гегеля совершенно разный смысл в зависимости от того, имеем ли мы дело с эмпирическим естествознанием или с философией природы. Действительность опытного знания — это материальная, чувственная, конкретная действительность, существующая независимо и вне от суб'екта,— это материя во всем многообразии своих проявлений. Действительность гегелевской философии природы — это понятие, логическая идея, это совокупность категорий и априорных форм, которые извлекаются не из природы и внешней действительности, а из познающего суб'екта, путем свободной творческой деятельности его мышления. Это две разные действительности, противоречащие и противостоящие друг другу.

Эмпирическое естествознание, пользуясь методом анализа, занимаясь единичным, отдельным, частным «этим и здесь», «тут и там», — оно не может усмотреть в материальных предметах их сокровенной связи и внутренней сути, которая есть не что иное, как понятие и дух.

Эту задачу осуществляет философия природы, — она дополняет эмпирическое естествознание и по своему содержанию, и по методу.

По своему содержанию философия природы следит за возникновением понятия в природе, за кажущейся разобщенностью чуждых и внешних предметов природы, она обнаруживает их внутреннее единство, то, что называется идеей природы; она открывает общую связь, истинно-всеобщее, которое связывает в целое отдельные, разорванные создания природы. Все общее философии природы служит, поэтому, дополнением единичности опытного знания.

Методы опытного знания и методы философии природы существенно различны. Опытное знание пользуется эмпирическим анализирующим методом, философия же природы есть рациональное, а, еще точнее, *рационалистическое* размышление о природе, которое не нуждается в наблюдении и эксперименте, которому не нужны пробирки и реактивы, трубы, микроскопы и лаборатории.

Опытное знание доставляет материал для философии природы, последняя же связывает этот материал алмазной сетью всеобщих определений, которые развиваются совершенно свободно из самих себя. «Будучи, таким образом, обязанной своим развитием эмпирическим наукам, философия сообщает их содержанию существеннейшую форму *свободы* мышления (*априорную* форму) и *достоверности, основанной* на *знании необходимости*, которую она ставит на место убедительности преднаходимого и опытных фактов, дабы факт превратился в иллюстрацию и отображение первоначальной и совершенно самостоятельной деятельности мысли» [1]).

Таким образом, в результате диалектический взгляд Гегеля на отношение естествознания и философии природы сменяется метафизическим. Философия природы, которая, согласно диалектике, не смела противопоставить себя эмпирическому естествознанию, в конечном счете, оказывается стоит *вне* и *над* науками о природе. Философия природы у Гегеля, в конечном счете, господствует над природой, — она диктует естествознанию свою волю,

[1]) *Гегель*, Философия природы, стр. 42.

он группирует явления природы согласно своим фантастическим измышлениям.

Вот почему Гегель не может последовательно до конца преодолеть спекулятивную натурфилософию, его критика Шеллинга и натурфилософов неубедительна и бьет мимо цели. Как идеалист Гегель продолжает спекулятивную линию своих предшественников со всеми недостатками, пороками, мистикой и фантастикой, им свойственной.

Принцип развития, с которым подходит Гегель к изучению природы, терпит крушение. Быть последовательным диалектиком — это значит признать неверным богословское учение о сотворенности природы богом, отвергнуть господствующий догмат о неизменном существовании органических форм. Последовательно провести диалектику — это значит вывести существование человеческого рода, как биологического вида, из более низших органических видов.

Как диалектик — Гегель должен сделать эти выводы, как идеалист — он их сделать не может.

Вот почему оказывается, что развитие природы, о котором говорит Гегель, происходит не в реальности, не в действительном фактическом времени и пространстве, а только в понятии, в спекулятивной мысли... «Природа представляет целый ряд и целую с и с т е м у ступеней развития, каждая последующая ступень необходимо происходит из предыдущей и ближайшей ее. Это не значит, чтобы каждая последующая ступень ф а к т и ч е с к и развивалась из предыдущей: она следует за ней только потому, что этого требует развитие идеи, лежащее в основании природы» [1]. Древние, а также новейшие натурфилософы полагали,— говорит Гегель,— что низшие формы природы дают начало более совершенным и высоким формам. Представляли, что из воды произошли растения и животные, что из низших животных произошли животные с более высокой организацией. Верно, что минеральное царство ниже растительного, а это ниже животного, но неправильно думать, что эти различные формы развиваются в о в р е м е н и одни из других. «Философия природы должна воздержаться от таких чувственных и в сущности туманных представлений».

Таким образом, ступени формы и виды неорганической и органической природы не развиваются одни из других, а с о с у щ е с т в у ю т р а з р о з н е н н о р я д о м п о д л е д р у г д р у г а.

Диалектика Гегеля, таким образом, явно переходит в метафизику.

Тот же Энгельс, подчеркнувший диалектические и материалистические стороны гегелевской философии природы, совершенно правильно указывает, что: «недостатком натурфилософии, особенно в гегелевской форме, было то, что она не приписывала природе никакого развития во времени, никакой последовательности», а только «существование». Это, с одной стороны, вытекало из самой системы Гегеля, которая приписывала историческое развитие только «духу», с другой же стороны, из общего тогдашнего состояния естествознания» [2].

Одновременно с этим Гегель не в состоянии диалектически разрешить вопрос о классификации естественных наук. Гегелевская классификация наук теряет характер диалектичности и генетичности,— какой она имеет с первого взгляда. В конце концов, науки не субординированы диалектически друг с другом, не развиты диалектически, а так же, как и те формы, какие служат предметом их изучения, с о с у щ е с т в у ю т р я д о м, в м е с т е, подле д р у г д р у г а.

---

[1] Гегель, Философия природы, стр. 41.

[2] Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, стр. 7.

Диалектическая классификация наук, таким образом, переходит в метафизическую.

* * *

Гегелевская диалектика общественного процесса также терпит крушение под влиянием идеализма.

Гегель хочет подойти к истории научно, он говорит, что ее нужно изучать «эмпирически» — так, как она есть, не принося с собою ничего субъективного. Он требует от историков «пристрастия» к истине, критикуя тех исследователей, которые подтасовывают исторические факты и располагают их согласно своим произвольным спекуляциям.

Но Гегель сам повинен в погрешностях, в каких он обвиняет других — он искажает действительный ход истории, логизирует его и подменяет диалектику исторического процесса метафизикой спекулятивной мысли.

Все изменения, какие происходят в общественной жизни, Гегель сводит, в конечном счете, к свойствам всемирного духа, которые, по его мнению, остаются совершенно неизменными на всем протяжении исторического развития. Но, в таком случае, получается абсолютно неразрешимый парадокс: совершенно непонятно, как эти постоянные неизменные свойства могут причинять какие-либо исторические перемены. Получается разительное противоречие между метафизическими свойствами духа и диалектическим ходом реального исторического процесса?!

Особенно ярко это противоречие сказывается у Гегеля тогда, когда он подходит к характеристике прусского государственного деспотизма. Здесь всемирный дух реализуется в адэкватной соответствующей ему форме, потому что прусская монархия, по мнению Гегеля, есть дух, достигший, наконец, самосознания, прусский государственный строй есть разум, осуществленный в действительности.

Дальше итти некуда — исторический процесс приостанавливается и метафизика всемирного духа окончательно торжествует над диалектикой исторического движения.

Гегель хочет определить движущие силы исторического процесса, но именно потому, что он сводит их к свойствам всемирного духа — настоящий закон исторического движения — развитие производительных сил и связанный с ним способ производства, остается вне поля его зрения. Вот почему требование закономерности и необходимости, с каким обращается Гегель к исторической науке, получает у него, в конце концов, только формальный и словесный характер.

Он не может, поэтому, последовательно до конца или, что то же, материалистически разрешить исторические антиномии, над которыми билась в бессилии философская мысль прошлого. Гегель — идеалист, и поэтому его диалектика, в конечном счете, переходит в метафизику, — он повторяет в своих исторических воззрениях те же противоречия, какие были свойственны его предшественникам.

Гегель не понимает истинной исторической необходимости, без которой не может быть понята и истинная случайность исторического процесса. Случайное и единичное фигурирует у него, зачастую, в качестве основы исторического процесса, а к действительной необходимости — экономике и производительным силам, классам и классовой борьбе — он обращается только случайно, только в тех случаях, когда хитросплетениями своих идеалистических рассуждений он не может завуалировать конкретных исторических фактов.

Гегель не может правильно определить роль личности в общественной жизни. Исторические герои являются у него конкретными носителями тех

задач, какие ставит истории всемирный дух. Но Гегель, разумеется, не может указать ступеней и механизма, благодаря которому общие требования всемирного духа претворяются в конкретные интересы тех или других конкретных исторических личностей. Деятельность этих личностей-героев у Гегеля получает в силу этого мистический чудесный характер, не об'яснимый реальными законами исторического развития. Эти личности черпают свои цели и свое призвание «не просто из спокойного, упорядоченного, освященного существующей системой хода вещей, а из источника, содержание которого скрыто и не дошло до наличного бытия, из внутреннего духа, который еще скрыт под землей и стучится во внешний мир, как в скорлупу, и разбивает ее, так как он является иным ядром. а не ядром, заключенным в этой оболочке»[1]).

Гегель не может разрешить строго-последовательно антиномию свободы и необходимости. Гегель прав, когда говорит, что мы свободны только тогда, когда познаем закономерность исторического процесса и природы и действуем согласно этой закомерности. Но гегелевская свобода, так же, как и гегелевская необходимость, не есть истинная свобода. Гегель не может возвыситься даже до такого буржуазного понимания свободы, которое, сказали, было у французских революционеров — у якобинцев. В конечном счете, как это явственно выступает в последних произведениях Гегеля, особенно в его «Философии права»; свобода человечества состоит, по его мнению, в познанной необходимости подчиняться всем установлениям и законам прусской неограниченной бюрократической монархии. Свобода состоит в чинопочитании, в благонравном почтительном добропорядочном поведении и других добродетелях немецкого среднего бюргера и филистера.

Гегель не может разрешить проблемы о соотношении разумного и действительного. Гегель диалектик сочувствует Французской революции и освободительному движению. Как диалектик он вынужден признать все существующее изменчивым. Все то, что признается на известном историческом этапе действительным и разумным, на другом этапе перестает быть таковым: «По мере развития, все, бывшее прежде действительным, становится не действительным, утрачивает свою необходимость, свое право на существование, свою разумность. Место умирающей действительности занимает новая, жизнеспособная действительность, занимает мирно, если старое достаточно рассудительно для того, чтобы умереть без сопротивления,— насильственно, если оно противится этой необходимости... По всем правилам гегелевского метода мышления — тезис, провозглашающий разумность всего действительного, превращается в другой тезис: достойно гибели все то, что существует» [2]). Но Гегель идеалист — вот почему он должен оправдывать разумность существующего прусского деспотизма. Как идеалист Гегель консервативен — он поворачивается спиною к Французской революции и освободительному движению. Идеализм, и отсюда проистекающая метафизичность, вынуждает Гегеля останавливать диалектический ход исторического развития и существующее неразумное — провозгласить разумным.

* * *

Идеализм Гегеля создает также непреодолимое препятствие для последовательного проведения диалектического метода в области теории познания.

Гегель стремится рассматривать познание в процессе, в единстве форм и содержания, в ступенчатом переходе одной формы познания в другую. Он хочет возвыситься над односторонностью эмпиризма и рационализма. Но Гегель не в состоянии последовательно провести диалектический взгляд на

[1]) Гегель, Философия истории; А. Деборин, Книга для чтения, т. II, стр. 342.

[2]) Ф. Энгельс, Л. Фейербах, стр. 32, изд. Весобщая библ. Львовича.

теорию познания благодаря своему идеализму. Единство эмпирического и рационального момента в познании, какое он хочет установить, ломается и рушится под напором идеализма. Гегель не может синтезировать опытное знание с разумным размышлением о предмете, он не может диалектически соединить чувственность и мышление.

Прежде всего, гегелевская теория познания переходит в односторонний рационализм. Рациональный момент в познании превращается у Гегеля в абстрактно-рационалистический, открывая дорогу самой безудержной игре понятий, самым безудержным схоластическим словесным выкрутасам и фокусам.

Понятие есть истинно-всеобще, оно обладает безграничной творческой силой, бесконечной потенцией к развитию и действию. Действительность, поэтому, должна быть выведена из логической идеи вся целиком, со всеми своими атрибутами, формами, качествами, свойствами, общими и частными законами, со всеми своими большими и малыми опытными фактами.

Рационалистический идеализм Гегеля, по самому своему существу, не может признать существование рядом с логикой,— с этим чистым учением о познании,— еще без особого опытного знания, которое имеет дело с частным и единичным. Это последнее все целиком без остатка должно быть дедуцировано из всеобщего, без всякой помощи лабораторий, без наблюдения и эксперимента, без реактивов и пробирок. В конце концов, диалектическое познание Гегеля переходит в самую безудержную спекуляцию, которое не считается ни с какими фактами и опытными данными. И не совсем не прав был Т. Круг, который, исходя из точки зрения «здравого смысла», требовал от Шеллинга и Гегеля, чтобы они дедуцировали, согласно положениям своей философии, то перо, которым он, Круг, пишет.

Но Гегель не может осуществить рационалистический идеализм последовательно до конца, он не может полностью свести эмпирическое чувственное познание к рациональному моменту. Эмпирическое и чувственное, которому не остается места в чистой системе панлогизма, мстит за себя тем, что оно без спроса, стихийно, по-партизански вторгается и нарушает ход рационалистических выведений. Эту особенность философии Гегеля отметил К. Маркс в своей критике «Философии права Гегеля». К. Маркс постоянно указывает на то, что чистый ход логических рассуждений Гегеля очень часто неожиданно сменяется самым неприкрытым вульгарным эмпиризмом [1]).

Гегель не может правильно определить движущие силы познавательного процесса. Он перевертывает действительные отношения, и поэтому его характеристика отношения суб'ективного и об'ективного момента в познании, формы и содержания мышления, или, что то же, истины и достоверности, — в конечном счете, метафизична.

Суб'ективное в познании отрывается от об'ективного, и оказывается, что познавательное движение,— и в отношении своего содержания, и в отношении формы, — целиком обязано суб'ективному. Гегелевская теория познания впадает в односторонний суб'ективизм, со всеми противоречиями, ему свойственными. Формы, в учении о познании у Гегеля, отрываются от содержания, которое, конечно, в своей основе должно быть материальным, действительным и реальным. Гегелевская теория познания впадает, в конечном счете, в односторонний абстрактный формализм.

Гегель добивается конкретной теории познания и логики — он строит теорию конкретного понятия, которое представляет единство всех своих моментов: общего, частного и единичного. Но Гегель не может правильно связать абстрактное с конкретным. Абстрактное в его философии, противо-

[1]) К. Маркс, Критика философии права Гегеля, стр. 169—173, 177.

поставляется конкретному, оно необычайно выпячивается и хочет подчинить себе, выжить, стереть с лица земли конкретное. Это один из существеннейших недостатков гегелевской теории познания, выражающий собой отрыв его философии от материальной чувственной конкретной действительности.

Этот порок гегелевского учения о познании был особенно подчеркнут Л. Фейербахом и К. Марксом. Л. Фейербах совершенно верно указывает на то, что гегелевская философия есть отвлеченная, умозрительная, абстрактная философия. Вся гегелевская система в целом основана, в конечном счете, на чистейших абстракциях, оторванных от действительности, от жизни, от природы и истории. Гегель абстрагирует мышление человека от конкретно-существующего человека; он абстрагирует сущность природы, провозглашая ее богом, от конкретно-существующей природы; логику он абстрагирует от истории; философию природы — от природы; философию природы — от общественной жизни; он абстрагирует предикаты от суб'екта, превращая их в самостоятельные суб'екты. Ход развития «от абстрактного к конкретному», какой только и знает гегелевская философия, есть извращенный ход, есть развитие наизнанку.

В этой же плоскости направляет свои удары против гегелевского идеализма и К. Маркс. В своих «Подготовительных работах для «Святого семейства»» К. Маркс отмечает следующую двоякую ошибку Гегеля, которая, в сущности, сводится к тому, что Гегель вместо действительного конкретного изучения предмета впадает в произвольную спекулятивную игру абстракций. «Когда, например, он рассматривает богатство, государственную власть и т. д., как сущности, отчужденные от человеческой сущности, то он берет их только в их отвлеченной форме... они отвлеченные сущности (Gedankenwesen), и поэтому только отчуждение чистого, т.-е. абстрактного, философского мышления. Поэтому все движение заканчивается абсолютным знанием (К. Маркс разбирает здесь гегелевскую «Феноменологию духа»), то, отчего отчуждены эти предметы и чему они противостоят с притязанием на действительность: это именно абстрактное мышление. Философ сам абстрактная форма отчужденного человека выдает себя за масштаб отчужденного мира. Поэтому вся история отрешения и все устранение отрешения есть не что иное, как история производства абстрактного, т.-е. абсолютного, мышления, логического, спекулятивного мышления» [1]).

Гегелевская теория конкретного понятия, в конце концов, также из'едена червоточиной абсолютной идеи,— она страдает абстрактностью и метафизичностью. Гегелю не удается связать в единство общий, частный и единичный момент понятия. Общая абстрактная, формальная деятельность понятия у Гегеля довлеет над конкретным.

Рационалистический идеализм Гегеля требует сначала приоритета общего над единичным и частным; а потом, в своем последовательном развитии, он требует безусловного его господства и неограниченного суверенитета, не стесняемого никакими законами и конституциями. Общее должно безраздельно царствовать потому, что само понятие, составляющее сущность всего существующего, по природе своей, есть общее. Панлогизм Гегеля в своем последовательном завершении представляет собою возобновление средневекового реализма, согласно которому только общие понятия существуют реально, подлинным образом, только они живут настоящей жизнью и дышат полной грудью.

Этот порок гегелевской теории познания был подвергнут подробной критике К. Марксом и Ф. Энгельсом в их работе «Святое семейство».

[1]) К. Маркс, Подготовительные работы для «Святого семейства», Соч., т. V, стр. 637.

В чем состоит тайна гегелевской спекулятивной конструкции? — спрашивают К. Маркс и Ф. Энгельс. Эта тайна состоит в чудесной творческой деятельности понятия как общего, которое является демиургом всего реального и конкретного, из которого, путем чисто-логических спекулятивных комбинаций, можно вытащить все существующее.

Сначала из действительно существующих вещей, действительных плодов: яблок, груш, земляники, миндаля, образуется общее представление «плод», а затем спекулирующий философ воображает, что это «добытое из действительных плодов абстрактное представление «плод» есть вне его «существующая сущность», он говорит, «что для груши не существенно то, что она — груша, для яблока — то, что оно — яблоко». В этих вещах существенно не их действительное, чувственно-созерцаемое наличное бытие, а абстрагированное от их «и подсунутая под них сущность», сущность представления «плод». «Спекулятивное мышление, сделавшее из различных действительных плодов о д и н плод абстракции — «плод вообще», вынуждено, чтобы заручиться хотя бы подобием действительного содержания, попытаться тем или иным образом вернуться от «плода», от с у б с т а н ц и и, к действительным, р а з н о о б р а з н ы м, вульгарным плодам — к яблоку, груше, миндалю и пр. Но насколько легко из действительных плодов вывести абстрактное представление «плод», настолько же трудно из абстрактного представления «плод» вывести действительные плоды. Невозможно притти от абстракции даже к п р о т и в о п о л о ж н о с т и абстракции, н е о т к а з а в ш и с ь от самой абстракции.

Спекулятивный философ отказывается поэтому от абстракции «плода», но он отказывается от нее на особый, с п е к у л я т и в н ы й, м и с т и ч е с к и й манер — так именно, что сохраняется видимость, будто он н е отказывается от абстракции. Он поэтому и действительно лишь видимо покидает абстракцию» [1]).

Гегель не может связать теорию познания с историей познания, с развитием общественного сознания, с идеологией, с развитием науки и философии. Развитие общественного познания не определено у Гегеля, в своем корне, базисом общественной жизни: классовой борьбой, экономическими противоречиями и производительными силами. Это развитие абстрагировано и оторвано от действительного исторического развития, в силу чего оно получает самостоятельный, самодовлеющий, имманентный характер. Конкретные причины перехода от одной общественной идеологии к другой изображаются у Гегеля, как чистая деятельность логических абстракций.

В конце концов и здесь, по всей линии, торжествует метафизика. В тот момент, когда общественное познание добирается до абсолютного знания (каковым, разумеется, является философия Гегеля), дальнейшее развитие приостанавливается. Познавать больше нечего и незачем. «Но это значило провозгласить абсолютной истиной все догматическое содержание системы Гегеля и тем встать в противоречие с его методом, разлагающим все догматическое. Это значило раздавить революционную сторону под тяжестью непомерно разросшейся консервативной стороны» [2]).

Подводя итоги нашей характеристике взаимодействия метода и содержания философии Гегеля, мы еще раз должны подчеркнуть, что это взаимодействие нельзя рассматривать механически — как столкновение двух абсолютно внешних друг другу элементов: всегда равного себе содержания и такого же равного себе метода. Идеалистическое содержание философии Гегеля сталкивается с диалектическим методом — в результате этого происходит обоюдная существенная трансформация. Метод видоизменяет со-

[1]) К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с, Святое семейство, Соч., т. III, стр. 79.
[2]) Ф. Э н г е л ь с, Л. Фейербах, «Всеобщая библиотека» Львовича, стр 34.

держание философии Гегеля и переводит его, в конечном счете, в материализм. Идеалистическое содержание, в своем ответном воздействии, видоизменяет диалектический метод и переводит его в метафизику. И по своему содержанию и по своему методу — философское учение Гегеля как бы раздваивается и живет как бы двойственной жизнью. Противоречие метода и системы в философии Гегеля претворяется, прежде всего, в удвоении, в противоречии двух содержаний: одного основного наличного, фактически данного идеалистического содержания и другого скрытого материалистического возникающего, в виде внутренней тенденции, на почве диалектического метода. Истинное действительное содержание философской мысли — действительная природа и материя — у Гегеля выступает как некий внешний поверхностный случайный момент. А то, что является на самом деле определением формы, делается у него основным содержанием философии. Получается та перестановка и уродство действительных отношений, на которую указал К. Маркс в своей критике философии права Гегеля.

«Конкретное содержание, действительное определение выступает как формальный момент; совершенно абстрактное же определение формы выступает как конкретное содержание» [1]).

Противоречие метода и системы в философии Гегеля выступает также в виде удвоения формы, в виде противоречия двух методов: основного наличного диалектического метода и метафизического метода, возникающего на почве гегелевского идеализма. Диалектический метод, который является способом движения самой материальной действительности, у Гегеля, в силу этого влияния идеализма, мистифицируется и выступает в изуродованном, искривленной форме, в виде способа движения понятия, закона развития духа. Эта мистическая и уродливая метафизическая сторона гегелевской диалектики постоянно подчеркивается основоположниками марксизма.

Только в свете этого противоречия метода и системы, диалектики и идеализма мы сможем понять эволюцию гегельянства, разложение гегелевской школы на правое и левое крыло, процесс перехода от идеалистической философии Гегеля к диалектическому материализму К. Маркса. В методологическом отношении этот переход должен быть определен как процесс расщепления диалектического метода от идеалистического содержания гегелевской философии, как процесс противоположения материализма идеализму, как процесс освобождения диалектического метода от мистической уродливой оболочки, в какую его облек Гегель.

* * *

Наша задача характеристики взаимодействия метода и содержания в философии Гегеля была бы не выполнена, если бы мы не коснулись также вопроса о социальном значении этого взаимодействия. Подробно остановиться в этом вопросе мы не сможем, это не входит непосредственно в нашу задачу.

Классическая немецкая философия, если взглянуть на нее с точки зрения социально-классовых отношений, представляет собою наивысшее теоретическое выражение освободительно-революционного движения немецкого бюргерства конца XVIII и начала XIX столетий. Эта философия концентрировала в себе политические требования немецкой буржуазии, выражая их абстрактным спекулятивным языком. Философия той эпохи была знаменем, под которым немецкая буржуазия выступала против старого режима, дворянства, помещичьего деспотизма, против чиновничества и бюрократизма,

[1]) К. Маркс, Критика философии права Гегеля, «Архив» т. II, стр. 153.

религии и официальной догмы. Немецкая буржуазия, по крайней мере, на первых этапах, подготовливала революцию в мысли, в теории, в философии. «Подобно тому,— говорит К. Маркс,— как древние народы переживали свою доисторическую эпоху в воображении, в мифологии, так мы, немцы, переживаем нашу будущую историю в мыслях, в философии. Мы — философские современники действительности, не будучи ее историческими современниками. Немецкая философия — идеальное продолжение немецкой истории». Философия некоторое время занимала центральное место в умственной жизни немецкого общества: от нее хотели получить ответы на все современные вопросы, на все вопросы, возникшие на том или другом участке идеологического фронта. Именно по этой причине никто из великих классиков немецкого идеализма не удовлетворялся малым,— решением одного какого-нибудь вопроса, одной какой-нибудь частной проблемы. Эпоха классической философии есть эпоха великих систем, которые должны были связать в единое целое все требования времени: политику и науку, знание и веру, право и нравственность, теорию и практику и т. д. и пр. и пр.

Будучи высшим теоретическим выражением политических требований эпохи, философия отображала на себе все сильные и все слабые стороны буржуазного освободительного движения. Только с этой точки зрения, связывая философию с жизнью, с общественными отношениями, с классовой борьбой,— мы можем об'яснить главные особенности великих классических систем немецкого идеализма. Все эти великие системы, в философском и методологическом отношении, и по своему содержанию и по методу характеризуются двойственностью, внутренней противоречивостью. Это об'ясняется, в конечном счете, политически противоречивым и двойственным положением немецкой буржуазии, которая еще была в политическом отношении слаба, была еще недостаточно отдифференцирована от помещичьего класса, была еще полна соглашательства и компромиссов. Этой двойственностью насквозь проникнута философия Канта — что обнаруживается в его стремлении примирить веру и знание, разум практический и теоретический, чувственность и мышление и проч. Эта двойственность и противоречивость находят своеобразное выражение в системе Фихте: — в его широкой революционности и действенности и в тусклой форме суб'ективности, в какую эта революционность облечена. Это же своеобразно отражается и на философском учении Шеллинга: в его диалектичности, в его стремлении связаться с реальным знанием, с естественными науками, с природой и материей и в его мистицизме, спекулятивности, романтизме, алогичности и проч. И, наконец, это же двойственное положение немецкой буржуазии находит своеобразное отражение в философии Гегеля — в виде противоречия метода и системы.

В философии Гегеля борются с этой точкой зрения два начала — революционное и консервативное. Диалектический метод революционен по самой своей природе. «Диалектическая философия разлагает все представления об окончательной, безусловной истине и соответствующих ей абсолютных отношений людей... Для диалектической философии нет ничего раз навсегда установленного, безусловного, святого. На всем и во всем видит она печать неизбежного падения, и ничто не может устоять перед нею, кроме непрерывного процесса возникновения и уничтожения, бесконечного восхождения от низшего к высшему. Она сама является лишь простым отражением этого процесса в мыслящем мозгу. У нее, без сомнения, есть и своя консервативная сторона: каждая данная ступень развития науки, или общественных отношений, оправдывается ею в виду обстоятельств данного времени, но не больше. Ее консерватизм относителен; ее революционный характер безусловен,—к нему сводится все то безусловное, для которого в ней остается место» [1].

[1]) Ф. Энгельс, Людв. Фейербах, «Всеобщая библиотека» Львовича, стр. 35.

Диалектический метод Гегеля революционен — он заставляет его, большей частью бессознательно, против воли, формулировать самые рискованные революционные положения, находящиеся в прямом противоречии с прусской политической государственной догмой, со взглядами церковников и теологов. Учение Гегеля, как выразился однажды Герцен, является настоящей алгеброй революции. Но оно могло быть таковой только благодаря диалектике, благодаря принципу развития и историзма, какой стремился провести Гегель. С этой точки зрения — философия Гегеля является высшим теоретическим обоснованием революции. Революция так же естественна и необходима в обществе и природе, как необходимы мелкие шажки, мелкие постепенные эволюционные накопления,— таков кардинальный вывод, к какому приходит Гегель благодаря своей диалектике.

Но идеалистическая система Гегеля тянет его назад. Гегель консерватор, благодаря своей системе,—он против насильственных переворотов и якобинской диктатуры, он сторонник абсолютного, он преданный сын церкви и защитник существующих церковных догм, он за существующий помещичий деспотизм и прусскую государственность. Консервативная, идеалистическая сторона гегелевской философии уродует революционный характер его метода. И Гегель не может стать на последовательно-революционную точку зрения. «И так уже одни внутренние потребности системы достаточно объясняют, почему крайний революционный образ мышления привел к очень мирному политическому выводу» [1]).

Диалектика Гегеля мистифицирована — она переходит в метафизику и, в силу этого, отрицание существующего порядка она заменяет его признанием. В такой форме диалектика была модной в Германии,— она «преображала и просветляла существующее».

В своей же рациональной форме она внушает буржуазии ужас — потому что она прямо зовет к революции и отрицанию существующего режима.

Возникает вопрос, каков результат этой борьбы метода и системы философии Гегеля? Что доминирует, что преобладает, что побеждает: метод или система?

На этот вопрос нельзя ответить, не учитывая особенностей развития самого Гегеля, а также не принимая в расчет социальных и классовых сдвигов немецкого общества того времени. Что касается самого Гегеля — то к концу его жизни система у него стала доминировать над методом. Вместе с тем официально-правительственным признанием, какое получила философия Гегеля, вместе с теми почестями, какие лично выпали на его долю — сам Гегель становится все консервативнее и консервативнее, все легче примиряется с существующим режимом, все чаще выступает на его защиту. Но не так обстояло дело в исторической перспективе с развитием гегелианства в целом.

Уже к концу жизни Гегеля произошли большие классовые сдвиги, и все сильнее и сильнее стала пробиваться наружу революционная струя. Развитие гегелианства есть одновременно процесс распада гегелевской школы. Этот процесс, который в методологическом отношении характеризуется освобождением диалектического метода от преступной связи, какую он имел с идеалистической системой, есть процесс освобождения революционных элементов гегелевской философии от гнета консервативных и реакционных элементов. «Пока еще вяло бился пульс общественной жизни Германии, из философского учения Гегеля делались по преимуществу консервативные выводы. Тогда она и сделалась официально признанной королевско-прусской

[1]) Там же, стр. 35.

философией. А по мере того, как учащалось биение общественного пульса, консервативный элемент философии Гегеля все более и более оттеснялся на задний план ее диалектическим прогрессивным элементом»[1]).

И в этом историческом развитии диалектический метод окончательно побеждает и торжествует над идеалистической системой гегелевской философии. Но эта победа метода над системой есть отрицание гегелианства как такового, есть переход к новой более совершенной и истинной точке зрения, есть переход к самому передовому и революционному учению — к диалектическому материализму К. Маркса.

(Продолжение следует).



[1]) Плеханов, От идеализма к материализму, Соч., т. XVIII, стр. 152.



Экономическая природа советских денег и перспективы червонца[1]).

Е. Преображенский.

Я мог бы назвать эту тему и иначе, а именно: Эволюция категории денег при победе планового хозяйства. Само собой очевидно, что эта тема представляет из себя лишь часть более общей темы о природе и тенденциях нашего советского хозяйства. Однако я намерен итти не от общего к частному, а наоборот. Это приходится делать по двум причинам. Во-первых, к общей проблеме легче подойти от изучения одного из конкретных участков нашего хозяйства, а, во-вторых, этот участок и его освещение представляет из себя наиболее сложную задачу. Здесь особенно важно во-время понять, что именно здесь у нас происходит, и во-время занять правильные позиции в практической политике кредита и денежного обращения. Недаром с самого начала деньги представляли из себя наиболее туманную, наиболее мистическую и наиболее мистифицирующую часть экономики товарного хозяйства. Это был центральный узел всех тайн товарного хозяйства. И замечательно, что в то время как в нашем хозяйстве, с самого его возникновения, все просветлело и стало более понятным, чем при капитализме и господстве рынка, это просветление, вытекающее из всей структуры новой экономики, было минимальным ка краз в сфере денег и кредита. Так же обстоит дело отчасти и по сие время. И в настоящее время контуры движения масс натуральных продуктов, распределение труда и соотношение классовых сил в сфере производства менее отчетливо видны, если наблюдать все это с участков кредита и денежного обращения. Но тем интереснее теоретически приступить к разрешению проблемы самого трудного ее конца.

Период военного коммунизма.

Начнем с некоторых исторических воспоминаний. В период военного коммунизма все мы, или, по крайней мере, огромное большинство из нас, чрезвычайно преуменьшали живучесть нашего денежного обращения. В этом в особенности был повинен пишущий эти строки. Дело нам, в общем и целом, представлялось таким образом. После того, как советское правительство осуществило национализацию крупной промышленности, после того, как оно все больше и больше вводило практику планового распределения продуктов, после того, как оно из года в год увеличивало разверстку на крестьянскую продукцию, распространяя ее не только на предметы потребления, но и на сырье, советская власть подготовляла тем самым уничтожение всей денежной системы. Деньги должны быстро отмирать, поскольку быстро отмирает товарное хозяйство. Основная задача валютной политики советского правительства сводится поэтому к тому, чтобы максимально использовать бумажно-денеж-

[1]) Статья печатается в порядке обсуждения. Ред.

философией. А по мере того, как учащалось биение общественного пульса, консервативный элемент философии Гегеля все более и более оттеснялся на задний план ее диалектическим прогрессивным элементом»[1]).

И в этом историческом развитии диалектический метод окончательно побеждает и торжествует над идеалистической системой гегелевской философии. Но эта победа метода над системой есть отрицание гегелианства как такового, есть переход к новой более совершенной и истинной точке зрения, есть переход к самому передовому и революционному учению — к диалектическому материализму К. Маркса.

(Продолжение следует).



[1]) Плеханов, От идеализма к материализму, Соч., т. XVIII, стр. 152.



Экономическая природа советских денег и перспективы червонца[1]).

Е. Преображенский.

Я мог бы назвать эту тему и иначе, а именно: Эволюция категории денег при победе планового хозяйства. Само собой очевидно, что эта тема представляет из себя лишь часть более общей темы о природе и тенденциях нашего советского хозяйства. Однако я намерен итти не от общего к частному, а наоборот. Это приходится делать по двум причинам. Во-первых, к общей проблеме легче подойти от изучения одного из конкретных участков нашего хозяйства, а, во-вторых, этот участок и его освещение представляет из себя наиболее сложную задачу. Здесь особенно важно во-время понять, что именно здесь у нас происходит, и во-время занять правильные позиции в практической политике кредита и денежного обращения. Недаром с самого начала деньги представляли из себя наиболее туманную, наиболее мистическую и наиболее мистифицирующую часть экономики товарного хозяйства. Это был центральный узел всех тайн товарного хозяйства. И замечательно, что в то время как в нашем хозяйстве, с самого его возникновения, все просветлело и стало более понятным, чем при капитализме и господстве рынка, это просветление, вытекающее из всей структуры новой экономики, было минимальным как раз в сфере денег и кредита. Так же обстоит дело отчасти и по сие время. И в настоящее время контуры движения масс натуральных продуктов, распределение труда и соотношение классовых сил в сфере производства менее отчетливо видны, если наблюдать все это с участков кредита и денежного обращения. Но тем интереснее теоретически приступить к разрешению проблемы самого трудного ее конца.

Период военного коммунизма.

Начнем с некоторых исторических воспоминаний. В период военного коммунизма все мы, или, по крайней мере, огромное большинство из нас, чрезвычайно преуменьшали живучесть нашего денежного обращения. В этом в особенности был повинен пишущий эти строки. Дело нам, в общем и целом, представлялось таким образом. После того, как советское правительство осуществило национализацию крупной промышленности, после того, как оно все больше и больше вводило практику планового распределения продуктов, после того, как оно из года в год увеличивало разверстку на крестьянскую продукцию, распространяя ее не только на предметы потребления, но и на сырье, советская власть подготовляла тем самым уничтожение всей денежной системы. Деньги должны быстро отмирать, поскольку быстро отмирает товарное хозяйство. Основная задача валютной политики советского правительства сводится поэтому к тому, чтобы максимально использовать бумажно-денеж-

[1]) Статья печатается в порядке обсуждения. Ред.

ную эмиссию, как вид налога и затем, на определенном этапе, совсем распрощаться с деньгами, если они сами не предупредят нас и не распрощаются с нами в форме краха всей бумажно-денежной системы.

Эти представления были естественны для того периода, поскольку во время военного коммунизма, особенно в период кульминационного развития этого типа хозяйства, мало кто думал о переходе нашего хозяйства во 2-й этап, который мы назвали нэпом.

Чтобы наиболее отчетливо представить себе, как тогда рисовалось дело, я приведу пару цитат из своей работы: «Бумажные деньги в эпоху пролетарской диктатуры». Я писал, между прочим, в этой работе: «Ему (т.-е. советскому правительству) есть больше оснований брать из обращения товары до тех пор, пока их можно брать, не стесняясь увеличения выпуска бумажных денег до последнего предела. В таком случае мы будем иметь перед собой отмирание всей бумажно-денежной системы обращения, Такая ситуация характерна для переходной эпохи от капитализма к коммунизму. Наибольший теоретический и в особенности практический интерес имеет тогда вопрос о том, как долго может продолжаться агония бумажно-денежного обращения». Но на ряду с этой общей установкой тогда проскальзывало иногда и предчувствие того, что бумажные деньги могут у нас продержаться и несколько дольше вследствие временного перевеса мелкобуржуазного производства над плановым государственным хозяйством. Например, в конце той же самой работы я писал: «Не исключена возможность повышения курса бумажек, если размеры мелкого производства и в частности количества ценностей, поступающих на вольный рынок, будут увеличиваться (на основе временного расширения ремесла, урожая, под'ема крестьянского хозяйства). Кроме того, расширение внешней торговли может поднять спрос на советские бумажные деньги. С разгромом Врангеля уже отмечается быстрое падение «царских» денег и более благоприятное положение с советскими. Это может оказать кое-какое влияние на курс советского рубля внутри страны, особенно же — сокращение выпуска новых миллиардов. Таким образом, прекращение бумажного выпуска со стороны государства не только не убьет, а скорее оживит в первые годы бумажный рубль в его родной стихии, т.-е. на вольном рынке» (Там же, стр. 82). В общем же и целом пишущий эти строки, как и многие другие товарищи, ориентировался скорее на то, что при диктатуре пролетариата бумажные деньги не могут быть долговечны. Еще в такой крестьянской стране, как Россия, они могут протянуть дольше. Наоборот, в передовых капиталистических странах, в которых победит социалистическая революция пролетариата, это отмирание денег произойдет с гораздо большей быстротой.

Все эти рассуждения казались нам наивными и близорукими, когда наступил период нэпа. Однако теперь, когда эпоха нэпа заканчивается, либо, если хотите, мы вступаем в последний этап его, все эти постановки вопросов периода военного коммунизма не кажутся уже ни столь наивными, ни столь беспочвенными. Ошибочное, конечно, не делается правильным. Но то, что было в основных наших установках программным, то делается теперь гораздо более актуальным. В настоящий момент вообще было бы очень интересно проследить в специальной работе эволюции наших взглядов на деньги и денежное обращение за период 12 лет. Но в настоящем случае нас интересует не это, нас интересует оценка роли денег в нашей системе за период военного коммунизма в том виде, в каком фактически сложилось тогда дело в этой области государственного хозяйства.

В эпоху военного коммунизма основная наша задача в области хозяйства состояла в том, чтобы систематически вытеснять элементы товарного хозяйства и расширять сферу государственного хозяйства. Основная наша задача в области бумажно-денежного обращения заключалась в том, чтобы извлечь для доходной части нашего бюджета максимальное количество средств

из источников бумажно-денежной эмиссии и по возможности предвидеть, на какое количество реальных ценностей мы можем рассчитывать на протяжении того или иного срока. Мы жили, следовательно, в условиях эмиссионного денежного хозяйства, мы имели быстро падающую валюту. Это падение валюты происходило под действием 5 факторов: быстрого сокращения товарного оборота страны и натурализации всей системы распределения, увеличения массы выпускаемых в обращение бумажных денег, ликвидации денежного накопления населения, сжатия до минимума функции денег, как средства платежа, и увеличения быстроты оборота денег. При совокупности действий всех этих 5 факторов, бивших в одном направлении, мы имели неизбежный и чрезвычайно быстрый темп падения покупательной способности бумажных денег, а вместе с тем и все те явления, которые характеризуют обстановку быстро падающей валюты. Если мы подойдем к оценке роли денег в ту эпоху, исходя из тех функций денег, которые вообще присущи этой категории нормальных условий товарного хозяйства, то мы придем к следующим итоговым выводам:

1. Основная функция денег, как мерила ценности, вообще принадлежит деньгам, имеющим субстанциональную ценность, т.-е. деньгам, которые сами представляют из себя один из товаров, а именно денежный товар, ценность которого определяется на общем основании со всеми прочими товарами. Наши бумажные деньги того времени потеряли способность быть мерой ценности. Это вытекало из самой природы бумажных денег, а не из природы советского знака, как такового.

2. Бумажные деньги, как средство накопления, продолжали еще играть свою роль в первые годы войны при царизме и отчасти в период Временного Правительства. При советском режиме тезаврация бумажных денег со стороны населения уже заканчивалась. Следовательно, если мы берем период военного коммунизма в его целом, то по отношению к нему мы можем сказать, что функция советских денег как средства накопления была совершено ликвидирована.

3. Функция денег как средства платежа в ее наиболее развитой форме, т.-е. в форме банкнотного обращения, была ликвидирована еще до советской власти. Более элементарная форма средства платежа, а именно средства платежа в области государственных налогов и т. д., также была ликвидирована с уничтожением системы денежных налогов и с развитием системы разверстки.

4. Для советских денег осталась лишь одна функция, а именно функция средства обращения, в каковом качестве они и дотянули до периода нэпа, причем и эта функция была сжата до ее последнего предела. Это можно видеть по тому, что стоимость всего нашего обращения, во всех его видах, равнявшаяся перед войной сумме в 2 миллиарда с лишним (на 1 января 1914 г. 2402,2 млн.), упала в 1921 г. в июле до 29,1 млн., если считать стоимость обращения по индексу статистики труда. Это было максимальное сжатие золотой стоимости обращения за все время существования совзнака.

Спрашивается теперь, в чем же заключалась оригинальность наших бумажных денег в период военного коммунизма по сравнению с бумажными деньгами любой капиталистической страны в период падающей валюты, например, с бумажными деньгами Германской республики в 1914—1923 гг., Польши, Австрии и т. д. Если принимать во внимание внешнюю сторону дела, а именно размер выпуска бумажных денег, общий темп их обесценивания и необходимость для самого правительства в определенный период ликвидировать денежные знаки и провести операцию смены валюты, то с этой точки зрения как будто бы нет никакой разницы между советскими деньгами и деньгами ряда капиталистических стран с падающей валютой. Однако, несмотря на такое внешнее сходство и несмотря на очень значительные элементы сход-

ства по существу дела, мы встречаемся здесь, однако, и с очень существенным различием.

В отличие от буржуазных правительств с падающей валютой, у которых этот процесс наблюдался при господстве товарного капиталистического хозяйства, у нас все это происходило в условиях перехода к государству почти всей промышленности и ряда других командных высот хозяйства. А так как мы делали ставку на дальнейшее усиление государственного хозяйства, рост плановости и натурализации всех отношений, то наша валютная политика не исходила из задачи всемерно задержать быстрое падение курса бумажных денег, наоборот, мы считали такое падение неизбежным следствием нашей общей экономической политики и относились к нему с полным спокойствием. Конечно, теперь весь этот процесс нам представляется несколько иначе, чем в эпоху военного коммунизма. Однако и тогда мы отдавали себе в нем довольно ясный отчет и видели ту огромную разницу, которая существует между буржуазной валютной политикой периода потрясения денежной системы и падающей валютой и денежной политикой пролетарской революции в условиях той же падающей валюты. В выше цитированной книге я писал на эту тему, между прочим, следующее: «Прежде всего совершенно очевидно, что на уничтожение всей бумажно-денежной системы обращения может итти лишь только такой класс, стоящий у власти, лишь такое правительство, которому обеспечен иной способ получения доходов на совершенно иной базе общественного распределения. Если степень здоровья и силы всего буржуазного общества покоится на увеличении количества «Т» (т.-е. товара), если увеличение «Т»—это термометр для определения здоровья этого общества, то для переходной эпохи от капитализма к коммунизму термометром, определяющим успехи нового общества, служит увеличение другой величины, величины «П» (т.-е. количество продуктов, а не товаров), проходящих через распределительные органы социалистического государства.

Увеличение «П» за счет «Т», борьба «П» с «Т»—это есть борьба социалистического распределения с анархической сутолокой рынка, выражаясь в российских терминах, борьба Компрода с Сухаревкой. Чем больше продуктов попадает в руки пролетарского государства, как вследствие национализации все новых и новых предприятий и увеличения выработки на них, так и вследствие успеха заготовки со стороны продовольственных органов, применяющих систему натурального налога на крестьянство, тем больше растет «П», тем меньше то количество «Т», которое поступает на вольный рынок. Отсюда вытекает целый ряд выводов, имеющих огромное практическое значение для финансовой политики пролетарского государства, с одной стороны, для об'яснения ряда явлений в области бумажно-денежного обращения,—с другой (стр. 34—35). Так представлялось многим из нас дело тогда, по крайней мере, так представляла его себе значительная часть наших товарищей, которые занимались проблемами денежного обращения.

Подводя итоги, мы можем сказать, следовательно, про период военного коммунизма следующее. Поскольку на тогдашней территории Советской России мы имели товарно-денежный оборот, существующий параллельно и в борьбе с государственным плановым хозяйством,—с тем примитивным плановым хозяйством, которым характеризовался этот, выражаясь словами тов. Крицмана, «героический период русской революции»,—мы имели бумажные деньги как будто бы обычного буржуазного типа. Но, с другой стороны, эти деньги были серьезнейшим образом деформированы, поскольку систематически оттеснялись на все более и более узкий плацдарм из пределов государственного хозяйства в результате растущей натурализации обращения.

Оригинальность нашей падающей валюты в сравнении с валютами капиталистических стран заключалась еще и в следующем. Как мы уже сказали,

в сфере отношения одних государственных предприятий к другим не существовало товарно-денежное обращение. Все необходимое предприятия получали по плану, большей частью, по ордерам так называемой «Комиссии использования». Такое обращение не существовало и в отношении той части зарплаты, которая была натурализована и приняла форму пайкового снабжения. Точно так же быстро прогрессировало введение системы бесплатных услуг со стороны государства и муниципальных органов. По отношению к крестьянству практиковалось, с одной стороны, из'ятие излишков в форме разверстки для государства, а, с другой стороны, плановое снабжение деревни Наркомпродом, при чем обе эти операции исключали деньги, вернее сказать, исключали эквивалентно-рыночное измерение обмениваемых продуктов в деньгах, хотя Наркомпрод некоторое время, в виде архаизма, продолжал уплачивать за каждый пуд заготовленного хлеба какие-то маленькие суммы в бумажках, не соответствовавшие под конец и одной тысячной рыночной стоимости заготовляемых продуктов. Денежный товарообмен существовал собственно только в сфере обмена продукции между кустарями и деревней и внутри самой деревни, с той, однако, очень важной поправкой, что в ряде селок и на ряде рынков деньги начинали бойкотироваться, мерилом ценности делались отдельные товары, как хлеб, соль, мануфактура и т. д., и на этом участке, следовательно, происходило изгнание денег. Но это изгнание происходило не на основе осуществления планового хозяйства, следовательно, не на основе, если можно так выразиться, прогрессивного перерождения системы распределения и отмирания денег, а на основе возвращения к безденежной меновой торговле, т.-е. в форме регрессивного отмирания этой категории денег.

Оставался еще один участок, где роль денег была весьма своеобразна и несравнима с положением падающей валюты в буржуазных странах. Я имею здесь в виду ту часть зарплаты, которая выдавалась рабочим и служащим не в натуре, не на основе пайкового снабжения, а в форме быстро падающих денежных знаков. Рабочий сам не располагал своей продукцией, этой продукцией располагало государство, но, получая в свои руки часть зарплаты в деньгах, он выступал, как покупатель на потребительском вольном рынке. Отличие его роли на этом рынке от роли крестьянина и кустаря, обменивавшихся между собой, было совершенно очевидна. При обмене внутри мелкобуржуазной части хозяйства один товар противостоял другому, здесь деньги имели, следовательно, обращение. Наоборот, когда рабочий покупал что-нибудь у крестьянина на часть своей зарплаты, здесь деньги не имели обращения. Рабочий в форме денег получал здесь своего рода ордер на из'ятие по эмиссионному налогу государства части товарной продукции мелкого производства. Такого вида денежного отношения капиталистическая Европа не знала даже в тех ее странах, где падение валюты закончилось, как это было в Германии, полной гибелью этой бумажной валюты. Я прошу запомнить своеобразие этого факта, потому что с этой областью отношений, хотя и в измененном виде, мы встретимся в дальнейшем.

Наконец, нужно еще отметить здесь, что мы были в то время блокированы и наша бумажная валюта не имела никакого соприкосновения с валютами других стран ни на основе торговли, ни другим каким-либо путем, если не считать котировки аннулированных царских денег за границей, котировки, носившей, разумеется, совершенно специфический характер.

Период нэп'а.

Теперь мы переходим к периоду нэпа. Какие изменения произошли в эту эпоху нашей переходной экономики?

Как в период военного коммунизма те изменения в природе наших денег, которые произошли не в результате падения валюты, а вследствие суще-

ствования падающей валюты при национализации промышленности и при наличии известных элементов планового хозяйства, были связаны с социалистической сущностью нашей экономики в сравнении с экономикой капиталистических стран, так и особенности природы наших денег в период нэпа происходили из того же самого источника.

Правда, с переходом от продразверстки к продналогу, а затем к заготовке сельскохозяйственных продуктов на рыночной основе в корне изменилась система связи между государственным и крестьянским хозяйством. Во-вторых, натурализация зарплаты была ликвидирована, и рабочий класс стал реализовать свой денежный доход на рынке на общих основаниях со всеми другими. Его закупки продолжали еще первое время носить характер взыскания эмиссионного налога с товарного производства, но фундаментальное изменение произошло на другом полюсе, поскольку продукция государственной промышленности, т.-е. продукция тех же рабочих масс, выступавших как производители, вступала теперь в обращение с товарной продукцией деревни на рыночной основе. Что касается взаимоотношений государственных предприятий друг с другом, то здесь мы, проводя унификацию всех форм хозяйственных отношений, если не проводили в действительности, то, во всяком случае, усердно имитировали систему рыночных отношений. Однако почти вся наша промышленность продолжала оставаться государственной промышленностью; плановое хозяйство периода военного коммунизма не было ликвидировано, а было лишь трансформировано применительно к рыночной системе связи между государственным и частным хозяйством. Этим самым были предрешены все те дальнейшие изменения в природе наших денег, которые происходили уже за период нэпа. Но об этом несколько дальше.

С переходом на нэп мы вступили в эпоху быстрого роста товарной продукции государственной промышленности и быстрого восстановления товарного хозяйства деревни и кустарей. Вместе с тем начали развиваться и наши торговые связи с заграницей, хотя и в весьма своеобразной форме, т.-е. на основании существования монополии внешней торговли. В итоге мы имели быстрый рост денежного товарооборота в стране. Благодаря росту денежного товарооборота мы имели быстрый рост так называемого теоретического золотого минимума обращения, т.-е. золотой стоимости всего нашего обращения. При таком положении наша бумажно-денежная эмиссия, от которой мы не могли еще отказаться вследствие дефицитности нашего бюджета и вследствие недостаточно быстрого роста денежных налогов, делалась все более и более эффективной, а падение валюты относительно задерживалось. Вообще говоря, мы могли бы притти к твердой валюте и на основании наших потрепанных денежных знаков, если бы нашли это целесообразным. Мы, однако, избрали другой путь, путь замены старой валюты новой, и приступили к выпуску червонца. Выпуском червонцев мы освободили себе плацдарм, на который оперлись одной ногой, в то время как под другой нашей ногой почва размывалась катастрофически быстрым падением денежного знака, который мы сами осудили на умирание и который не предполагали спасать. В результате мы произвели денежную реформу, которая нам удалась не потому, что мы сменили одну бумажную валюту другой, а благодаря тому, что мы быстро уменьшили наш бюджетный дефицит и новая эмиссия уже в червонной валюте, с одной стороны, и в форме казначейской валюты,—с другой, по своим размерам в общем отвечала нарастанию необходимого для страны минимума обращения.

Здесь приходится сказать несколько слов для характеристики наших денег этого периода. Когда мы добились стабилизации валюты, когда мы построили наш червонец теоретически, верней: декларативно, на золотом основании и когда временами стоимость бумажного червонца почти равнялась не

вольной валютной бирже стоимости старой царской золотой десятирублевки (одно время десятка была даже ниже червонца), когда мы установили и поддерживали паритет нашего червонца с твердыми иностранными валютами и когда, наконец, стремились строго придерживаться принципа так называемого золотого обеспечения червонца, то для поверхностного взгляда казалось, что наша новая советская валюта идет быстро по пути превращения в деньги любой капиталистической страны. Некоторым финансовым работникам нашим маячило даже в перспективе золотое обращение, или, по крайней мере, золотой размен, как завершение всей этой эволюции. Однако в дальнейшем действительный рост нашего экономического развития и нашего финансового хозяйства начал понемногу отделять фантастическое от реального, утопическое от достижимого, целесообразное—от беспочвенного обезьяничания буржуазного денежного обращения. В этом отношении эволюцию наших денег за период нэпа можно разделить на два периода:

1) Период временного приближения наших денег, главным образом, по форме, но отчасти и по существу, к бумажным деньгам и неразменной банкноте капиталистических стран.

2) Период нарастания в нашем хозяйстве элементов, которые должны были повернуть этот процесс в другом направлении, а именно, в направлении какой-то оригинальной трансформации наших денег в новое образование, которое одновременно и является деньгами в обычном смысле этого слова, и не является ими.

Я должен подчеркнуть здесь, что это постепенное изменение внутренней природы наших денег началось не со вчерашнего дня. Оно началось с того момента, когда, после перехода на хозяйственный расчет наших государственных предприятий и после периода известного разброда и ослабления планового начала в управлении промышленностью, мы вступили в период, с одной стороны, более быстрого восстановления государственного хозяйства и роста его накопления, его продукции, а, с другой стороны, в период усиления планового начала внутри государственного круга и увеличения элементов регулирования и регулирующего воздействия этого государственного хозяйства на все частное хозяйство вообще. Как наш рынок оказался весьма своеобразным рынком, совсем непохожим на рынок какой-либо буржуазной страны нашего уровня развития, так и наши деньги начали обнаруживать своеобразные черты, отличные от свойства денег, циркулирующих на «вольном капиталистическом рынке». Если подходить к нашим деньгам периода стабилизации валюты с обычным определением, которым мы пользуемся при анализе и квалификации денег капиталистического хозяйства, то мы должны были бы сказать следующее. Наш червонец формально представляет из себя неразменную банкноту. Он обеспечен определенным запасом золота и прочих ценностей в подвалах и кассах Госбанка. Однако это обеспечение не имеет никакого влияния на его курс, поскольку червонец является неразменным, а поэтому он не имеет постоянного соприкосновения в сфере вольного обмена с внутренним золотом страны. Что золотое обеспечение червонца есть только некоторый дисциплинирующий фактор, затрудняющий чрезмерную эмиссию, это ясно для каждого экономиста. В 80-х годах Друцкой-Любецкой остроумно как-то заметил, что металлическое обеспечение неразменной валюты также может влиять на ее курс, как может помочь больному лихорадочной пуд хинина, который заперт в соседней комнате. С другой стороны, не надо забывать и того, что план кредитной эмиссии утверждается государством или должен утверждаться государством, как и все другие планы. Но с точки зрения дисциплинирующего влияния на размере эмиссии воздействие золотого обеспечения было весьма минимальным, а вернее сказать, что совсем не было. Однако одно время наш Наркомфин был очень озабочен

поддержанием курса нашего червонца на золоте на черной бирже. Так как растущий разрыв между покупательной способностью червонца и золотой десяткой вытекал из глубоких общехозяйственных причин и по существу не представлял из себя особенно тревожного явления, Наркомфин все-таки относился к этому с крайней нервностью и временами выбрасывал миллионы рублей золотом на вольную биржу, чтобы приблизить курс червонца к золотой десятке, или, если хотите, опустить десятку до червонца. С точки зрения общеэкономической, эта операция, дорого нам стоившая, была совершенно бесцельна. На одном совещании того времени я употребил в связи с этим такое сравнение: «Представьте себе человека, у которого холодно в комнате, и который, чтобы согреться, не топит печь дровами, а подогревает свечкой термометр, который показывает температуру». Так же было и у нас с опытом Наркомфина на черной бирже, с той только разницей, что подогревание это нам обошлось во многие миллионы золотых рублей, бесследно исчезнувших потом с нашего горизонта. Я привожу этот пример не для выяснения вопроса о том, кто был прав в предыдущих спорах на эту тему,—все это уже быльем поросло,—а как яркий образчик того, в какой сильной степени мистифицировало нас внешнее сходство наших денег с буржуазными и как эта мистификация влияла порой на нашу реальную валютную политику.

Второй частью нашего денежного обращения является наша казначейская валюта. С самого начала эта казначейская валюта была унифицирована с нашей червонной валютой, т.-е., выражаясь в обычных терминах, сфера обращения нашей бумажно-денежной валюты и нашей неразменной банкноты не была разграничена. Когда мы проводили денежную реформу, я лично стоял за разграничение временно этих сфер обращения, опасаясь, что, вследствие чрезмерных эмиссий на покрытие дефицита путем расширения выпусков казначейских денег, мы потащимся вниз и обесценим и нашу червонную валюту, устойчивость которой особенно важно было сохранить для эффективности кредитной эмиссии. Я должен был вскоре признать, что мои опасения оказались не основательными. Если подходить к вопросу с экономической точки зрения, а не с формальной, то эта разграниченность сфер банкнотного и казначейского обращения в известной степени сглаживает разницу между тем и другим, что при стабилизации бюджета и при плановости кредитной эмиссии, вообще говоря, имеет серьезное положительное значение. Впрочем, и по ряду других причин наш червонец лишь условно может быть назван неразменной банкнотой.

Третьим видом наших денег были серебряные деньги в рублях и полтинниках, так называемое, банковое серебро. Выпуск серебряных монет имел для нас известное финансовое значение в целях реализации тех запасов серебра, которые лежали у нас втуне и которые путем перечеканки их в монету могли быть использованы для нашего хозяйства. В настоящий момент это банковое серебро совершенно исчезло из обращения, что вполне естественно, если вспомнить разницу между покупательной способностью наших бумажных денег и рыночной ценой серебра, а также размер контрабандной торговли на наших персидской и манчжурской границах. Но этот выпуск серебра также создавал иллюзию, что мы идем по пути возвращения к металлическому обращению. Эта иллюзия подкреплялась и таким курьезом, как перечеканка Наркомфином некоторого количества нашего золота в золотые червонцы, которых, правда, мало кто видел в глаза, кроме сотрудников нашего Наркомфина. Наконец, мы имеем разменную монету, которая не имеет интереса для характеристики наших денег.

Теперь мы перейдем к следующему, очень важному обстоятельству, которое также имеет существеннейшее значение для понимания природы наших советских денег. Я имею в виду область интервалютных отношений.

В каждом номере экономических газет читатель может найти курс различных валют и убедиться в незыблемой твердости червонца на протяжении ряда лет. Каждый грамотный экономист прекрасно знает, что эта незыблемость особого рода. Дело идет здесь об официальном курсе червонца, а не о вольном курсе червонца, какового курса вообще не существует и не может существовать, поскольку у нас существует монополия внешней торговли, плановый экспорт и импорт и наш червонец не котируется на заграничных валютных биржах на таких же основаниях, на каких там котируются валюты всех других стран.

Правда, могут сказать, что у нас сначала существовала открытая валютная биржа, где курс червонца испытывал огромные колебания. Могут сказать, что еще теперь существует нелегальная котировка червонца и его нелегальный курс, раза в два-три отклоняющийся вниз от курса официального. Однако, ни курс червонца, блаженной памяти, черной биржи, ни нелегальный курс червонца в небольшой сфере внутренних интервалютных отношений мы не можем принимать во внимание. Мы не можем принимать во внимание этот курс по той простой причине, что основная сфера наших товарных отношений с мировым хозяйством идет по линии государственного экспорта и импорта и что только незначительная часть товарооборота в страну и из страны идет путем контрабанды. Поскольку государство держит в своих руках ключ от той основной двери, через которую идут к нему товарные ценности из мирового хозяйства и уходят наши товарные ценности в сферу мирового хозяйства, постольку определяющее и решающее значение имеет курс на этом основном участке соприкосновения нашей экономики с мировым хозяйством. А здесь, как я уже сказал, курс нашего червонца остается незыблемым.

Но это означает, что в решающей части нашего товарооборота с внешним миром червонец фигурирует на основании специфических законов нашего планового хозяйства. Это значит, следовательно, что мы устанавливаем курс нашего червонца вполне сознательно, исходя из целесообразности и не считаясь с реальной покупательной способностью червонца во внешнем мире, которая вообще не может быть измерена практически и в массовом масштабе обычным рыночным путем, пока существует монополия внешней торговли. Правда, у нас существовал период, когда и официальный курс червонца колебался, в частности, когда, например, английские фунты котировались в нашем расчете ниже паритета фунта стерлингов на золотой рубль. Это было в тот период, когда специфическая природа нашей валюты недостаточно еще была ясна даже некоторым руководителям нашего финансового ведомства. Это было в тот период, когда наша бумажная валюта—да еще в условиях временного излишка инвалюты—принимала внешнюю окраску бумажных денег капиталистических стран и эта внешняя имитация сбивала с толку кое-кого и в области практической валютной политики.

В этом чрезвычайно важном пункте наши интервалютные отношения носят специфический характер. Нам будет это особенно отчетливо видно, если мы рассмотрим, как вообще поддерживается паритет валюты, имеющий золотой размен, либо тот или иной паритет валюты в том случае, когда в капиталистических странах господствует бумажная валюта и размен оказывается прекращен. При золотом размене, в случае неблагоприятного платежного баланса, вызывающего усиление спроса на иностранную твердую валюту, курс каждой валюты колеблется в пределах так называемых золотых точек. Если курс валюты имеет тенденции спуститься ниже золотых точек, то это делает целесообразным для государства данной страны или ее центрального банка, кроме обычных мер девизной политики, прибегнуть к вывозу золота в другие страны и таким образом выравнять платежи за грани-

цей и добиться удержания валюты в пределах паритета. Такой вывоз золота и определенная девизная политика центральных банков ничего не меняет в самом характере той или другой валюты, поскольку она основана на золоте, как на мировых деньгах.

Если мы возьмем капиталистические страны, не имеющие золотого размена, либо прекратившие такой размен на длительный срок, как это имеет место в настоящее время в ряде стран, как Германия, Франция и т. д., то здесь мерилом ценности также продолжает оставаться в конечном счете золото, однако, существенно меняется весь механизм, посредством которого осуществляется связь бумажной валюты данной страны с мировыми деньгами. Так как в настоящий момент не только Америка, доллары которой не порывали своей связи с золотым основанием на протяжении всей войны, но также Англия, Швеция и несколько других стран перешли к золотому размену, то в мировом хозяйстве мы имеем, следовательно, ряд пунктов, где банкнотное обращение непосредственно связано с золотом. Благодаря этому бумажная валюта тех капиталистических стран, которые не имеют размена, постоянно проверяются на их отношении к золоту на основе их соприкосновения с валютами стран, имеющих золотой размен. Вследствие этого такие страны, как, например, Германия, Франция и т. д., которые не имеют своей собственной золотой промышленности, наличное золото которых заперто в подвалах центральных банков или тезаврировано населением и бумажная валюта которых не вступает в соприкосновение с сферой производства золота, имеют возможность однако вступать в соприкосновение с мировым золотом не прямым, а косвенным путем. Таким образом, и при существовании бумажной валюты в капиталистических странах, связанных с мировым хозяйством, золото продолжает быть мерилом ценности.

Здесь необходимо только добавить, что когда эти валюты превращаются в падающие валюты, то внутренние золотые цены этих стран с падающей валютой отрываются от золотых цен стран с твердой валютой в сторону понижения, что экономически означает лишь, что в условиях инфляции рабочий класс не получает средней обычной в данной стране зарплаты и промышленность, вследствие дезорганизации калькуляции, проедает свой основной капитал. Благодаря этому продукция данной страны оказывается дешевле на мировом рынке аналогичной продукции стран с твердой валютой. Это обстоятельство имеет очень существенное значение для понимания многих явлений, которые наблюдаются в капиталистических странах с падающей валютой, но оно нисколько не колеблет того положения, что при капиталистической системе золото продолжает оставаться мерилом ценности и при отсутствии золотого размена.

Правда, еще до войны среди социал-демократов было течение, представленное Гильфердингом и Варгой, которое защищало ту точку зрения, что, поскольку вся продукция золотой промышленности без ограничения покупается центральными банками по монетной цене золота, золото благодаря этому перестало быть мерилом ценности. Я не останавливаюсь здесь подробно на этой совершенно неверной и немарксистской теории, считая, что несостоятельность ее была достаточно доказана. Я не касаюсь здесь и очень сложного вопроса о том, каким образом индекс золотых цен мирового хозяйства приспособляется к стоимости золота в том случае, когда эта стоимость уменьшается вследствие уменьшения себестоимости золота на золотых предприятиях [1]). Я оставляю также в стороне очень интересный вопрос из истории золотого обращения, вопрос о том, насколько медленно и постепенно само золото превращалось в более или менее надежный измеритель ценности в хоз-

[1]) См. об этом мою статью «Изменение стоимости золота и товарные цены» в № 1—2 «Проблем Экономики» за этот год.

развития товарного хозяйства. Во всяком случае надо считать бесспорным, что при развертывании капиталистических отношений, при господстве стихии рынка система золотого обращения остается и продолжает оставаться все время необходимейшим звеном во всей цепи стоимостного регулирования вообще. Сторонники марксистской теории денег все время продолжали упорную борьбу со всеми теми буржуазными теориями денег, которые пытались отрицать внутреннюю ценность металлических денег, либо важность субстанциональной стоимости денег для валютного равновесия капиталистических стран. Все эти вульгарные теории денег и денежного обращения представляли в себя образцы вульгарной буржуазной политической экономии, распространенной на сферу денежного обращения. Марксисты должны были доказывать недомыслие всех этих теоретиков буржуазной экономии, которые не понимали сущности того самого общества, идеологами которого они пытались быть и понимание внутренних законов которого им осталось недоступным.

Наоборот, когда мы переходим к советской системе и пытаемся понять экономическую природу советских денег, то задача марксистов заключается здесь не в том, чтобы переносить некритически законы денежного обращения капитализма на наши внутренние отношения, а в том, чтобы понять все своеобразие нашей экономической системы, все своеобразие наших денег и все своеобразие закономерностей нашего денежного обращения. Это особенно ярко сказывается в том вопросе, который мы рассматриваем в данном случае, т. е. в вопросе об интервалютарных отношениях червонца. Наш червонный рубль теоретически и номинально является золотым рублем, но это отнюдь не значит, что здесь отношение между червонцем и тем 7,74234 грамм золота, с которыми он связан номинально, складывается так же, как и в тех странах, где золотой номинал банкноты связывается с золотым основанием либо путем размена, либо путем рыночно устанавливаемой пропорции между бумажной валютой данной страны и мировым золотом.

Здесь мы подошли, следовательно, к очень важному вопросу, к вопросу о том, в каких отношениях наш червонец и его покупательная способность, наш червонец и его курс находится к стоимости золота. Уже в период военного коммунизма, когда мы были отрезаны от всего мира, покупательная способность нашего золота падала гораздо ниже по сравнению со странами с максимально падающей валютой. Уже тогда золото выбыло у нас из строя как мерило ценности, оно превратилось лишь в один из товаров, и мерилом ценности в гораздо большей степени явились отдельные наиболее необходимые для массового потребления товары, как, напр., хлеб, соль и т. д. Тогда все это казалось лишь следствием временного распада нашей денежной системы. Эта иллюзия еще больше возросла, когда мы стабилизовали нашу валюту и временами даже вольная биржа удостаивала выдавать нашему червонцу паспорт на паритет с его официальным золотым основанием.

Однако в дальнейшем, когда валютная биржа была уничтожена и когда вследствие систематического недостатка в твердой иностранной валюте, который испытывало наше государство, вольная котировка официального курса червонца резко оторвалась от его котировки на нелегальной валютной бирже и в контрабандной торговле, мы переживаем такое состояние с полным спокойствием и совсем не чувствуем этих мелких булавочных уколов, которые идут к нам из этой сферы соприкосновения с частным хозяйством. Мы продолжаем сохранять это спокойствие по той простой причине, что мы *планово командуем над всей основной сферой нашего внешнего торгового оборота и курс нашего червонца играет существенную роль лишь в сфере расчетов государства с теми его предприятиями и организациями, которые ра-*

ботают на экспорт. Если, допустим, наш Северолес в свое время не мог свести концы с концами при той расценке червонца, которая существовала, напр., в 1924—1925 гг., то государство просто покрывало убытки этого треста из собственных рессурсов, всячески стимулируя экспорт лесных продуктов, убыточный при данных интервалютных отношениях для Северолеса, но чрезвычайно выгодный для всей системы государственного хозяйства в целом.

И, наоборот, если государство давало лицензии Центросоюзу и Внешторгу на ввоз определенного количества продуктов потребления или даже средств производства, которые гораздо выше расценивались на нашем внутреннем рынке, то от государства опять-таки зависело срезать здесь в свою пользу ту разницу, которая в капиталистической стране оэначала бы выгодность импорта в сравнении с экспортом при падающей валюте, выгодность в условиях международного торгового оборота, лишь корректируемого таможенной системой.

Правда, одно время некоторые товарищи беспокоились по поводу столь большого разрыва между реальной покупательной способностью червонца на внутреннем рынке и реальной ценностью на внутреннем рынке той иностранной продукции, которая ввозилась при искусственной поддержке паритета червонца с твердой иностранной валютой. Они беспокоились также по поводу невыгодности экспорта в таких условиях. Делались даже предложения резко снизить наш червонец в его отношении к золоту и к инвалютам и таким образом приблизиться к реальному соотношению покупательной способности наших денег и денег капиталистических стран. Руководящие органы не пошли на это и поступили вполне правильно и принципиально и практически. Все эти предложения доказывали еще и еще раз, как вредили нам аналогии с капиталистическими странами и как грубо просматривали мы за внешним сходством денег и их функций у нас и за границей коренную принципиальную разницу между советскими деньгами и деньгами капиталистических стран. Если бы мы приняли, допустим, эти предложения о приближении номинала червонца к его золотому основанию, то тогда экспортирующие организации, в обмен на вырученную за границей валюту, автоматически должны были получить вдвое больше в наших червонцах, но было бы нелепо, если бы государство оставило в их руках средства, превышающие средний уровень снабжения этих организаций кредитными ресурсами на расширение оборотного капитала и среднего уровня тех капиталовложений, которые по общему хозяйственному плану намечалось вложить в эти отрасли производства.

С другой стороны, если бы вследствие вышеописанной реформы с червонцем Внешторг и импортирующие организации должны были бы ввозить предметы потребления и средства производства, которые при их продаже на червонную валюту внутри страны терпели бы систематически убытки, то было бы нелепо, если бы государство на основании общего перераспределения средств не покрывало бы дефицита этих организаций, если только весь этот импорт был настоятельно необходим для нашего внутреннего потребительного и производственного спроса. Иными словами, если при теперешних интервалютарных отношениях государству приходится приплачивать экспортирующим организациям за счет выгод от импорта, то после проведения этой «реформы» с червонцем ему пришлось бы срезать излишки экспортирующих организаций и перераспределять их в пользу импортирующих. Никакой существенной экономической разницы здесь бы не получилось, а создалась бы лишь путаница, которая временно внесла бы туман во все расчеты и принесла бы лишь один вред.

Наоборот, весь этот вопрос для импортеров и экспортеров капиталистических стран имеет серьезнейшее значение. Разница между условиями ра-

боты экспортеров и импортеров была бы колоссальной в аналогичных условиях. В капиталистических странах не существует монополии внешней торговли, не существует государственного хозяйства, и вопрос о соотношении цен внутри и вне страны имеет здесь важное значение не только для динамики экспорта и импорта, но имеет очень существенное значение с точки зрения распределения прибылей или убытков между отдельными группами буржуазного класса.

Однако продолжим наше исследование в вопросе о связи покупательной способности червонца и стоимости золота. Прежде всего здесь приходится поставить вопрос, в каких пунктах может вообще происходить у нас соприкосновение червонца с золотом. Разумеется, с самого же начала мы должны устранить из сферы наших рассуждений то «соприкосновение» червонца с его золотым обеспечением, которое напоминает, как мы уже сказали, соприкосновение больного лихорадкой с тем хинином, который он не может принять внутрь.

Может быть, существенное значение имеет соприкосновение червонца со сферой производства золота на наших золотых приисках, поскольку мы являемся золотодобывающей страной?

Это соприкосновение, несомненно, имеется и заключается в том, что золотодобывающие организации сдают государству все новое золото и получают от него соответствующее количество червонцев по курсу для продолжения производства. Здесь может быть, вообще говоря, три случая: когда расценка вновь добываемого золота в червонцах по официальному курсу соответствует себестоимости производства, когда эта расценка выше себестоимости или когда она ниже себестоимости. При том падении покупательной способности червонца в сравнении с довоенным золотым рублем, которую мы имеем в настоящее время и имели на протяжении всего периода существования червонной валюты, хотя и в разных степенях (считая, разумеется, в товарном индексе), первый случай не имеет реального значения. В случае, если имеется второй вариант, а именно отношение равновесия, то совершенно очевидно, что это равновесие поддерживается не благодаря влиянию себестоимости золота на курс червонца, а вследствие других причин и других факторов, гораздо более мощного характера. Если же мы имеем случай, когда себестоимость производства золота выше расценки всей валовой продукции золотой промышленности в червонных рублях, то в этом случае в буржуазных условиях золотая промышленность должна была бы прекратить свое существование, а в наших условиях мы имеем лишь тот самый пример, который мы уже разбирали по отношению Северолеса. Добывающееся у нас золото играет для нашего государственного хозяйства совершенно такую же роль, какую играет получение твердой иностранной валюты путем экспорта Нефтесиндиката, Северолеса или других экспортирующих организаций. Если расценка золота в червонцах по номиналу не дает возможности нашей золотой промышленности свести концы с концами, то государство естественно приходит на помощь на этом очень важном участке производства—очень важном, разумеется, с точки зрения нашей связи с мировым хозяйством,—покрывает убытки путем субсидий, а новые вложения в золотую промышленность делает не на основе накопления в этой промышленности, которое в таких условиях вообще не может иметь место, а путем добавочных вложений средств в эту отрасль из общих рессурсов, т.-е. на основе планового перераспределения капитальных фондов между отдельными отраслями промышленности.

Остается еще один пункт, где наш червонец находится в некотором соприкосновении с золотом, но уже не на основе планового регулирования, а на основе рыночных отношений. Это есть область контрабандной горговли и спекуляции теми остатками золотых десяток, которые еще не уплыли с тер-

ритории Союза за границу. Но достаточно сопоставить товарооборот в этой сфере со всей суммой нашего товарооборота с внешним миром, чтобы убедиться, что давление частного рынка с этого конца не может иметь никакого существенного влияния на общие основы нашей валютной политики. Наблюдающиеся в этой сфере явления мы просто расцениваем, как один из второстепенных кон'юнктурных показателей, как один из симптомов, но во всяком случае как симптом, имеющий для нас несравненно меньшее значение, чем научно организованные наблюдения наших плановых органов над всей областью нашего внутреннего рынка и денежного обращения.

Таким образом мы приходим к выводу, что связь нашей валюты с золотом, как мировыми деньгами, является в значительной мере, если не сказать в основном, уже порванной; путем организации государственного хозяйства и благодаря монополии внешней торговли мы контролируем тот проход, через который в нормальных условиях товарного хозяйства пробиваются наружу все законы стоимостного регулирования мирового хозяйства. Этим самым мы приходим к выводу, что в условиях даже очень широкого товарно-денежного обращения, которое существует в период нэпа, и природа наших денег иная, чем при капитализме, и законы нашего денежного обращения складываются совсем иначе, чем в капиталистических странах.

Мы убедимся в том же самом, если рассмотрим систематически другие функции наших денег в условиях нэпа.

Обратимся к функциям денег как средству обращения. Эту функцию мы рассмотрим на ряде участков денежного обращения.

Возьмем прежде всего тот участок, где государственное хозяйство, с одной стороны, выдает своим рабочим и служащим зарплату в денежной форме, а, с другой стороны, само же покрывает отчасти спрос, вытекающий из этой зарплаты, продуктами собственного производства. Совершенно очевидно, что здесь обращение денег является совершенно специфическим, вернее сказать, что деньги не делают здесь обращение в полном смысле этого слова, как понимал этот термин Маркс. Здесь та часть зарплаты, которую государство выдает в деньгах и само же покрывает продуктами государственного производства через систему кооперации и госторговли, эта часть денег по своей внутренней природе приближается к талонам единого замкнутого хозяйственного организма.

Что выделение этой сферы денег, как средства обращения, не является простым абстрактным расчленением действительности чисто-механическим путем, видно будет из дальнейшей эволюции наших советских денег. Совершенно очевидно, что плановая политика денежной эмиссии, поскольку она рассчитана на увеличение той части денежного обращения, которое задерживается на руках рабочих и служащих до реализации, эта часть денег должна быть приспособлена к быстрому обращению денег на этом участке. С другой стороны, та часть зарплаты, которая покрывается таким образом, должна всегда корреспондировать определенному материальному об'ему той государственной продукции, которая предназначается для государственного же потребления. Иными словами, спрос рабочих и служащих должен здесь регулироваться определенным уровнем зарплаты, а уровень зарплаты должен приспособляться к размерам материальной продукции, идущей здесь на распределение.

Правда, на протяжении нэпа государственные плановые органы лишь весьма приблизительно могли учитывать размеры своего внутреннего спроса, точное соотношение никогда невозможно здесь было уловить по той простой причине, что советские деньги имели и имеют еще и другую сферу обращения, т.-е. сферу обращения в том пункте, где государственное хозяйство соприкасается с частным. Здесь был постоянный перелив из одной сферы в

другую, и его очень трудно было контролировать. Достаточно привести здесь пару конкретных примеров. Если государственное снабжение рабочих и служащих продуктами кожевенной промышленности, напр., обувью, не покрывалось государственным же предложением этих товаров, то соответствующая часть зарплаты рабочих и служащих отливала в сферу потребительского спроса на продукты частной кустарной кожевенной промышленности. То же можно сказать в отношении целого ряда других производств, где и государственное и частное хозяйство имели и имеют одинаковые об'екты производства.

Второй сферой обращения денег в области потребительского спроса является вся область частного хозяйства. Эта область делится на две части. С одной стороны на ту сферу, где государство выбрасывает в частное хозяйство определенную часть своей продукции и взамен ее получает продукцию частного сектора. Это тот участок, где по линии производства и распределения средств потребления государственное хозяйство находится в сфере постоянной экономической связи с частным производством. Здесь экономическая природа наших средств обращения была и остается, разумеется, другой. Здесь перед нами не внутреннее обращение в сфере государственного хозяйства, а обращение наших денег на рыночной основе. Совершенно очевидно, что, в зависимости от общей тенденции нашего общего экономического развития, здесь деньги либо должны были закрепляться на своих обычных функциях средств обращения товарного хозяйства, либо сама сфера обращения должна сжиматься за счет расширения первой сферы, о которой только что была речь, при неизбежном изменении самой природы рынка, понятия «цены» и т. д. Здесь, следовательно, была возможность не столько внутренней трансформации денег, сколько, так сказать, их территориального рассечения по двум водоразделам внутри хозяйства и сжатия одной сферы за счет другой. Трансформация денег наступает здесь позже (если не считать твердых и плановых цен и пр.), она наступает вместе с трансформацией частного крестьянского хозяйства в коллективное.

Наконец, третьей сферой обращения денег на потребительском рынке является их обращение внутри самого частного хозяйства. Здесь имеется в виду, разумеется, прежде всего внутрикрестьянский денежный обмен, а затем обмен крестьянства с некооперированным сектором кустарной промышленности. В этой сфере мог лишь сокращаться или расширяться общий об'ем этого обращения, но сами деньги не могли подвергаться внутренней трансформации, пока не начала трансформироваться сама экономическая основа этого участка частного хозяйства, т. е. пока, напр., отдельные товаропроизводители деревни не стали в массовом масштабе кооперироваться в колхозы, кустари не стали вступать в ту производственную кооперацию, которая не выносит свою продукцию на вольный рынок, а целиком сдает ее государственным регулирующим органам. Как здесь развертывалась динамика всего этого процесса и как обстоит дело на теперешней стадии развития советского хозяйства, об этом мы скажем ниже.

Теперь мы рассмотрим еще сферу обращения денег в области производства и распределения средств производства. Если мы возьмем, напр., ту часть нашей крупной государственной промышленности, которая изготовляет продукцию для самой же крупной государственной промышленности и от самой же крупной государственной промышленности получает все средства производства, как машины, металл, уголь и т. д., то на этом участке своей сферы обращения деньги максимально приближались к функциям ордеров Комиссии использования военного коммунизма. Когда у нас еще продолжало существовать единство рынка, понимая под ним прежде всего более или менее приблизительное единство цен и в государственном и частном секторе, то этот характер денег на этом участке был максимально затемнен

товарно-рыночной внешностью всех отношений. Напр., заводы Гомзы рассчитывались за металл Югостали деньгами, расплачивались с НКПС за перевозки деньгами, получали за свои паровозы от НКПС деньги. Они во всяком случае вели все свои расчеты деньгами и во всяком случае покрывали сальдо деньгами, если оно не представляло из себя тот убыток, который покрывался из бюджета или путем каких-либо пересчетов. Но эта внешняя форма не могла скрыть для всякого грамотного экономиста своего внутреннего содержания. Содержание же заключалось в следующем: производственная программа Гомзы и производственная программа Югостали и распределение продукции этих организаций определялись соответствующими распоряжениями регулирующих органов, вследствие чего все денежные отношения в этой сфере государственного хозяйства носили чисто-счетный характер, носили условный счетный характер, если не говорить о фонде зарплаты, о которой была уже выше речь.

Здесь мы привели только наиболее яркие примеры из той сферы обращения денег, где они в максимальной степени изменили свой характер в условиях государственного планового хозяйства. Мы могли бы рассмотреть последовательно ряд других второстепенных участков и установить, в какой степени денежное обращение на них оказывалось в связи с денежным обращением частного хозяйства. Совершенно очевидно, что и вся наша система кредита носила в этой сфере специфический характер, поскольку вновь выпускаемые червонцы, предназначенные для крупной промышленности, изготовляющей средства производства для государственного же хозяйства (и это опять-таки за исключением фонда зарплаты) представляли из себя лишь определенный фонд перераспределения средств производства, лишь внешне напоминающего кредитование из источников банкнотной эмиссии при капиталистической системе.

Формально одинаковый характер, но другой характер по существу дела носило обращение наших денег там, где государство снабжало частный сектор средствами производства, напр. сельскохозяйственными машинами и т. д., и получало от него в свою очередь также средства производства, как, напр., хлопок, лен, кожу и т. п. Точно так же, как иной характер носили деньги по своему экономическому существу там, где государственное хозяйство закупало товарную продукцию деревни в области средств потребления и в свою очередь снабжало деревню средствами потребления государственного производства, как сахар, соль, мануфактуру, керосин и пр., о чем мы уже говорили выше. В этой области деньги отнюдь не носили того преимущественно счетного характера, как внутри государственной промышленности, имеющей связь лишь с государственной промышленностью. Здесь имеется товарное обращение и по существу, хотя это товарное обращение в свою очередь отличается от товарного обращения любой капиталистической страны тем, что наш внутренний рынок даже в моменты классического развертывания нэпа и его так сказать золотые дни был серьезнейшим образом деформирован как вследствие отсутствия непосредственной связи его с мировым рынком благодаря монополии внешней торговли, так и вследствие регулирующего и планового воздействия всей махины нашего государственного хозяйства, экономический вес которого увеличивался с огромной быстротой.

Однако трансформация наших денег в нечто новое началась значительно раньше, чем мы вступили в период массового производственного кооперирования деревни на основе колхозного об'единения. Вообще говоря, борьба государственного хозяйства с капиталистическими ростками нашей экономики никогда не прекращалось, но она изменила свои формы и свою остроту. Чем острее стала протекать эта борьба, тем все больше и больше создавались элементы для разрыва между этими сферами экономики даже в той

области, которая была наиболее ярким выражением формального единства и рыночной связи хозяйства, т.-е. в области денег и денежного обращения. Достаточно вспомнить два основных фактора. Во-первых, упорную борьбу государственного хозяйства и кооперации в области распределения. Чрезвычайно мимолетным был тот период, когда частный сектор торговал в некоторых случаях дешевле, чем кооперация. По мере того как кооперация совершенствовала всю свою систему, уменьшала издержки обращения и неуклонно расширяла поле своей деятельности, а с другой стороны частный сектор подвергался атаке как со стороны наших налоговых органов, так и со стороны трестов, ограничивавших или совсем прекративших отпуск частникам своей продукции, у нас все больше и больше намечался и обострялся разрыв внутри самого рынка. Один и тот же червонец имел разную покупательную способность внутри государственного кооперативного сектора и внутри сферы частного торгового обращения. Этот разрыв цен представлял совершенно специфическое явление, незнакомое, разумеется, никакой капиталистической стране, кроме периодов Zwangwirtschaft, о которых буржуа всегда вспоминал потом лишь с содроганием. Тем самым происходило раздвоение и внутри нашего формально-единого денежного обращения. С другой же стороны ожесточенная борьба велась между государственным сектором и частным капиталом и его агентами в области заготовок хлеба и сырья. Государство все время исходило из таких заготовительных цен, которые обеспечивали максимально выгодные условия, сначала для восстановления, а затем для реконструкции государственного хозяйства. Особенно ожесточенной была борьба в области заготовки сырья, где известные виды сырья перерабатывались в самом же частном хозяйстве, напр., в области кожевенной промышленности. В этой борьбе государство соединяло свою экономическую мощь с политической в едином действии, предоставляя теоретикам различать потом, что в этом действии являлось экономическим, а что внеэкономическим фактором. Здесь была ожесточенная борьба, а не единство на основе рынка. Во всяком случае, если это и было единство противоположностей, то такое, где противоположность слишком усердно поглощала единство, если позволено выражаться столь механически о диалектических вещах. Чем больше развертывалась эта борьба, чем больше она оказывалась победоносной для государственного хозяйства, тем все более и более сужималась сфера частно-капиталистических отношений и тем больше усиливался здесь разрыв цен. Несколько позже обострились здесь противоречия в сфере взаимоотношений и борьбы государственного хозяйства с той частью сельскохозяйственной экономики, которая переросла или перерастала в первично капиталистическую форму, т.-е. в кулацкое хозяйство.

Если мы рассмотрим функции советских денег как средство платежа, то здесь мы должны констатировать следующее. С переходом от разверстки к налогу и с превращением всех натуральных налогов в денежные, эта функция наших денег сильно расширилась по об'ему своего действия. Характер же этой функции находился, разумеется, в тесной зависимости от общей эволюции всего хозяйства и от взаимоотношений между государственным хозяйством и частным. То раздвоение в природе наших денег, о котором мы говорили выше, находило свое выражение и здесь. Совершенно очевидно, что, если, допустим, кулацкое хозяйство продавало излишки своего хлеба на вольном рынке в пять раз выше заготовительных цен, то этот разрыв переносился и на деньги, как средство платежа. Одна и та же ставка налогового обложения, допустим сто рублей, носила экономически совсем иной характер в том случае, когда этим ста рублям в области товарной соответствовали сто пудов хлеба, проданных государству по заготовительным ценам, или 20 пудов, проданных по ценам в пять раз большим на вольном рынке. Но в данном случае мы имели перед собой чисто-механическое количественное

перенесение вольно-рыночных пропорций обмена на удельный вес денег, как средства платежа. Эта сторона дела является поэтому мало интересной. Гораздо интереснее другая сторона, которая связана вопросом о том, почему мы не могли иметь развития наших денег как средства платежа в форме банкнотного обращения капиталистического типа.

Банкнота является видом кредитных денег. Ее экономической основой является незавершенная товарная сделка, где время продажи и поступление товаров из одних рук в другие отрывается от времени уплаты, вследствие чего банкнотное обращение на ряду со всей системой кредита делается орудием для мобилизации всех платежных средств и всего общественного капитала капиталистического хозяйства для целей производства и обращения. Здесь мы подходим к вопросу о сущности нашего кредита и наших кредитных эмиссий. Если мы возьмем период с момента восстановления у нас твердой валюты до 1929 г., то все наше обращение возросло по реальной стоимости в товарном индексе с 202,3 в апреле 1924 г. до 970 млн. в январе 1929 г., а по номиналу червонное обращение (без казначейской валюты) возросло с 346,5 млн. на 1 октября 1924 г. до 1.090 млн. на 1 января 1929 г. Спрашивается, что лежало в основе этого расширения червонного обращения, если не говорить о той стороне дела, что червонное обращение не было размежевано у нас с сферой обращения казначейских денег, а потому и казначейская эмиссия могла носить иногда кредитный характер и кредитная эмиссия могла носить характер казначейской и даже бюджетной?

Для ответа на поставленный вопрос имеет важное значение то, каким образом у нас устанавливается связь между вновь появляющейся продукцией на основе расширенного воспроизводства во всех секторах и между размером денежного обращения вообще. С этим вопросом тесно связан и интересующий нас вопрос о том, каким образом именно через аппарат червонной эмиссии мы производим мобилизацию этих новых рессурсов внутри государственного хозяйства и их распределение между различными сферами производства и чем эта эмиссия отличается от банкнотной эмиссии капиталистических стран.

По самой структуре нашей валюты предполагается, что увеличение потребности в деньгах во всей сфере потребительского оборота обслуживается казначейскими эмиссиями. Здесь дело обстоит просто. Если весь потребительский денежный товарооборот, будь то оборот внутри государственного круга, на стыке государственного круга с частным или внутри самого частного, равен, допустим, 20 миллиардам рублей при средней быстроте оборота денег 20 раз в год, то миллиард рублей казначейской эмиссии удовлетворит потребностям обращения. Если оборот возрастет, допустим, до 30 миллиардов, то при всех прочих равных условиях это потребует увеличения денег на новые пятьсот миллионов. Увеличение казначейской эмиссии на эту сумму будет соответствовать потребности обращения, если только нарастание потребности в новых деньгах всего сектора потребительского спроса будет равномерным, что означает прежде всего сохранение той же быстроты оборота денег в целом. Мы пока оставляем в стороне вопрос о том, какое влияние на размеры обращения оказывало само перерождение денег в расчетные талоны государства в сфере распределительного процесса внутри самого государственного круга. Мы увидим также ниже, какое важное значение для правильной политики денежного обращения имеет понимание того внутреннего к а ч е с т в е н н о г о изменения природы наших денег, которое начало происходить во второй период нэпа, т.-е. в период быстрого вытеснения частного хозяйства государственным.

Более интересен вопрос о том, какое отражение получал процесс расширенного воспроизводства в сфере червонного обращения, т.-е. обращения, которое с самого начала предназначалось для мобилизации и распределения

новых фондов производства и новых средств потребления для рабочих, вновь втягиваемых в производственный процесс.

Посмотрим сначала, как функционирует в аналогичном случае, т.-е. при разрешении воспроизводства, банкнотное обращение капиталистических стран в эпоху классического капитализма.

Когда совокупный капиталистический класс берет с рынка средства производства и покупает рабочую силу на свой совокупный фонд Д и через увеличение процесса воспроизводства, получив Т + т, подходит к реализации не только Т, которое уже имело в начале процесса денежную форму и которое обеспечено соответствующими размерами прежнего банкнотного обращения, но и к реализации т, здесь-то и возникает весь интересующий нас вопрос. Малое т — это новая ценность, созданная трудом в течение года, полгода, месяца. Для упрощения допустим, что это есть новые ценности, созданные в течение одного квартала (хотя, напр., пароход строится год, а булка выпекается в один день). Как это т может превращаться в д?

Допустим, все наши предприниматели продают свою продукцию купцам, но не могут от них получить полностью по своим запродажам необходимую сумму в деньгах. Здесь на сцену выступает вексельный оборот и оборот выпущенных банками банкнот сверх обычной средней их циркуляции, поскольку проблема реализации новой ценности встречает препятствие в узких пределах существующего денежного обращения, которое соответствовало другому уровню производства. Я здесь беру, разумеется, экономический смысл расширения банкнотного обращения, а не все те банковские операции, которые могут иметь место в рассматриваемом случае. Дело не надо понимать упрощенно грубо, а именно таким образом, что банк выпускает новые банкноты на всю сумму вновь произведенных ценностей. Банкнотное обращение имеет также свою среднюю быстроту и одна банкнота обслуживает много операций. Дело идет, следовательно, о таком нарастании банкнотного обращения, которое должно обслужить нарастание новых ценностей, с учетом средней быстроты оборота банкнот. Вновь произведенные за один только квартал ценности могут быть много больше всего банкнотного обращения страны, взятого в целом.

Таким образом мы видим здесь, что новые банкноты появляются на сцене обычно пост-фактум, т.-е. после того, как на сцену появились новые товарные ценности. В этом заключается так сказать экономическое обеспечение новой банкнотной эмиссии. Но действительно банкнотное обращение, т. е. разменная на золото банкнота, имеет еще и другое обеспечение, каковым и является гарантия размена, обеспеченность этого размена во всякое время. Это 2-я перестраховка банкноты, требующая в условиях нормального покрытия также и нарастания золотого разменного фонда банков, связана с самой сущностью капиталистического хозяйства, как производства для рынка, а не для непосредственного потребления. Вновь произведенная товарная ценность еще не есть деньги для буржуазного общества, пока она не реализована на рынке. Эта ценность может оказаться частично излишней, а потому и все новые банкноты, появившиеся на свет в результате появления на свет этой новой ценности, могут оказаться необеспеченными, например, в период кризиса. Конечно, никакой золотой размен не спасает ни от кризиса, ни от его последствий для самого банкнотного обращения, но он представляет из себя тот исторически-возникший механизм, который автоматически, очень грубо и очень дико по форме вгоняет капиталистическое хозяйство в рамки реального платежеспособного спроса. Спрос на наличные в период кризиса есть тот фактор, который способствует сокращению производства и заставляет расплачиваться за излишества периода процветания и перепроизводства.

В чем здесь различие с нашим положением?

О первом различии мы уже говорили выше. Наш червонец является неразменным. Ему совершенно не нужно такой перестраховки по самой сущности нашего хозяйства. Но он существеннейшим образом отличается от неразменной банкноты капиталистического типа еще и потому, что появление на свет новых масс червонцев у нас не регулируется таким образом, и не может регулироваться таким образом, как это происходит в капиталистической экономике.

Здесь мы должны провести разграничение между двумя сферами червонного обращения и червонной кредитной эмиссии.

Пока частное хозяйство у нас находилось в периоде роста и в нем создавались новые ценности, которые могли служить для расширения производства и в нем самом и в государственном хозяйстве, тогда новые червонные эмиссии прощупывали как зондом новые производственные возможности в этой сфере и содействовали мобилизации этих новых рессурсов и для самого частного хозяйства, и для государственного хозяйства. Это прощупывание носило, конечно, в значительной мере чисто-экспериментальный характер. Новая эмиссия не шла вслед за созданием новых ценностей, а пыталась нащупать ее размеры на основе ряда экономических признаков. Проследить нарастание этих новых ценностей путем обычного банковского учета было тем более невозможно, что частное хозяйство почти совершенно не кредитовалось в наших банках. Но эта часть вопроса менее для нас интересна не потому, что сектор, о котором идет речь, вообще исчезнет с очень большой быстротой, а тем самым исчезают и все связанные с ним проблемы, а потому, что в области кредитной эмиссии не обнаруживает столь много принципиально нового, как кредитная эмиссия внутри государственного хозяйства. Гораздо интереснее для нас, поэтому, понять механизм нашей кредитной эмиссии внутри государственного круга.

Мы знаем приблизительно, как составляются наши кредитные планы. Нас интересует в данном случае опять-таки чисто-экономическое существо дела. Поскольку мы все время имеем плановое хозяйство—хотя разных ступеней развития в начале нэпа и теперь, при начале его конца,—постольку это своеобразие нашей кредитной эмиссии стало обнаруживаться очень давно. В двух словах весь этот процесс с экономической точки зрения представляется в следующем виде. Согласно наших производственных планов государственные предприятия должны увеличить свою выработку в определенном проценте. Это увеличение выработки для каждого из них означает: 1) увеличение затрат на рабочую силу; 2) увеличение затрат на новые добавочные средства производства; 3) для вновь строящихся предприятий это означает привлечение и новых средств производства, и новой рабочей силы. Все эти новые элементы производства, т.-е., если брать материальную сторону дела, новые машины, новое добавочное топливо, вспомогательные материалы, добавочные средства потребления для новой рабочей силы и т. д., все эти элементы отчасти либо уже созданы за предыдущий период, как, например, некоторые средства потребления, другие только еще должны быть созданы, если промышленность будет расширяться, так, как намечено по плану. При таких условиях задача новой червонной эмиссии заключается в том, чтобы не допустить закупорки всего этого процесса расширения воспроизводства со стороны денег. Все это расширенное воспроизводство должно быть обеспечено соответственным расширением «капитала» промышленных предприятий в денежной форме. Совершенно очевидно, что именно является здесь экономическим обеспечением новой червонной эмиссии. Экономическим обеспечением червонной эмиссии является наш хозяйственный план, правильная постройка этого плана и полное его выполнение. Никакого другого обеспечения для новой червонной эмиссии быть не может, хотя бы мы не

раз вышли за пределы эмиссионного права Госбанка, предусмотренного его уставом. Никакого серьезного экономического значения, разумеется, это обеспечение не имеет, и в этом пункте наш червонец просто только загримирован под буржуазную неразменную валюту в результате совокупности тех причин, которые побуждали нас к такой имитации в первые годы нэпа.

Совершенно очевидно, что должно получиться у нас, если наша червонная эмиссия расходится со своим экономическим основанием. Если эта эмиссия является суженной в сравнении с потребностями, то мы сами будем тем фактором, который создает закупорку во всех процессах расширенного воспроизводства. Но гораздо более интересен второй случай, когда это несоответствие получается вследствие чрезмерности новой червонной эмиссии. В этом последнем случае мы должны будем столкнуться с двумя явлениями, из которых одно будет возникать на стыке государственного хозяйства с частным, а другое — внутри самого государственного хозяйства.

Явления первого рода будут состоять в следующем. Излишняя кредитная эмиссия, поскольку она имеет в виду мобилизацию средств производства частного хозяйства, приведет к превышению платежеспособного государственного спроса в сравнении с тем, что может дать частное хозяйство. Мы будем иметь в этом случае рост цен в частном секторе, невозможность осуществить все намеченные государственные заготовки по установленным лимитным ценам, более острую конкуренцию частников при заготовках и, одним словом, всю сумму тех явлений, к которым мы достаточно привыкли за период нэпа в этой области нашего рынка. Если нам удается здесь задавить частника, ликвидировать конкуренцию между заготовителями и удержать на установленном уровне заготовительные цены, то мы будем иметь здесь недовыполнение плана заготовок и, следовательно, известная часть нашей производственной программы, лимитируемая со стороны сырья внутреннего производства, не будет полностью выполнена, а лишние червонцы в какой-то форме обратно вернутся в государственный круг.

Если эта добавочная червонная эмиссия, поскольку она должна будет обслуживать возрастающий спрос новой рабочей силы, точно так же приведет к превышению потребительского спроса рабочих на продукты потребления, которые они должны купить в сфере частного хозяйства непосредственно или через кооперацию, то здесь мы будем иметь, следовательно, дело с инфляцией, но с той специфической инфляцией, которая сталкивается со всей системой наших твердых цен и не в состоянии породить полностью все те явления, которые характеризуют инфляцию в условиях типичных рыночных отношений буржуазного хозяйства. При ограниченности средств потребления, которые вообще могут быть распределены среди рабочего класса, эта инфляция будет быстро взгонять цены на частном рынке, а с другой стороны будет сопровождаться нереализуемым накоплением части зарплаты, которая пойдет либо в денежное накопление, либо излишние деньги будут давить на спрос так называемых недефицитных товаров, вследствие чего чисто-искусственным путем будет раздуваться спрос на некоторые из этих товаров вне обычных пропорций.

Что же касается мобилизации средств производства внутри самого государственного круга в условиях непропорционального роста материального производства внутри этого круга, то здесь кредитная инфляция может привести к следующим последствиям. Денежные средства, которые поступили в распоряжение промышленных предприятий и должны быть затрачены на приобретение средств производства государственного же изготовления в той части, в какой эти средства являются излишними и не найдут для себя товарного покрытия, должны куда-то деться. Так как государственные предприятия обязаны держать свои средства на текущих счетах банков и их отделений, то невозможность реализовать на эти средства все необхо-

димые средства производства, приведет к возрастанию этих текущих счетов. Эти текущие счета должны, следовательно, возрасти на всю сумму излишне выпущенных червонцев. Когда еще существовал значительный городской частный рынок на некоторые средства производства и более емкий рынок деревни, то часть этих избыточных кредитных средств могла бы устремиться на этот частный рынок и там на них можно было бы что-то получить, хотя и по взвинченным ценам и с последующими судебными процессами для целого ряда наиболее «энергичных» хозяйственников. Когда же частный рынок средств производства стал все более и более уменьшаться, то избыточная червонная эмиссия должна была возвращаться туда же, откуда она вышла, т.-е. возвращаться в банковскую систему, но в форме текущих счетов. Я здесь не беру тот случай, когда промышленные предприятия стараются скрыть от банка, что им не удается реализовать полученных средств, когда они тащат некоторую их часть в сберегательные кассы, хотя и в данном случае возвращают государству же избыточные средства, но с другого конца. Мы не раз наблюдали случаи в сфере нашей банковской практики, когда в период наибольших жалоб нашей промышленности на недостаточное кредитование, текущие счета этих промышленных предприятий систематически возрастали, что доказывало лишь одно: государство дает промышленности в денежной форме больше того, что промышленность может реализовать в пределах имеющихся в наличности новых средств производства. Все происходящее здесь можно пояснить — mutatis mutandis — следующим примером. Допустим, в каком-нибудь государственном магазине покупатели получают талоны в кассе на определенный продукт, а затем этого продукта в магазине не оказывается или совсем или не оказывается в том количестве, в каком на него выданы талоны. Не получив продукта, покупатели возвращаются в кассу и возвращают туда взятые талоны. Так как наше государственное хозяйство чем дальше, тем больше делается замкнутым единым целым, то в форме излишней червонной эмиссии оно выдает талоны на еще не созданную продукцию. Государственные предприятия, получившие такие «талоны», возвращают их снова в банк в виде текущих счетов и получают на основе свободного распоряжения этими текущими счетами не сами средства производства, а право на получение этих средств производства, когда они выйдут из мастерской государственной промышленности.

Есть ли описанное нами явление кредитная инфляция?

Да, это кредитная инфляция, но совершенно особого рода. Поскольку все дело ограничивается лишь отношениями внутри государственного круга, эта кредитная инфляция не имеет тех опасных сторон, какие может иметь и имеет кредитная инфляция в буржуазных странах.

Так как в форме кредитной эмиссии выдаются в сущности свидетельства на новую продукцию государственного хозяйства и эта продукция продается по твердым ценам, то здесь инфляция не может иметь своего самого главного последствия на товарном рынке, т.-е. вздутия цен. Но тем самым она перестает быть инфляцией в обычном смысле этого слова. Эта инфляция не опасна, она просто бесполезна.

Так как такая экономически и финансово не опасная, но в лучшем случае бесполезная кредитная инфляция очень часто дает о себе знать нашим хозяйственным органам, то они неизбежно ищут какого-то выхода из этого положения. Прежде всего они добиваются, разумеется, не только определенных кредитов в денежной форме, но и принятия теми или другими государственными предприятиями твердых заказов, подтвержденных определенным постановлением государственным органов. Какая-либо вновь строящаяся электростанция не удовлетворяется полученными кредитами на приобретение

нужного оборудования, но и добивается получения ордеров на продукцию тех или других заводов и очередности в выполнении заказов.

А что все это означает?

А это означает лишь одно. Наша кредитная эмиссия представляет собой еще не вполне совершенное орудие планового распределения новых средств производства. Она превращается в своего рода дополнение к плану, она представляет из себя смягчение твердых планов, она пытается прощупать все возможности для мобилизации новых материальных средств, которые дает наше развивающееся хозяйство, и в этом смысле она является эмиссией зондирующей, эмиссией антиципационной, а не той эмиссией, которая идет вслед за созданием продуктов [1]).

Но если наша кредитная эмиссия уже теперь требует своего естественного дополнения, а именно твердого планового распределения заказов внутри промышленности, если вновь выпущенные массы червонцев часто экономически не действительны, если не подкреплены ордерами ВСНХ на соответствующую часть продукции его заводов с точными сроками ее доставки, то такая эмиссия требует несомненно каких-то коррективов, а вся система нашего кредита — какой-то существенной перестройки. Чем более точно мы начинаем выполнять наши производственные планы, тем яснее для нас являются наши возможности не только в настоящее время, но и наши предельные возможности через месяц, через квартал и т. д., тем все большую роль должно играть плановое распределение всей нашей продукции по системе типа ордеров и тем более бесполезно будет делаться вздваивание этого процесса через систему крдитной эмиссии. Неудобство этого вздваивания заключается в том, что нередко предприятия, имеющие первостепенное значение, не в состоянии во-время получить нужную им продукцию а за их счет могут получить эту продукцию предприятия, имеющие менее важное значение для всего хозяйства в целом. В данном случае я говорю о какой-то реформе, а не о том коренном преобразовании всей системы, которая будет для нас неизбежна, когда государственный круг и колхозный сектор замкнутся как единое целое и когда вся наша денежная система и все наши ценностные расчеты будут неизбежно трансформированы в какую-то другую систему, соответствующую побеждающему государственному плановому хозяйству, т.-е. в систему прямого учета на основе рабочего времени.

Есть еще одно отличие нашей кредитной эмиссии от эмиссии разменных банкнот капиталистического хозяйства. В капиталистических странах диспропорция, переходящая часто в кризис, возникает не вследствие того, что вновь выпущенные орудия кредитного обращения не соответствуют нужному количеству средств производства, а от того, что размер производства средств производства и предметов потребления, т.-е. в данном случае увеличение размеров того и другого, не соответствует размерам платежеспособного спроса. Перекредитование при капитализме означает прежде всего перепроизводство.

У нас же дело обстоит как раз наоборот. Перекредитование у нас означает выдачу бумажных свидетельств государством на создающиеся, но еще не созданные средства производства или на нехватающие средства по-

---

[1]) Все это писалось до реформы нашей кредитной системы. Эта реформа есть огромный шаг вперед в области социалистического учета и распределения ресурсов государственного хозяйства. Она почти совсем изгоняет весь тот мистический туман, который еще оставался в сфере осуществления наших планов в условиях стоимостного учета и денежного измерения общественно-необходимого труда. Но это, однако, лишь часть дела для подготовки перехода к социалистическому учету внутри государственного хозяйства.

требления для добавочной рабочей силы. Там перекредитование есть в итоге кризис от избытка товаров в сравнении с платежеспособным спросом; у нас — избыток денег и платежеспособного спроса в сравнении с товарами.

С первого взгляда кажется, что это различие вытекает не из системы нашего кредита и не из природы наших кредитных денег; кажется, что это различие не структурного характера, а зависит исключительно от различия пропорций между производством и потреблением, между потреблением и накоплением. В действительности же здесь перед нами структурное различие, лишь проявляющееся в диспропорции перепроизводства. Капитализму свойственно развитие, которое упирается в препятствия, создаваемые всей структурой капиталистического распределения. У нас развитие упирается только в материальные пределы процесса расширенного воспроизводства.

Впрочем, эта интересная тема, — если при ее трактовке останавливаться не на простом описании явлений, а постараться дать анализ причинной связи, — относится, собственно, к другому исследованию, которым я в данном случае не занимаюсь [1]).

Перспективы.

Пока мы говорили о нашей денежной системе и о трансформационном процессе этой денежной системы на протяжении 2 периодов внутри нэпа. Теперь на основе всего сказанного попытаемся заглянуть несколько вперед. Посмотрим, что ожидает нашу денежную систему, когда и государственная промышленность и все коллективизированное земледелие будет представлять из себя уже более или менее замкнутое хозяйственное целое.

Рассмотрим систематически, переходя от одной функции денег к другой, что должно делаться с деньгами по мере завершения нашей социалистической постройки.

Начнем с той сферы обращения денег, где рабочие выступают в форме покупателей государственной продукции, т.-е. своей же собственной продукции. Деньги на этом участке уже теперь не делают обращения, если брать это слово в точном смысле марксовой политической экономии. В самом деле, обращение совершается, вообще говоря, или по формуле Д—Т—Д, либо по формуле Т—Д—Т. И здесь, и там предполагаются товаровладельцы, которые приносят на рынок товар, получают за него деньги и уносят затем с рынка товар. Либо, если это представители самого обращения, т.-е. купцы, они вносят деньги, покупают товар и снова превращают товар в деньги. Деньги здесь имеют обращение. Спрашивается теперь, какое же обращение имеют деньги в сфере отношений между социалистическим государством и рабочими, как потребителями? Какой, собственно, товар выносят на рынок рабочие советского государства? При капитализме они выносят рабочую силу, продают ее другому враждебному классу, получают за этот товар деньги и на деньги снова покупают товары, служащие для восстановления рабочей силы. Так как у нас рабочие являются коллективными владельцами средств производства, а пролетарское государство не есть для рабочего классово враждебный институт, которому он мог бы продавать рабочую силу, как товар, то во всей формуле отпадает первая половина Т—Д—Т, т.-е. обращение рабочей силы — товар. Рабочий есть участник коллективного производства и от своего коллектива получает за свою работу Д. Но раз в формуле Т—Д—Т отпадает первая часть и остается только вторая, это и означает, что деньги на этом участке не имеют обращения, ибо это уже не деньги в обычном смысле этого слова, и, будучи формально только деньгами,

---

[1]) Я подробно проанализирую этот вопрос в начатой мною работе о мировом хозяйстве после войны.

они здесь социально и экономически выполняют функции потребительских талонов государства.

Но они в данном случае отчасти еще и деньги, потому что та область, где деньги не имеют обычного при товарном хозяйстве обращения, не разлежевана от области, где это обращение еще существует, хотя и здесь существует, правда, в достаточно уже извращенном виде. Я говорю о сфере отношений купли и продажи между государством и необобществленным крестьянским хозяйством и даже с колхозным сектором, поскольку не вся продукция колхозного сектора целиком идет госзаготовителям. Один и тот же рубль, выданный государством для выполнения функций талона в рассматриваемой сфере его обращения, может быть употреблен не на закупку рабочими продукции государственного хозяйства, а непосредственно истрачен в отношении с деревней или частным рынком вообще. С другой стороны, та часть зарплаты, которая покрывается покупкой у государства продуктов питания, в свою очередь купленных государством у крестьянства, хотя и носит характер талонов и выполняет функции талонов в отношении между рабочими и государством, однако в отношении между государством и крестьянским хозяйством она носит характер денег. Здесь государство можно рассматривать лишь как промежуточную инстанцию в системе обмена между рабочим как коллективным производителем и индивидуальным крестьянским хозяйством.

И, наконец, те же самые денежные знаки продолжают функционировать в сфере обмена внутри частного хозяйства, а, с другой стороны, попавши сюда в результате закупки государством в частном секторе, они могут притекать и фактически притекают в сферу отношений государства и его рабочих как потребителей и смешиваются со всем обращением этого участка.

Спрашивается теперь, какова же здесь общая тенденция развития? Какие функции денег будут расширять сферу своего применения, какие сужиться? Это зависит, разумеется, не от самих денег, которые не имеют самостоятельного движения, оторванного от всех хозяйственных процессов, а зависит от общей эволюции всего нашего хозяйства.

Наше хозяйство идет по пути превращения в замкнутый круг единого социалистического планового хозяйства, независимо от того, когда это произойдет, в какие сроки. В этом и заключается общий ответ на столь же общий вопрос.

Но общий ответ не интересен читателю. Он хочет слышать конкретный прогноз на счет того, как все это произойдет, а равно и понять те процессы, которые уже происходят.

Постараемся поэтому, хоть и очень кратко, рассмотреть перспективы нашего движения вперед в области денег и денежного обращения.

Мы уже указали на то, что одни и те же наши деньги в сфере отношения государства с рабочим как потребителем играют роль чего-то в роде талонов. Спрашивается, будет ли сфера применения денег на такой их функции, т.-е. на потребительско-талонной функции, сокращаться или расширяться?

Совершенно очевидно, что эта сфера будет расширяться. Если рабочий живет в коммунальном доме, потребляет сельскохозяйственные продукты, купленные не на базаре, не на вольном рынке, а продукты совхозно-колхозного производства, мобилизованные государством и распределенные государством, а на почти всю остальную зарплату приобретает остальные продукты государственного производства и всякие услуги, кроме очень небольшой доли частных услуг, то это будет означать, что почти весь фонд зарплаты страны играет функцию потребительских талонов.

Что же будет с другой сферой обращения денег, куда могли отливать рыные деньги из фонда зарплаты?

Эта сфера должна неуклонно суживаться. Море частного хозяйства у нас будет высыхать, как бы ни растянулся весь этот процесс. Это означает для рассмотренного участка обращения, что здесь деньги, выпущенные как талоны по их экономической природе, как талоны же и будут обращаться. Все, что выдано в качестве зарплаты, также возвращается целиком государству через кооперативную сеть, как выданные в кассе одного магазина талоны возвращаются снова к источнику их выдачи, не делая того обращения, которое делают деньги в сфере отношений между товаропроизводителями.

Что касается сферы обмена государственного хозяйства с частным, то систематическое сужение частного хозяйства до величины, которая, если не будет близка к нулю, то во всяком случае будет играть совершенно ничтожную роль в нашей экономике, и здесь приведет на определенной стадии нашего социалистического развития к замыканию круга. Здесь возникает лишь один вопрос, а именно вопрос о том, как научно марксистски надо характеризовать распределения между колхозами и государственным хозяйством.

Мы должны здесь отметить, что даже и теперь обращение денег в сфере отношений государственного хозяйства с крестьянским хозяйством претерпевает чрезвычайно большие изменения. Каждому понятно, что наши заготовительные цены, по которым получается подавляющая часть излишков крестьянского хозяйства, не есть цены рыночные в обычном смысле этого слова. Это есть плановые цены, и цены здесь носят специфический характер планового распределения и накопления. С другой стороны, наше снабжение деревни, в особенности снабжение дефицитными товарами, точно так же носит характер планового распределения, и те цены, по которым мы продаем продукцию государства крестьянству, также не являются ценами рыночными в обычном смысле этого слова. Наконец, здесь интересно отметить еще ту своеобразную роль, которую играет у нас контрактация. Вообще говоря, контрактация отнюдь не является специфическим инструментом социалистического распределения. Капиталистическое хозяйство знает и практикует самые различные виды контрактации. Но те размеры, которые приняла у нас контрактация и ее формы, носят совершенно исключительный характер и вся эта система оказалась весьма ценным добавлением и очень жизненной переходной формой от рыночной системы связи к системе планового распределения.

Кредитные деньги возникают из функций денег как средства платежа. Их базой является разрыв между временем покупки и приобретением товара и временем уплаты. Контрактация также означает такой же разрыв, но только в обратном отношении. В первом случае уплата отсрачивается в сравнении с моментом сделки, а при контрактации, наоборот, уплата производится раньше, чем товар доставлен, и даже раньше, чем он произведен. Совершенно очевидно для каждого экономиста, что при массовом распространении системы контрактации функции денег в этой сфере отношений делаются весьма своеобразными.

Но процес трансформации, который происходит сейчас в самой природе наших денег, отнюдь не ограничивается всем сказанным. Это особенно ясно видно на системе наших заборных книжек.

Что означает собственно заборная книжка с экономической точки зрения в настоящей обстановке?

Заборная книжка означает, что государство не в состоянии снабдить все население всем необходимым количеством продуктов на основе денежной купли-продажи и что оно выделяет для снабжения в первую очередь и по повышенной норме, во-первых, своих рабочих и служащих, а, во-вторых, те группы населения, которые непосредственно производят что-либо для государства. Но если взять заборную книжку с точки зрения превращения наших денег в талоны в определенной сфере их обращения, то здесь эта заборная

книжка с чрезвычайной яркостью вскрывает весь этот незаметно происходящий процесс. Заборная книжка есть подтверждение того, что зарплата носит у нас характер не денег вообще, а носит характер талонов в сфере отношений рабочих, как потребителей, с их государством. Заборная книжка означает, что не всякий тот рубль, который выпущен государством в частное хозяйство, может быть полноценным покупающим рублем в сфере отношений рабочих, как потребителей, со своим государством, т. е. в той сфере, где деньги обращаются как талоны. Тем самым рублям этого рода не дается заборной книжкой удостоверение в том, что они талоны. А с другой стороны в сфере вольного рынка мы имеем резкий разрыв цен в сравнении с ценами государственно-кооперативными. Цены на хлеб и ряд других продуктов в этих двух сферах различаются в три—четыре—пять и более раз. Что это означает с интересующей нас точки зрения?

Это означает, что сфера обращения денег, как денег, начинает материально обособляться от сферы обращения денег как талонов. Если рубль, выпущенный государством в частное хозяйство, не обладает покупательной силой, подобно талону кооперативной лавки в отношении продуктов, которые выдаются по заборным книжкам, то и обратно: рубль, выпущенный в качестве зарплаты, отнюдь не имеет на вольном рынке той покупательной способности, какой он пользуется как талон государства.

Но здесь не надо допускать одной ошибки. Заборная книжка есть продукт в сферу обращения той классовой борьбы, которая происходит сейчас в стране и происходит в условиях недостатка у государства ряда предметов потребления. Было бы ошибочно думать, что заборная книжка является в наших условиях орудием ликвидации денег. Не заборная книжка ликвидирует деньги; деньги постепенно ликвидируются, теряя свои обычные в товарном хозяйстве функции в результате неуклонной и успешной социализации всего нашего хозяйства. Заборная книжка лишь вскрывает то, что происходит у нас в сфере производственных отношений. Факторы, которые вскрывают процесс, не есть причина этого процесса.

Но было бы ошибкой и нечто другое. Было бы ошибкой, если бы мы сделали следующий вывод из того, что у нас происходит, и из того, что я выше сказал. Раз заборная книжка и существование двух различных цен есть результат недостатка в предметах потребления в обстановке классовой борьбы, то с уничтожением этой дефицитности в продуктах и с победоносным завершением классовой борьбы приостановится и процесс отмирания денег и натурализация отношений в том виде, в каком она происходит теперь. Такой вывод был бы ошибочным по той же самой причине, на которую мы уже указали выше. Сами по себе заборные книжки не ускоряют ликвидации денег, а лишь разоблачают их в их функции талонов в определенной сфере их циркуляции. Если мы не сочтем нужным сделать наши теперешние заборные книжки исходным пунктом превращения денежной зарплаты в настоящие талоны социалистического распределения, если мы отбросим эти заборные книжки, когда у нас не будет недостатка в продуктах потребления, то этим отнюдь не будет приостановлен процесс систематического отмирания денег как средства обращения. Деньги отмирают как средство обращения вследствие отмирания самого обращения. Если социалистическими талонами будут служить не заборные книжки, а в такие талоны превратятся наши деньги, без малейшего изменения их внешнего вида, то это ничего не изменит в существе рассматриваемого процесса.

По отношению к сфере соприкосновения рабочих как потребителей с их государством развертывающийся процесс настолько ясен, что вряд ли здесь могут быть какие-либо большие споры. Наоборот, область отношений государства с колхозами заслуживает особого рассмотрения.

Допустим, что мы осуществим коллективизацию на все сто процентов. Но колхозник еще не рабочий. Колхозник—это вчерашний мелкий производитель, который только превращается в работника единого социалистического хозяйства, но еще не превратился в такового. Спрашивается теперь, есть ли отношения колхозов с государством на этой стадии обмен, или же это уже не обмен?

Нет ничего труднее — а иногда и бесплоднее — давать точные определения переходным состояниям после того, как уже вскрыта и эта переходность и общее направление всего движения и трудно поддается точному определению лишь длина пройденного пути.

> *Примечание.* Для торжества гегелевской триады обмен начинается в человеческой истории как коллективный обмен племени с племенем, закончится же может он «синтезом», как коллективный обмен колхозной системы с пролетарским государством.

Во всяком случае очевидно, что здесь обмен не является обменом индивидуальных товаропроизводителей между собою или индивидуального производителя с коллективным, а носит другой характер. Если мы поставим вопрос, нужны ли в области экономических отношений государства с колхозами деньги как средство обращения, то мы можем по-разному ответить на этот вопрос, в зависимости от того, в какой стадии находится весь этот процесс. На начальной стадии колхозного развития попытка ликвидации денег с одной стороны без всякой нужды осложнила бы систему расчетов колхозов с государством и колхозов друг с другом, а с другой стороны серьезно повредила бы системе нашего государственного кредита, поскольку он будет мобилизовать и колхозное накопление для вовлечения в общехозяйственный оборот и мобилизовать в гораздо больших размерах, чем это могло иметь место в отношении отсталого индивидуального крестьянского хозяйства. В дальнейшем денежные расчеты могут сокращаться, разумеется, до минимума, особенно если государство будет иметь дело не с мелкими колхозными объединениями, а с их централизованными союзами.

Но есть одна область, где функция денег должна будет сохраниться вероятно довольно длительный срок: я имею в виду здесь функцию денег как мерила стоимости. Каждому понятно, что во всем процессе трансформации денег, о котором здесь идет речь, ликвидация этой функции денег может произойти лишь на довольно высокой стадии развития, планового хозяйства, как господствующей формы, потому что вместо системы ценностного учета мы должны будем во всей нашей системе последовательно и сразу провести систему учета рабочим временем, т.-е., по выражению Энгельса, измерение трудовых затрат косвенным и окольным путем заменить измерением непосредственным и прямым путем в единицах рабочего времени. Если в этом пункте мы довольно далеки от такой социалистической реформы в сфере самого государственного хозяйства, то тем дальше мы отстоим от него в сфере отношения государства с колхозной системой, в сфере внутриколхозных отношений. Но мы и здесь уже подходим к этой проблеме практически, о чем в самом конце.

Теперь нам остается рассмотреть еще две области: сферу наших кредитных денег с одной стороны и область интервалютарных отношений с другой стороны.

Я уже говорил выше, что в настоящее время хотя денежная зарплата в огромной степени означает также и функционирование денег в качестве талонов, однако между этой сферой и сферой еще остающегося товарно-денежного отношения существует постоянное взаимодействие и обе эти сферы не размежеваны. То же нужно сказать и про сферу денежной эмиссии. Эта неразмежеванность существует в двух отношениях: 1) Если часть кредитной

эмиссии предназначается на закупку средств производства, напр., сырья в крестьянском хозяйстве, т.-е. здесь перед нами обращение кредитных денег между двумя различными сферами. 2) То же можно сказать про сферу обращения кредитных денег в той их части, в какой они должны мобилизовать добавочную продукцию средств потребления в крестьянском хозяйстве для добавочного фонда снабжения новых рабочих, втягиваемых в производственный процесс. Кредитное обращение не имеет в этом пункте замкнутого круга. Однако, это нисколько не мешает тому, что при распределении внутри государственного круга новых средств производства, созданных самим же этим государственным кругом, кредитная эмиссия носит характер подсобного аппарата планового распределения. Мы имеем здесь в виду то самое прощупывание наших материальных возможностей, о которых я говорил выше. Но если заборные книжки разоблачают зарплату как систему талонов, то ордера ВСНХ на распределение вновь созданной продукции между теми или иными заказчиками, разоблачают кредитную эмиссию как систему планового распределения внутри государства средств производства, созданных государственными предприятиями. Спрашивается теперь, насколько долговечна такая система и чему здесь принадлежит будущее? Будет ли ордер вытеснять червонец или же червонец вытеснять ордер, если только дефицит на средства производства будет когда-либо ликвидирован?

В настоящий момент трудно ответить на этот вопрос. Я хотел только подчеркнуть, что здесь этот вопрос не имеет существенного значения, поскольку в этой части характер денег как способ условного расчета между государственными предприятиями стал уже настолько ясен еще в период процветания нэпа, что теперь здесь всякие изменения в системе расчета будут носить почти исключительно технический характер.

Важное экономическое значение имеет другое, важное значение имеет тот самый вопрос, с которым мы столкнулись уже выше, а именно вопрос о системе стоимостного учета вообще. Материально из этой сферы можно совершенно почти изгнать деньги, заменить затем кредитно-плановую систему прямым плановым распределением средств производства, но при всем том останется одна вещь: продукция государственной промышленности будет продолжать измеряться в рублях, т.-е. в какой-то мистической величине, которая должна, наконец, получить определенный точный экономический смысл. Рубль — это 0,774234 грамма золота. Эта частица золота означает затрату n количества часов среднего человеческого труда Пока все расчеты не будут производиться на основе учета рабочим временем, до тех пор и денежное ассигнование, вздвоенное ордером или, если хотите, ордер, вздвоенный деньгами, будут опираться на систему стоимостного измерения, у которой уже в значительной степени завершилась смена ее экономического содержания.

В другом месте я постараюсь показать, что в нашей плановой работе мы теперь практически вплотную подошли к необходимости замены стоимостного учета социалистическим. В частности я берусь доказать, что мы не можем уже теперь составить сел.-хозяйственную карту специализированных районов СССР без перехода к системе социалистического учета, который комбинирует учет общественно-необходимого труда на производство продукта с учетом лимитированного общественного спроса на ту или иную продукцию. Сначала здесь придется комбинировать одну систему учета с другой.

Но если трудно сказать, как долго отношения между государственной и колхозной системой будут сохранять характер отношения обмена, если трудно сказать, как долго вообще мы будем исходить из системы стоимостного учета, одно уже теперь совершенно ясно: обобществление средств

производства вносит кардинальнейшее изменение в характер денег вообще. При системе рыночного обмена деньги были одновременно и покупательными средством для предметов потребления, и покупательным средством для средств производства. В общей системе единого рынка и при единой денежной системе здесь нельзя было провести никакой демаркационной линии. Обращение средств потребления и обращение средств производства было совершенно не размежевано и по самой структуре товарного хозяйства не могло быть размежевано в системе рыночного товарооборота. Каждый покупатель на одни и те же деньги, как овеществленный человеческий труд, мог купить какой угодно продукт труда, является ли он средством производства или предметом потребления. Наоборот, теперь, с обобществлением средств производства не только в государственном хозяйстве, но и в крестьянском хозяйстве, когда процесс коллективизации завершится, сфера потребительского обращения будет резко размежевана от сферы обращения средств производства. А это будет означать, что еще задолго до переход от стоимостного учета к учету рабочим временем мы будем иметь раздвоение внутри нашей единой валюты и эта прежде единая валюта будет неизбежно распадаться на два разных образования: на потребительские талоны с одной стороны и на свидетельства на средства производства с другой стороны. Другой вопрос, когда это раздвоение, которое уже совершенно отчетливо наметилось в области экономической, можно будет оформить и технически, а именно совершенно отделить деньги-талоны от денег как ордера на средства производства [1]).

* * *

О перспективах интервалютарных отношений червонца говорить много не приходится. Здесь как раз не предстоит никаких изменений в сравнении с тем, что есть теперь. Об'ясняется это просто тем, что основные изменения произошли здесь уже тогда, когда у нас была введена монополия внешней торговли: вернее сказать, когда мы начали торговать с заграницей на основе монополии внешней торговли, потому что монополия была введена еще в период нашей блокады. Тогда собственно и было установлено в этой области основное, а именно, что государство является единственным продавцом с заграницей, единственным покупателем, а тем самым единственным распорядителем выручаемой валюты. Тем самым государство сделалось и единственной инстанцией, которая определяет курс червонца на иностранную валюту внутри страны, поскольку этот курс есть лишь просто таблица расчетов за иностранную валюту государства с его же собственными экспортирующими организациями. Совсем другое дело — стоимостное соотношение тех товарных масс, которые мы вывозим и которые ввозим в страну. Это соотношение измеряется не червонцем. Однако это уже тема другой статьи, которая будет посвящена проблеме стоимостного и социалистического учета.

Но фактом ведения монополии внешней торговли был предрешен и другой вопрос, а именно вопрос о том, что червонец не будет иметь никогда настоящей котировки за границей, потому что он вообще не может поступать на валютный рынок в сколько-нибудь заметном количестве. При монополии он никому не нужен из иностранцев, кроме случаев переводных операций, размена валюты при в'езде в страну иностранцев, размена валюты концессионерами, т.-е. в случаях, когда вся совокупность данных операций

[1]) Я говорю здесь не о системе двух цен, которая существует сейчас и будет существовать вероятно еще несколько лет. Я вообще не касаюсь здесь очень острого вопроса о раздвоении нашего рынка и раздвоении цен, а также в данной связи не говорю о том, сколько времени вообще просуществует у нас индивидуальный сектор в сельском хозяйстве.

представляется очень малой величиной в сравнении с размерами экспорта-импорта государства, при чем и в этих случаях норма перевода иностранной валюты на червонец устанавливается не на валютном рынке, а предписывается государством. Но это означает, короче говоря, что червонец совершенно не имеет курса на иностранную валюту в обычном смысле этого слова, т.-е. не имеет валютной котировки на основе стихийных законов валютного рынка, в свою очередь отражающих лишь стихийные законы международного товарного рынка.

В этой области не было и в этой области не предстоит никаких изменений, поскольку никаких изменений не предстоит и в сфере монополии внешней торговли.

Можно по-разному смотреть на судьбу нашей внешней торговли с точки зрения ее размеров. Можно думать, что ее рост должен скоро остановиться, можно думать, что она будет быстро и непрерывно расти, при одновременном росте нашего освобождения от заграницы во всем том, что мы по природным условиям в состоянии производить сами. Но нельзя по-разному смотреть на судьбу монополии внешней торговли и на интервалютарные отношения червонца. Здесь уже весь путь пройден с самого начала. Здесь никаких изменений не предстоит. И даже если из нашей теперешней единой валюты выделятся два различных образования, а именно потребительские талоны снабжающего население государства с одной стороны и нечто в роде сертификатов на средства производства с другой стороны, то и тогда в рассматриваемом нами пункте не произойдет ничего особенного. При расчетах государства с экспортирующими организациями оно будет рассчитываться с ними по иностранной валюте, либо в потребительских талонах, либо в сертификатах на средства производства по тем нормам расчета, которые оно само устанавливает. Точно так же и иностранцы, желающие менять свою валюту на нашу, получат за эту валюту потребительские талоны, а когда нужно и сертификаты опять-таки по тем же нормам расчета, которые будут установлены государством, а не валютной биржей капиталистических стран.

Изменения, правда, могут произойти в том случае, если в Европе произойдет пролетарская революция со всеми своими последствиями. Что нужно будет тогда делать, это ясно без всяких теоретических исследований.

Два слова по части практических выводов.

До сих пор я лишь анализировал и описывал то, что есть и что происходит. Теперь мне осталось сказать лишь два слова о тех практических выводах, которые вытекают из сказанного для нашей денежной и кредитной политики сегодняшнего и завтрашнего дня. Я здесь ограничусь лишь самыми общими замечаниями.

В виду намечающейся у нас весьма отчетливой дифференциации той сферы обращения денег, где деньги играют роль потребительских талонов, естественно возникает такой вопрос. Этот процесс сам по себе, при тех же размерах насыщения товарами в сфере распределения, уменьшает или увеличивает средний минимум обращения? По-моему бесспорно, что уменьшает. Теоретически это абсолютно ясно, потому что с уменьшением территории частного хозяйства и вольного рынка суживается сфера циркуляции денег с одной стороны и увеличивается быстрота их обращения с другой. Это можно пояснить на таком примере. Если мы имеем, допустим, 1.000 руб., за которые сегодня покупается 800 единиц товара в государственном кругу по одному рублю за единицу и 100 единиц в частном секторе по два рубля за единицу, т.-е. по двойной цене, то ликвидация частного сектора даже при полной замене его 100 единиц единицами государственного снабжения, дает в нашем примере высвобождение ста рублей, которые окажутся лишними

для обращения, т.-е. в данном случае мы будем иметь, выражаясь в старых терминах, инфляцию в размере 10% всего обращения. Пример этот является грубым и упрощенным, но он отображает самую суть того, что у нас происходит в последние годы. После перехода на твердую валюту мы имели быстрый рост государственной продукции и государственного товароснабжения, а также довольно быстрый рост и частного товарообмена, при чем сокращение частной торговли в городах компенсируется увеличением товарности индивидуального крестьянского хозяйства и роста товарности его зажиточной и кулацкой части. При таких условиях мы имели базу для довольно быстрого роста нашего минимума обращения (при чем под минимумом обращения я имею в виду не среднюю номинальную сумму циркулирующей массы, а ее покупательную способность по товарному индексу). Кривая роста нашего денежного обращения, взятая по реальной покупательной способности валюты, возрастала по годам следующим образом. Одновременно рост народного дохода страны характеризовались следующими цифрами за это же время.

Годы (на 1-е января)	Денежное обращение (номинальное)	Денежное обращение реальное (по индексу статист. труда)	Народный доход (в довоенных ценах)
1914	2402,2	2 402,2	14.025 милл. руб.
1925	742,5	375,0	13.376 (1925/26 г. „)
1926	1269,3	604,7	14.780 (1926/27 г. „)
1927	1412,6	636,6	16.013 (1927/28 г. „)
1928	1667,8	812,4	17.972 (1928/29 г. „)
1929	2027,0	970,0	

О чем говорят эти цифры?

Они говорят, во-первых, о том, что, достигнув в нашем народном доходе 134% по сравнению с довоенным уровнем, мы имеем реал нашего денежного обращения, равный на 1 января 1929 г. 970 млн., т.-е. в два с половиной раза меньше по сравнению с довоенным обращением. Эти цифры совершенно отчетливо показывают, что изменения в структуре нашего хозяйства, которые привели к огромному развитию безденежных расчетов, привели также и к резкому сокращению всей необходимой для обращения массы. Здесь структурные изменения в нашем хозяйстве находят свое яркое количественное выражение в размерах денежного обращения. Второй вывод, который напрашивается сам по себе из только что приведенных цифр, сводится к тому, что реальная стоимость нашего денежного обращения за последнее время не только растет медленней роста всей валовой и чистой продукции страны, но ее рост почти приостановился. А это не означает ничего другого, как сокращение относительной потребности в деньгах, вытекающее из быстрого изменения структуры нашего хозяйства, из ликвидации частного хозяйства, из замыкания единого круга государственного планового хозяйства.

Практические выводы, которые нужно сделать из этого, заключаются просто в том, что мы должны будем совершенно приостановить рост обращения на основе новой эмиссии и подождать того момента, когда увеличение производства предметов потребления и удовлетворение потребительского спроса, а вместе с тем уменьшение быстроты оборота денег создадут в этой области новую ситуацию. Не надо забывать того, что при нашей системе инфляции внутри государственного круга, вследствие существования твердых цен, не может проявиться обычным путем, но зато тем сильней она бьет в частном хозяйстве и на стыке частного хозяйства с государственным. А ведь на этом стыке определяется уровень части реальной заработной

платы. Если государство выпускает, допустим, на 10% лишних денег, когда твердыми ценами охвачено ⅔ товарооборота, то на остающейся ⅓ цены увеличатся не на 10%, а в 3 раза больше, т.-е. вся излишняя эмиссия схлынет в сферу вольного рынка, который пока не собирается умирать.

Что касается размеров кредитного обращения, то здесь все дело будет зависеть от того, как сложатся наши взаимоотношения с колхозной системой. Внутри нашего государственного круга кредитные средства обращения, при теперешней системе расчетов между государственными органами, рационализируются, расчеты упрощаются, рост потребности в червонцах относительно сокращается. Что же касается колхозов, то рост их валовой продукции, рост обмена веществ между ними и государственным хозяйством может создать новую базу для расширения кредитной эмиссии. Эти возможности, разумеется, должны быть государством полностью и своевременно использованы, если только здесь мы не пойдем отчасти другим путем, т.-е. путем целевых займов.

В заключение я хотел сказать два слова по поводу наших займов. Экономической основой наших теперешних займов, поскольку мы их распространяем среди рабочих и служащих, является наличием среди этих слоев населения свободных денег, которые не могут быть реализованы внутри нашей кооперативной сети и на суживающемся частном рынке вследствие систематического дефицита по ряду важнейших товаров. В этом случае государство уменьшает в форме займов покупательную способность населения приблизительно в том об'еме, в каком эта покупательная способность не может быть реализована. Но так как нам предстоит в будущем очень большое расширение легкой промышленности, под'ем сельскохозяйственного производства и т. д., то все эти займы можно рассматривать как заем населения под будущую продукцию государства. Тов. Михалевский в своей книжке «К методологическому изучению нашего денежного обращения» удачно называет этот вид займов антиципационными займами. Я лично считаю, однако, что основной недостаток этих антиципационных займов состоит в том, что население не вполне уверено в таковом их качестве, что уменьшает и сумму их распространения. Конечно, доказательства последуют только после сильного расширения всего производства продуктов массового потребления. Тем не менее, после уже сделанного очень большого напряжения в этой области, было бы правильнее, пожалуй, перенести центр тяжести в будущем на чисто-целевые займы. Мы приступили уже отчасти к этим займам, но как-то неуверенно и без определенной системы. Между тем такие займы не только яснее представляют перед рабочими и крестьянами всю сущность кредитных операций государства, но и позволяют им самим делать выбор между отраслями, в которые делается дополнительное вложение. Приведу маленький пример. Почему мы не могли бы организовать большой целевой мануфактурный заем, допустим на двести-триста миллионов рублей, при чем собранные по займу средства пошли бы на развитие хлопководства, в том числе в ряде новых районов, где особенно нужны новые вложения в капитал, на увеличение посева льна и быстрого развертывания льняных совхозов? Почему мы не могли бы обратить эти деньги также и на подготовку соответствующих кадров этих отраслей промышленности? (Я не говорю здесь пока о строительстве новых фабрик и заводов, поскольку в данный момент и существующие не загружены. Но очень скоро встанет и этот вопрос). Можно было бы выплачивать проценты на этот заем владельцам облигаций путем предоставления им права внеочередной покупки мануфактуры любого качества и в любое время. Так как мы увеличиваем выработку из года в год, то употребление части увеличенной выработки на натуральную уплату купонов по займам нисколько не

отразилось бы на общем снабжении. Между тем производственный эффект займов был бы колоссальным. Если применить систему таких займов к ряду отраслей, то мы имели бы тогда в наличии форму, в какой мы могли бы мобилизовать излишние средства населения с максимальной пользой для производства и с максимальной заинтересованностью в этом деле подписчиков на заем.

Такие же займы должны стимулировать и производство определенных видов средств производства. Здесь мы уже начали с тракторных займов. Это дело надо продолжать с величайшей энергией. Мы должны, всячески стимулируя коллективный хозяйственный инстинкт колхозников, всячески поддерживать тенденцию к накоплению, что в переводе на язык государственного кредита в новых условиях означает обращение все более растущей части этих накоплений не только на непосредственное увеличение средств производства внутри колхозов путем покупки их в готовом виде у государства, но и на стимулирование их вложений в соответствующие отрасли государственной промышленности.



Существует ли социально-органическая школа.

(По поводу статьи тов. Блюмина «К вопросу о кризисе австрийской школы»[1]).

Л. Надеждин.

Статья тов. Блюмина «К вопросу о кризисе австрийской школы» посвящена выяснению того, что собой представляет современная буржуазная политическая экономия. Окончательный вывод, к которому он пришел, таков: в экономической мысли Европы и Америки отсутствуют резкие диссонансы. «Несмотря на наличие множества оттенков и всяких взглядов, можно установить известное единство или во всяком случае господство единой теоретической концепции в современной буржуазной политической экономии. Эта концепция нашла себе наилучшее выражение в работах экономистов математической и англо-американской школы»[2]). Наличие в буржуазной политической экономии социального направления, представители которого (А. Амонн, Р. Штольцман, Ф. Петри, О. Шпан) выступают с резкой критикой суб'ективизма и психологизма, тов. Блюмина не пугает. «Они лишь обновили некоторые элементы экономической теории, сохранив в неприкосновенном виде всю ту концепцию, которая нашла себе выражение в работах экономистов вульгарной и суб'ективной школ»[3]). Более того: тов. Блюмин не считает возможным об'единить сторонников социального направления и выделить их в самостоятельную школу, существующую наряду с австрийской, математической или исторической школой. «Если мы попытаемся вынести за скобки то общее, что имеется в теоретических построениях этих авторов, то увидим, что это общее обычно сводится к признанию социального метода, и что отсутствует тот минимум единства в решении основных теоретических вопросов, который необходим для образования единой школы»[4]).

К этим выводам тов. Блюмин пришел в результате разбора построений представителей социального направления. Они, оказывается, только внешне расходятся с австрийцами. Так, если «обратиться к рассмотрению позитивной теории Амонна, то мы убедимся в том, что он очень близко подходит к теории математиков Вальраса-Касселя и что, следовательно, его точка зрения в целом ряде пунктов родственна точке зрения австрийцев»[5]). «Если обратиться к положительной концепции Шпана, то нельзя отрицать наличия целого ряда точек соприкосновения с доктриной австрийской шко-

---

[1]) «Проблемы Экономики» № 1

[2]) Там же, стр. 100—101.

[3]) Там же, стр. 101.

[4]) Там же, стр. 96.

[5]) Там же, стр. 76.

лы» [1]). В отношении Петри можно сделать вывод, что для него «теория закона ценности совпадает с теорией конкуренции, что решающую роль при об'яснении закона ценности играет закон спроса и предложения, что при разработке этих проблем нельзя абстрагироваться от суб'ективных оценок» [2]). Как известно, Штольцман крайне мало соприкасается с австрийцами. Но сделать на этом основании вывод, что родство теоретиков австрийской школы и социального направления вовсе не является обязательным законом [3]), по мнению тов. Блюмина, было бы ошибочно. «Если между суб'ективистами и Штольцманом оказывается мало точек соприкосновения, то это скорее нужно рассматривать как продукт теоретической незаконности, недоработанности экономических теорий нашего автора» [4]).

Утверждения тов. Блюмина, что все буржуазные экономисты мало чем отличаются от австрийцев (все кошки серы), и что поэтому в немарксистской экономической науке отстутствуют резкие противоречия, нам представляются ошибочными. Последнее слово в буржуазной политической экономии сказали не австрийцы, а сторонники социального метода, исходящие из общих им всем и совершенно чуждых суб'ективизму предпосылок. Это позволяет обединить их в самостоятельную школу, выступающую с жесткой критикой экономического индивидуализма. В буржуазной политической экономии, следовательно, господствует не трогательное единство, а борьба враждебных друг другу течений.

Рассмотрим для защиты выставленных нами положений основные черты концепций главных представителей социального направления: Аммона, Штольцмана, Петри и Шпана. Вопреки мнению тов. Блюмина, в работах этих авторов можно найти тот минимум единства, который необходим для образования особой школы. Этот минимум единства дается общностью их теоретических предпосылок, отнюдь не сводящихся только к признанию социального метода. Общие исходные пункты указанных авторов таковы:

1) Отрицание возможности исходить в экономическом исследовании от индивидуума и его психики.

2) Отрицание возможности для политической экономии брать отправным пунктом явления естественного порядка. Так, напр., сторонники социального направления считают неправильным выводить ценность из потребительной стоимости, ренту из земли и пр. «Товар,—пишет Петри,—как потребительная ценность есть только природная вещь; как бы его ни вертели и ни поворачивали, он как потребительная ценность не может быть постигнут в своем общественном значении» [5]). Для Аммона «понятие блага не заключает в себе никакого социального содержания, и поэтому оно не может играть в теоретической национально-экономической постановке проблем никакой принципиальной роли» [6]). О том же говорит и Штольцман. Он полагает, что «из лабиринта чисто-экномического рассмотрения (т.-е. рассмотрения натуральных категорий. *Л. Н.)* нет ариадниной нити к социальной действительности» [7]).

3) Понимание политической экономии, как социальной науки, изучающей отношения не вещей, а людей. «В них (в категориях политической экономии. *Л. Н.)* должны найти свое выражение не отношения вещей, а от-

[1]) Там же, стр. 78.
[2]) Там же, стр. 82.
[3]) Там же, стр. 83.
[4]) Там же, стр. 84.
[5]) Ф. Петри, Социальное содержание теории ценности Маркса, стр. 40.
[6]) A. Amonn, Objekt und Grundbegriffe der theoretischen Nationalökonomie, стр. 297.
[7]) R. Stolzmann, Der Zweck in der Volkswirtschaft, стр. 56.

ношения людей, т.-е. общественные отношения» [1]), утверждает Петри. По мнению Амонна, «обычное словоупотребление об'единяет в логическое единство различные единичные факты с точки зрения индивидуалистической, а именно с точки зрения психологических целевых отношений и натурально-технических отношений предметов. Политическая же экономия, как социальная наука, рассматривает эти факты с точки зрения социальных отношений суб'ектов» [2]). Штольцман тоже неоднократно подчеркивает, что политическая экономия изучает не отношения вещей друг к другу и к человеку, а социальные отношения людей.

4) Понимание общества как особой целостности, свойства которой не выводимы из явлений индивидуальной жизни. С этим положением связывается утверждение, что в экономическом анализе необходимо отправляться от рассмотрения своеобразия целого к рассмотрению особенностей его частей, а не наоборот, как это делают суб'ективисты. «Следует изучать,—пишет Шпан,—каждого хозяйствующего (Wirtschafter), каждое лицо, появляющееся на рынке, всякую цену, всякое предложение и проч. не как фактор, сам по себе определенный и сам в себе основывающийся, но как силовую точку, первоначально определенную целостностью, или, точнее, не как атом, составляющий вместе с другими атомами хозяйство, но как член целостности, общественного хозяйства, основывающийся не в самом себе, а, наоборот, обладающий действительностью и формою, проистекающей из целого» [3]). Та же мысль высказывается почти в аналогичной форме и Штольцманом: «Не только каждое хозяйство, но даже каждое отдельное благо, представляет собой для подлинного народно-хозяйственного рассмотрения не изолированный кусок внешней природы, подвергаемый индивидуумом психологическим оценкам и важный для удовлетворения какой-либо потребности. Это благо, если погрузиться в социальную историю возникновения его производства и социальное определение цели его употребления отражает своим существом и своей стоимостью весь большой организм народного хозяйства. Таким образом, оно становится в наших руках и на наших глазах живым органическим куском этого народного хозяйства, из которого вытекает вся его закономерная сущность» [4]). Для Аммона явления, изучаемые политической экономией, также не представляются «основывающимися в самих себе». Эти явления, по его мнению, составляют необходимую часть или сторону определенного социального целого, от которого зависят все особенности, делающие из них об'ект экономической науки. «Социальные отношения, к которым примыкают основные проблемы теоретической национальной экономии, вырастают на основе вполне определенного (положительного) социального порядка общения (организации). Специфически национально-экономические проблемы возможны только при предпосылке этой определенной социальной организации общения и без нее даже немыслимы» [5]).

5) Утверждение, что трудовое взаимодействие людей не создает общество, как особое качество. Общество для Амонна, Петри, Штольцмана и Шпана становится об'ектом изучения социальных наук только благодаря присутствию в нем особых социальных элементов, лежащих над реальными отношениями зависимости индивидуумов.

6) Трактовка социального, как «чистого», т.-е. как существующего над явлениями материально-технического порядка и чуждого им. Социаль-

[1]) Ф. Петри, Социальное содержание теории ценности Маркса, стр. 24.
[2]) A. Amonn, Objekt..., стр. 164.
[3]) O. Spann, Fundament der Volkswirtschaftslehre, стр. 326.
[4]) R. Stolzmann, Der Zweck..., стр. 6—7.
[5]) A. Amonn, Objekt..., стр. 185.

ное таким образом превращается в самостоятельный ряд, «свободный» от производственного ряда.

7) Понимание общества, как соединения чисто-социальных элементов с элементами производственно-технического характера.

8) Телеологизирование экономической науки.

Эти 8 моментов, составляющие фундамент построений Амонна, Петри, Штольцмана и Шпана, дают нам то, что необходимо для об'единения их в самостоятельную школу. Остается только вопрос, как называть эту школу. Тов. Кон в своей рецензии на третье издание «Очерков» И. И. Рубина называет это направление социал-психологическим. Однако, так как исходные положения указанных авторов отличны от предпосылок австрийцев, то такое название должно быть отвергнуто. Большей частью Амонна, Петри, Штольцмана и Шпана называют социал-органистами и социал-идеалистами. Хотя можно найти много недостатков и в этих наименованиях сторонников социального метода, но за неимением ничего лучшего мы будем ими пользоваться.

Положения, заключенные в первых четырех пунктах, по крайней мере, формально, внешне, напоминают некоторые положения марксизма. Это обстоятельство делает социально-органическую школу и наиболее интересным и наиболее опасным для нас течением в буржуазной политической экономии. Опасным и интересным потому, что ее представители, много останавливаясь на основных для марксизма проблемах (например, на проблеме соотношения производства и социальных явлений), разрешают их совершенно чуждым для него путем. Необходимо резко подчеркнуть, что правильному представлению о политической экономии, как о социальной науке, идущей от рассмотрения целого к рассмотрению его частей, придается социал-органистами совершенно идеалистический смысл. Идеализм этой школы представлен содержанием последних четырех пунктов, вырывающих непереходимую пропасть между ней и марксизмом. На этих пунктах необходимо остановиться подробнее.

Общество для всех социал-идеалистов, как качественно своеобразная целостность, не создается трудовым взаимодействием (связью) людей, как это полагают марксисты. Особенно резко эта мысль сформулирована Шпаном: «Нельзя определить песнь Нибелунгов, как миллион букв взаимодействующих в известной последовательности... точно также нельзя определить общество, государство, хозяйство, количеством людей и их взаимодействием» [1]). В несколько иной форме то же самое утверждает Петри: «Взаимные отношения частичных рабочих, представляющих составные части целостного сложного организма, еще не суть общественные отношения производства. Точка зрения, с которой мы воспринимаем процесс производства, как общественный процесс, основывается поэтому не на отношениях, в которые вступают отдельные совместно действующие частичные рабочие ради создания целого, годного к употреблению, продукта» [2]). Для Штольцмана разделение труда, также как и для Петри, не создает еще особого об'екта социальной науки. Об этом же не раз говорит и Амонн.

Если общество, как своеобразное качество, не создается трудовой связью людей, то, очевидно, для определения его есть только один путь, именно: отыскать в нем особый социальный элемент, лежащий над реальными отношениями зависимости. Как раз так и ставит проблему Штаммлер, а за ним, сознательно или бессознательно, и все социал-идеалисты. «Мы легко можем распознать,—пишет Штаммлер,—какие абстрактные элементы вообще делают возможным научное познание социальных явлений, в проти-

[1]) O. Spann, Gesellschaftslehre..., стр. 42.

[2]) Ф. Петри, Социальное содержание теории ценности Маркса, стр. 28.

положность простому изучению природы; какие именно из этих элементов конституируют социальную жизнь, как особый предмет нашего познания»[1]). Такая постановка проблемы в корне ошибочна. Общество для марксиста не состоит из рядов различной природы, для него все проявления социальной жизни представляют из себя качественно однородные социальные феномены. Поэтому попытка определения общества путем нахождения в нем особого социального элемента, заранее должна быть признана несостоятельной.

Но какие же элементы создают по мнению социал-органистов общество, как особый об'ект нашего познания? На этот вопрос они отвечают различно. Амонн и Штольцман видят их во внешних нормах (безразлично правовых или конвенциональных), Петри в правовых отношениях, Шпан в «об'ективном духе», иначе в «духовном сообществе». Штольцман бесчисленное количество раз подчеркивает, что «сущность общества состоит в урегулированных отношениях людей»[2]). Для Амона «отличие социально-научных проблем от несоциально-научных лежит в социальной обусловленности первых»[3]). «Эта обусловленность состоит в определенном внешнем порядке социального общения (который мы называем организацией), который дан обществом или через посредство общества, точно установлен или молча признан и имеет либо правовой, либо конвенциальный характер»[4]). «Общественные отношения производства,—пишет Петри,—суть отношения между людьми, как суб'ектами, они суть тот способ, посредством которого люди, как суб'екты права, вступают в основанном на разделении труда процессе производства во взаимные отношения, а сферы их свободной деятельности взаимно ограничиваются и обуславливаются»[5]).

По мнению Шпана, «общество по своей сущности есть целостность. Основа (Kern) этой целостности лежит в духовном сообществе... Сущность и источник человеческого общества лежит в духовном сообществе»[6]).

Несмотря на различие у социал-органистов взглядов относительно элемента, создающего своеобразие общественной жизни, с методологической стороны между ними в данном случае нет расхождений: общество, утверждают они все, создается особым феноменом, лежащим над реальными отношениями зависимости людей.

Определение общества через нечто, лежащее над его действительным основанием, приводит социал-органистов в разрыву единого потока социальной жизни на два принципиально отличных друг от друга ряда, именно, на ряд чисто-технический и ряд чисто-социальный. В особенно резкой форме этот разрыв выступает у Амонна. В своей работе «Objekt und Grundbegriffe der theoretischen Nationalökonomie», он многократно подчеркивает, что социальные явления, изучаемые политической экономией, не включают в себя производственных моментов и даже совершенно от них независимы. «Они выступают там, где о «хозяйственной производственной деятельности» не может быть никакой речи. Может быть «хозяйственное производство» без данных социальных отношений и обратно—мыслимы данные социальные отношения без того, что было налицо производство, в полной

[1]) Штаммер, «Хозяйство и Право», т. I, стр. 15.
[2]) R. Stolzmann, Die Kritik des Objektivismus und seine Verschmelzung mit Subjektivismus zur sozialorganischen Einheit, «Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik», III T., 49 Bd., стр. 173.
[3]) A. Amonn, Objekt..., стр. 173.
[4]) Там же, стр. 186.
[5]) Ф. Петри, Социальное содержание теории ценности Маркса, стр. 29—30.
[6]) O. Spann, Gesellshaftslehre..., стр. 509.

стракции и независимо от какой-либо производственной деятельности»[1]). Однако основным в теории Амонна о соотношении производства и социального является не то, что «хозяйственная деятельность» и явления, изучаемые политической экономией, не связаны друг с другом, а то, что производство и социальное принадлежат к двум самостоятельным рядам[2]). Поэтому, если бы Амонн даже и признал между этими рядами наличие связи, то в его построениях не произошло бы существенных изменений.

Понимание производства и реальной связи людей, как категорий технико-психологического порядка, а социальных явлений, как призрачных форм—обще всем социал-органистам. Так, Петри пишет: «Рассмотрение совместного действия людей в процессе труда—будь то просто кооперация или разделение труда—находится также еще исключительно в царстве технического[3]). «В общественных отношениях производства находят свое выражение не реально причинные отношения вещей или людей, как об'ектов, а идеальные отношения людей, как суб'ектов, т.-е. известное отношение их свободных сфер деятельности по отношению друг к другу. Общественное отношение производства с формальной стороны следует мыслить по типу правового отношения, а не реального отношения зависимости»[4]). У Штольцмана—из'ятие из производства всего социального, а из социального—производства, нашло выражение в противопоставлении натуральных и социальных категорий, иначе—в противопоставлении материи и формы общества. Натуральными категориями для него являются трудовые связи людей, их техника, отношение к внешней природе и их психика. «Натуральные категории,—пишет он,—охватывают естественно-технические, индивидуально-психологические условия, которые называют постоянными (constant) и «вечными», так как они образуют неизменный предмет, материю всех хозяйственных форм»[5]). Социальными же категориями у Штольцмана являются регулирующие нормы, представляющие из себя «воплощенную идею и осуществленный телос» или иначе «предметный осадок основных этических сил в их практическом действии». «В противоположность естественным факторам, которые приходится брать просто как данные и в этом смысле постоянные (constant) факторы, основные социально-этические силы создают в народном хозяйстве всеобщий переменный (variable) элемент общественных отношений, которые установлены самими людьми и так как и поскольку они являются творением людей, могут быть ими же и изменены»[6]).

Но раз социальное в хозяйстве является продуктом этических идеалов, то очевидно, что политическая экономия для Штольцмана необходимо должна иметь телеологический характер. И действительно он многократно подчеркивает, что в противоположность изучению природы социальная наука не ограничивается каузальным методом и дополняет его принципом цели. Телеологизм в той или иной форме присущ всем социал-идеалистам. Все они одинаково выступают как противники строго каузального метода в экономической науке. Шпан даже полагает, что каузальный метод есть

---

[1]) A. Amonn, Objekt..., стр. 240.

[2]) И. И. Рубин охарактеризовал соотношение материального (производственной деятельности) и социального у Амонна, как их разрыв. Нам кажется это выражение не совсем удачным. Оно может навести на мысль, что хотя производство и социальное и связаны друг с другом, но все же это вещи, принадлежащие к различным рядам. Поэтому будет, пожалуй, более правильным говорить не об отрыве производства от социального у Амонна, а о выхолащивании из социального его содержания.

[3]) Ф. Петри, Социальное содержание теории ценности Маркса, стр. 27.

[4]) Там же, стр. 28.

[5]) R. Stolzmann, Der Zweck..., стр. II.

[6]) Там же, стр. 79. Перевод взят из книги Рубина, Современные экономисты на Западе.

обратная сторона индивидуализма. Поэтому, защищая идею целостности, как основную идею всякой социальной науки, он категорически отвергает возможность и естественно-научных общественных законов. У Петри телеологизм более тонкий, чем у Штольцмана и Шпана. Он сторонник гносеологического телелогизма Риккерта. Последний делит все науки на генерализирующие (науки о природе) и индивидуализирующие (науки о культуре). По мнению Риккерта, науки первого типа изучают неизменные, повторяющиеся явления и путем их анализа устанавливают законы, науки же второго типа имеют своим об'ектом случающиеся только один раз, строго индивидуальные события человеческой истории и ставят своей задачей не нахождение законов, а внесение смысла в действительность, что совершается путем отнесения ее явлений к особым сверх'эмпирическим ценностям. Таким образом, риккертовские науки о культуре поставлены в зависимость от, в конечном счете, метафизических ценностей (по существу тех же этических идеалов) и имеют, несомненно, телеологический характер. Петри принимает риккертовское деление наук и рассматривает политическую экономию как науку о культуре, изучающую известную индивидуальную хозяйственную форму (капиталистическую систему) в «ее социально-ценностном содержании». У Петри, поэтому, мы имеем очевидное телеологизирование политической экономии, но в несколько иной форме, чем у Штольцмана. При первом знакомстве с Амонном может создаться впечатление, что он придерживается строго каузального метода, ибо он не раз отмечает, что теоретическая экономия принципиально не отличается от естественных наук. Это впечатление об'ясняется тем, что Амонн, разделяя риккертовское деление наук, считает теоретическую национальную экономию генерализирующей наукой. Телеологизм он вносит только в науку о народном хозяйстве, в которой, по его мнению, господствует индивидуализирующий метод. В этой науке, полагает Амонн, исследователь получает «каузальные ряды, установленные с целевой точки зрения, «ориентирующиеся на целевую точку зрения и телеологически направленные» [1]).

Социологический фундамент построений Амонна, Петри, Штольцмана и Шпана достаточно своеобразен. Это позволяет нам об'единять их в особую школу. Так как разобранные исходные положения этой школы или диаметрально противоположны исходным положениям австрийцев или не совпадают с ними, то уже одно это лишает нас возможности констатировать единство теоретических предпосылок работ буржуазных экономистов. Более того, социально-органическая школа, вопреки тов. Блюмину, вносит резкий диссонанс в экономическую мысль Запада, ибо она подрывает самые устои (методологические и социологические) суб'ективизма. Как иллюстрацию этого диссонанса можно привести следующий отрывок из «Der Zweck» Штольцмана: «Представители австрийской школы исходят от отдельной индивидуально-психической оценки, производимой хозяйственным суб'ектом по поводу случайно данного блага, они идут от атомов к целому, которое таким образом рассматривается как их (атомов) «результанта». Я же иду обратной дорогой. Я иду от целого к частям и рассматриваю последние как органически (т.-е. целым. *Л. Н.*) обусловленные (beeinflust) члены» [2]). Эту фразу любопытно сопоставить с утверждением т. Блюмина, что «все возражения, которые Штольцман выдвинул против австрийской школы, направлены против индивидуалистических крайностей австрийцев, а не против общей социологической и теоретико-экономической доктрины суб'ективной

---

[1]) A. Amonn, Grundzüge der Volkswohlstandslehre, стр. 146.
[2]) R. Stolzmann, Der Zweck..., стр. 245.

школы [1]). Остается только спросить т. Блюмина, что из себя представляет возражение против основ теории предельной полезности.

Тов. Блюмин утверждает, что в буржуазной политической экономии налицо единство и отсутствие противоречий как в отношении теоретических предпосылок, так и в отношении положительной трактовки экономических проблем. Первая половина его утверждения оказалась, как мы видим, неверной; рассмотрим теперь вторую половину.

Для подтверждения своего вывода о том, что в немарксистской экономической науке по существу господствует единая теоретическая концепция, т. Блюмин ссылается на то, что социал-идеалисты в целом ряде существенных пунктов своих систем приближаются к психологистам. Защита т. Блюминым своего положения неубедительна уже по той причине, что построения Штольцмана не могут быть признаны сколько-нибудь родственными теории предельной полезности. Тов. Блюмин как будто соглашается с этим, но полагает, что если между суб'ективистами и Штольцманом мало точек соприкосновения, то причина этого лежит в недоработанности его экономической теории. Это неверно. Экономическая система Штольцмана вполне определенна и ни в коем случае не является незаконченной. Лучшим доказательством этого будет даже очень краткое изложение сущности его взглядов на основные проблемы политической экономии.

Штольман придерживается довольно распространенного в буржуазной экономической науке мнения, что первичным является не стоимость, а доходы. Величина стоимости, таким образом, определяется величинами доходов участников производства, почему и должна рассматриваться, как простой посредник распределения. Но от чего же зависят размеры доходов? Начнем с заработной платы. Ее величина обусловлена правами и обычаями рабочих, их организованностью, общественным мнением, наконец, вмешательством сильной руки государства. Все эти моменты об'единяются Штольцманом под названием «социально-нравственные явления», и он много раз подчеркивает, что именно они, а не естественные моменты (физически необходимый минимум, урожай, производительность труда и пр.) определяют размеры дохода рабочего класса. От «социально-нравственных» моментов зависит и норма прибыли. «Высота прибыли совершенно аналогично заработной плате определяется исторически меняющимися социально-органическими факторами, общей высотой культуры, образованием капиталистического класса, соединением капиталистов в союзы, картели и пр., так же молчаливо признанной солидарности, наконец, всеми возможными государственными (таможенно-политическими) воздействиями и требованиями» [2]). Полагать, как это делали классики, что движение заработной платы и нормы прибыли антагонистично—ошибочно. «Прибыль капиталиста изменяется параллельно ей как первоначальная (urwüchsige) и самостоятельная величина» [3]).

«Социально-нравственные явления» выражают собой обуздание конкуренции. Поэтому, чем более она ограничена, тем выше доходы, и наоборот. В случае господства ничем не стесняемой конкуренции размеры заработной платы и нормы прибыли совпадают с физическим минимумом необходимого для поддержания жизни обоих основных классов современного общества. Приблизительно такое положение и было налицо в начале либеральной эры, когда конкуренция не была заключена в рамки обычая и закона. Но как только разрушительной силе конкуренции оказалось противопоставленным

---

[1]) «Проблемы Экономики» № 1, стр. 245.

[2]) R. Stolmann, Der Zweck..., стр. 416—417.

[3]) R. Stolzmann, Teoretischen Grundfragen zum Problem Freihandel und Schutzzoll, стр. 23.

государство и об'единения всякого рода, тогда и заработная плата и прибыль поднялись вверх.

«Социально-нравственные явления», от которых зависят размеры доходов, включены в понятие внешнего регулироваия. Поэтому следует сказать, что последнее звено цепи: стоимость — доходы — регулирование, — является определяющим фактором для двух предыдущих звеньев. «Так как распределение следует из факта народно-хозяйственного регулирования, то нельзя миновать вывода, что регулирование, распределение и стоимость стоят друг к другу в отношении логически замкнутой цепи, члены которой взаимно обусловливают друг друга. Другими словами: если распределение есть только целевая функция регулирования, стоимость же понимается как социально органический посредник распределения, то и стоимость и распределение послушны третьему, именно регулированию и его целям» [1]).

Из этого, крайне беглого, изложения наиболее важных моментов экономической концепции Штольцманом достаточно отчетливо видно, что если его система недоработана, то только в деталях, в основном же она вполне закончена и определенна. Насколько определенны взгляды Штольцмана на основные проблемы политической экономии, показывает, хотя бы, то, что они могут быть выражены в одной исчерпывающей ясной фразе: стоимость определяется доходами, а последние зависят от внешнего регулирования.

Тов. Блюмин считает, что экономический суб'ективизм характеризуется следующими четырьмя особенностями: «а) учением о монопольных ценах; б) учением о доминирующей роли спроса и предложения; в) учением об экономическом атомизме и г) учением о суб'ективных факторах, влияющих на цены» [2]). На основани сказанного о Штольцмане не трудно заключить, что ни один из этих моментов не характеризует его систему. Поэтому следует признать, что построения Штольцмана представляют собой нечто своеобразное и отличное от построений австрийцев. Уже один этот факт делает неверным утверждение т. Блюмина, что сторонники социального метода лишь обновили некоторые моменты экономической теории, сохранив в неприкосновенном виде всю ту концепцию, которая нашла свое выражение в работах экономистов вульгарной и суб'ективной школ.

Но предположим, что Штольцмана не существует. Будет ли тогда правильно это утверждение т. Блюмина? Очевидно, оно будет правильно только в том случае, если трактовка основных экономических категорий Амонном, Петри, Шпаном совпадает со взглядами психологистов. Из разбора этих авторов т. Блюминым может создаться впечатление, что именно так и обстоит дело с собственно экономической частью их работ. Однако такой взгляд на построения этих авторов был бы ошибочным, что и покажет краткое воспроизведение костяка их систем.

Начнем с Амонна. По его мнению, существуют две экономические науки: теоретическая национальная экономия и наука о народном благосостоянии. Из теоретической национальной экономии психологизм полностью изгнан. Эта наука имеет своим предметом социальные формы отношений людей, возникающих как результат «индивидуалистической организации общения» [3]), представляющей из себя систему определенных норм. Об'ект познания политической экономии есть своеобразная форма и вид, которые

[1]) R. Stolzmann, Die Kutik des Objektivismus etc., «Jahrbücher fur Nationalökonomie und Statistik», III T., Bd. 49, стр. 197.

[2]) И. Блюмин, Суб'ективная школа в политической экономии, стр. 27.

[3]) Индивидуалистическая организация общения характеризуется, по Амонну, следующими четырьмя моментами: 1) признание власти индивидуумов распоряжаться внешними об'ектами, 2) признание свободного обмена этих об'ектов, 3) признание свободного определения количественных пропорций обмена, 4) признание всеобщего мерила стоимости (см. Objekt..., стр. 194).

получают социальные отношения в этой всеобще определенной организации социального общения» [1]). Производство для Амонна не имеет никакого отношения к явлениям, интересующим теоретическую экономию. Об'ект последней оказывается поэтому совокупностью призрачных абстракций, лишенных всякого содержания. Неудивительно поэтому, что и все категории теоретической экономии оказываются у Амонна «пустыми» формами, описанием которых и занимается созданная им дисциплина.

Наукой о народном благосостоянии Амонн называет дисциплину, изучающую природу и условия народного благосостояния. Ее об'ектом является (фактически) материальный процесс производства. Экономические категории в этой науке — также явления вещного характера.

Таким образом, вместе с удвоением науки, изучающей экономическую действительность, у Амонна удваиваются и все экономические категории. Так, цена (стоимость) в теоретической экономии есть абстрактное понятие, представляющее из себя не число реальных благ, а сумму идеальных и непосредственно всем понятных единиц, как-то: марка, гульден, франк и т. д.[2]). Совершенно иное представляет собою цена в науке о народном благосостоянии. В этой науке цена выступает просто как масса реальных денег, полученных в обмен на какое-либо благо [3]). Деньгами в теоретической экономии является средство выражения цен — по своей природе чисто-мыслительное представление, живущее в сознании всех суб'ектов обращения и несвязанное необходимо с денежным материалом [4]). Деньгами же в науке о народном благосостоянии оказываются материальные блага, служащие в качестве всеобщего орудия обмена [5]). Соответственно и понимание денег в обеих науках Амонн в теоретической экономии номиналист, а в науке о народном благосостоянии — количественник. В последней, далее, капитал трактуется как средства производства (за исключением земли), находящиеся в процессе производства [6]). Эта же категория в теоретической экономии—идеальная распорядительная сила, хотя реально и связанная с материальными вещами, но мысленно от них отделимая [7]).

Создав науку, изучающую вещи, точнее отношение вещей к человеку (богатство), Амонн сделал ее убежищем психологизма, изгнанного из теоретической экономии. Стоимость, например, в первом разделе «Основ науки о народном благосостоянии» трактуется совершенно в духе теории предельной полезности.

Удваивание политической экономии налицо и у Петри. Об'ектом политической экономии № 1 он так же, как и Амонн, делает чистые социальные формы. Именно, Петри полагает, что политическая экономия изучает производственные отношения, которые понимаются им не как реальные отношения зависимости, а как идеальные отношения людей в качестве правовых суб'ектов. Дав такое определение предмета политической экономии, Петри вполне последователен, отрицая, что она ставит своей целью каузальное об'яснение действительности. Тут он гораздо логичнее, чем Амонн. Последний, определив об'ект теоретической экономии, как совокупность призрачных форм, все же утверждает, что эта наука ничем не отличается от какой-либо естественной науки. Но ведь ясно, что если какая-либо теория занимается исключительно бессодержательными формами, то она не в со-

---

[1]) A. Amonn, Objekt..., стр. 202.
[2]) Там же, стр. 319.
[3]) A. Amonn, Grundzüge..., стр. 146
[4]) A. Amonn, Objekt..., стр. 339.
[5]) A. Amonn, Grundzüge..., стр. 144.
[6]) A. Amonn, Objekt..., стр. 371.
[7]) A. Amonn, Grundzüge..., стр. 44.

стоянии установить какие-либо закономерности. Петри избегает этого противоречия Амонна, полагая, что политическая экономия № 1 имеет своей целью не каузальное об'яснение экономических явлений, а внесение «смысла» в действительность и восприятие ее в ее «культурном значении» [1]).

На ряду с политической экономией № 1 у Петри существует другая наука (на которой он подробно не останавливается), ставящая своей задачей об'яснение пропорций обмена. Эта наука не является социальной дисциплиной и в ней царствует потребительная стоимость, а следовательно, и психологизм. «Для анализа, имеющего своей целью только каузальное об'яснение меновых зависимостей, все доходы суть явления цены; их особенности сводятся к материальному характеру условий производства, рассматриваемых в качестве источников дохода, и их роли в процессе труда. Рента выступает с этой точки зрения, как цена услуг земли, прибыль указывает на цену производственных средств производства, заработная плата есть цена третьего технического фактора производства—труда. С точки зрения, стремящейся к об'яснению явлений обращения и обмена, доходы принимаются во внимание лишь как явления цены, материально, т.-е. соответственно их роли в техническом процессе производства различных товаров. Здесь царство потребительной стоимости. Но если такая точка зрения законна для чисто-теоретического об'яснения феноменов цены, то она ровно ничего не дает для социального понимания этих же явлений цены» [2]).

Положительная концепция Амонна и Петри не стоит в противоречии с их исходными методологическими пунктами. В самом деле, если общество состоит из двух самостоятельных и принципиально различных рядов: производственно-технического и социального,—то каждый из них в отдельности может быть сделан об'ектом особой науки. Так как ряд социальный лежит над индивидуумами и не выводим из них (в противном случае он не был бы самостоятельным рядом), то наука, его изучающая, необходимо должна иметь антипсихологический и антииндивидуалистический характер. Что же касается науки, имеющей своим предметом реальные взаимодействия индивидуумов с природой и друг с другом, то тут в положениях сторонников социального направления нет никаких препятствий для господства индивидуума, потребительной стоимости и теории предельной полезности [3]). Из теоретических предпосылок социал-идеалистов, таким образом, могут быть развиты положительные системы, с одной стороны примыкающие ко взглядам экономистов суб'ективной и вульгарной школы, с другой—необходимо выступающие как антагонисты этих школ.

Как же об'яснить тот факт, что сторонники социального метода пошли в целом ряде пунктов по пути австрийцев? Тов. Блюмин пытается ответить на этот вопрос. По его мнению данный факт об'ясняется тем, что социал-идеалисты по существу ничем не отличаются от австрийцев и лишь дополняют их, давая социальное обоснование их взглядов. «Если мы сопоставим теории сторонников социального метода с одной стороны и теории разных течений суб'ективной школы (австрийцев, математиков, англо-американцев), то увидим, что эти теории не противоречат друг другу, а скорее дополняют друг друга. Сторонники социального метода принимают все выводы суб'ективистов в области законов количественного изменения эконо-

[1]) Петри, Социальное содержание теории ценности Маркса, стр. 88.

[2]) Там же, стр. 54—55.

[3]) Штольцман тоже считает, что теория предельной полезности дает анализ материи социальной жизни (т.-е. производственно-технического ряда), познание которой совершенно необходимо для экономической науки. Но это «признание» австрийцев остается у Штольцмана словами.

[4]) «Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik», III T., 68 Bc.

мических категорий, дополняя эти выводы исследованием отдельных качественных особенностей данных категорий»[1]).

Взгляд, что экономисты, принадлежащие к социальному направлению, лишь дополнили австрийцев, не может быть признан верным. Хорошо дополнение, которое отвергает основные положения дополняемого. А ведь социал-идеалисты в методологической части своих работ начисто отвергают основы экономического суб'ективизма. Далее, качественным определением экономических явлений, они отвергают и качественную и количественную стороны экономических категорий австрийцев. Поэтому следует сказать, что социал-идеалисты не дополняют австрийцев, а берут напрокат из их реквизита необходимые для себя элементы[2]), при чем это позаимствование не обязательно, что показывает система Штольцмана.

Причины заимствования социал-идеалистами некоторых частей систем австрийцев заключаются в следующем: определение величины экономических категорий мыслимо тремя, не считая эклектизма, способами: во-первых, исходя, из труда, во-вторых, исходя из индивидуальных моментов, в-третьих, исходя из правопорядка. Возможность выведения величины стоимости из трудовой деятельности людей для сторонников социального метода закрыто. Труд для них не конституирует общество. Для социал-идеалистов остается поэтому либо утверждать, что правопорядок обуславливает и количественную и качественную стороны экономической категории, либо капитулировать в определении величины экономических категорий перед австрийцами. Штольцман выбрал для себя первый путь. Амонн и Петри (а также Диль, которого мы не касаемся) — второй.

Утверждая, что социал-идеалисты кое-что заимствуют у австрийцев, мы подразумеваем под этим то, что они взяли у последних готовыми некоторые части их построения. Однако допустимо, что социал-идеалисты построили бы те же самые системы, не имея никакого представления о работах суб'ективистов. Дело в том, что исходное социологическое положение сторонников социального метода дает возможность прийти к взгляду, что величина экономических категорий зависит от суб'ективных моментов. Именно из положений, что общество представляет собой продукт взаимодействий натуральных и социальных категорий (в число первых входят индивидуальные моменты), вполне можно сделать тот вывод, что экономические феномены есть результат действия социальных и индивидуальных сил.

Это с одной стороны. С другой стороны, социал-идеалисты, определяя величину экономических категорий в согласии с австрийцами, несомненно противоречат своим исходным утверждениям. Все социал-идеалисты в той иной форме утверждают, что общество есть целое, определяющее свои части. Но, делая величину ценности зависимой от индивидуальных моментов, они тем самым рассматривают буржуазное общество как псевдо-целое, т.-е. как целое, определяемое своими частями.

Однако нет ли в наших замечаниях некоторой неувязки? Мы одновременно с утверждением, что социал-идеалисты, капитулировав в определении величины стоимости перед австрийцами, впали благодаря этому в противоречие со своими исходными положениями, пишем, что суб'ективизм сторонников социального метода гармонирует с их общими теоретическими предпосылками. Эта несогласованность только кажущаяся. Основные социологические положения социал-идеалистов внутренне противоречивы и исклю-

[1]) «Проблемы экономики» № 1, стр. 88.

[2]) Приблизительно аналогичные взгляды развивает также тов. Пашков в своей интересной и содержательной статье «Социально-экономические корни австрийской школы» («Проблемы экономики» № 9).

чают друг друга. Поэтому с одной стороны суб'ективизм является возможным выводом из них, а с другой стороны он противоречит ряду положений, положений пропедевтики политической экономии социал-идеалистов.

Шпанн также в целом ряде решающих пунктов близко подходит к взглядам теоретиков предельной полезности. Это относится особенно к его работе «Fundament der Volkswirtschaftslehr». Однако в своих последних статьях он отказывается от ряда развитых ранее им положений и резко отходит от психологизма. «Менгер и его ученики,—пишет Шпан в статье «Gleichwichtigkeit gegen Grenznützen», — сознательно исходит из хозяйственного суб'екта и исследуют его духовные явления, ведущие к ценностным оценкам. Эта точка зрения для нас не приемлема уже как индивидуалистическая и атомистическая. Кроме того, она неприемлема и как психологическая, так как психология не есть учение о хозяйстве и она никогда не может дать об'яснения хозяйства» [1]). Данное заявление не осталось у Шпана только на словах. Исследуя проблему ценообразования, он отвергает основное положение теории цены австрийцев, что потребительные стоимости (полезности) соизмеримы. Для Шпана «величина услуг (Leistungen) и полезностей, несоизмерима» [2]). Это положение, понятно, означает отказ от выведения цены из оценок ,индивидуума, как это делают теоретики предельной полезности. Порвав с психологистами, Шпан попытался построить теорию ценообразования на совершенно других основаниях, чем они, а именно, исходя от целого, а не от части. Хозяйство, по мнению Шпана, представляет из себя своеобразную целостность и все его явления могут быть поняты только в том случае, если исходят от этого целого. Но раз хозяйство есть целостность, то отдельные отрасли производства находятся в строгом соответствии друг с другом. Выражением этих соответствий (пропорциональностей) и является цена. Так, если предположить, что народное хозяйство состоит из 2 обменивающихся между собой отраслей (А и В) и если условия пропорциональности таковы, что на 10 единиц товара А приходится 100 единиц товара В, то цена А будет равняться 10 В. Или, как пишет Шпан: «от доменных печей зависят прокатные заводы, от прокатных заводов зависит производство мелких металлических изделий, производство машин и пр. Прокатные заводы находятся по отношению смежных отраслей промышленности в совершенно определенном отношении. Это отношение есть первичное, цена же есть простое выражение, простой показатель (экспонент) предметных народно-хозяйственных пропорциональностей» [3]). Изменение пропорциональностей означает по Шпану и изменения их показателя, т.-е. цены.

Новая теория ценообразования Шпана разработана недостаточно полно, в ней много незаконченного и неясного; можно даже, при желании, обнаружить в ней ряд несогласованностей и остатков психологизма [4]). Но

---

[1]) Там же, 68 Bd., стр. 291.

[2]) Там же, стр. 312.

[3]) Там же, стр. 294.

[4]) Несогласованности и психологические моменты, содержащиеся в новой теории ценообразования Шпана, прекрасно показал Штольцман в своей статье: «Ganzheitslehre O. Spann» («Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik», III T., 72 Bd.). Штольцман, однако, сильно преувеличил близость Шпана к австрийцам. Так, напр., он считает, что отношения зависимости и соответствия отраслей производства, из чего Шпан выводит цену, представляют из себя явления технического (в широком смысле) порядка. Поэтому, заключает Штольцман, у Шпана цена оказывается выведенной из натуральной категории, что как раз и характерно для австрийцев. Рассуждая подобным образом, можно и Маркса сблизить с психологистами. Это Штольцман и делает в своем об'емистом труде «Der Zweck in der Volkswirtschaft». Именно он указывает, что Маркс всю свою систему политической экономии построил из натуральной категории (труд) и таким образом поступил согласно с австрийцами и вульгарными экономистами.

тем не менее ясно, что Шпан пытается вывести цену не из отношения индивидуума к потребительной стоимости, как это делают австрийцы, а исходя из целого (общественного хозяйства) и соответствия его частей (отрасли производства). Поэтому следует сказать, что основы теории цены Шпана и направление ее развития далеки от теории предельной полезности. Это же означает ошибочность утверждения тов. Блюмина, что между Шпаном и австрийцами нет существенных различий.

Отрицая, что сторонники социального метода составляют самостоятельную школу, расходящуюся с теорией предельной полезности, т. Блюмин вполне последовательно считает, что социал-идеалисты не знаменуют своим существованием кризиса австрийской школы. О последнем, по мнению тов. Блюмина, свидетельствует только возросшее влияние непоследовательного психологизма (математическая и англо-американская школа). Оставляя в стороне вопрос о том, в какой мере рост значения математической и англо-американской школы является симптомом разложения теории предельной полезности, необходимо отметить, что кризис последней заключается также и в том, что социал-органисты показали несостоятельность самых существенных ее положений.

Социально-органическую школу необходимо рассматривать даже как выражение кризиса не одной только австрийской школы, но и вообще буржуазной политической экономии. Это следует: 1) из того, что социал-органисты отвергли строго-каузальный метод об'яснения экономической действительности и тем самым отказались от ее рационального познания, 2) из того, что социал-органисты, выступая под знаменем об'ективизма и социального метода, оказались не в состоянии совершенно изгнать суб'ективизм за пределы экономической науки и поэтому были вынуждены или дублировать экономию, или же допустить в свои системы сверхчувственные категории, как это сделали Штольцман и Шпан.

Социал-органисты, соединив вместе суб'ективизм и об'ективизм, в то же самое время довели до крайнего напряжения противоречие между ними. У Амонна и Петри эта напряженность выражается в сосуществовании двух экономических наук, в одной из которых царствует психологизм и вульгарная экономия, в другой же социальная точка зрения. Что касается Штольцмана, то про него можно сказать, несколько изменяя слова И. Рубина, следующее: Штольцман настойчиво, неутомимо с бесконечными повторениями на каждой странице своего об'емистого труда убеждает читателя повернуть свои глаза в сторону социального характера экономических явлений, но, когда читатель готов следовать за автором, Штольцман показывает ему сверхчувственную личность и нравственную свободу.

Когда настоящая работа уже была написана, вышла статья тов. Бухарина «Некоторые проблемы современного капитализма у теоретиков буржуазии» («Правда» № 118). Выдержку из нее мы приведем вместо заключения. «Индивидуалистическая до мозга костей «австрийская» теоретическая экономия умерла,—пишет тов. Бухарин.—Она уже не воскреснет. Происходит новый глубокий поворот в теоретическом сознании буржуазии, поворот, который сам вырастает на почве изменения в структуре современного капитализма... Связанное хозяйство современного капитализма должно было убить старые теоретические представления о предмете экономической науки. Более того, оно должно было поставить в центре в той или иной форме учение о «целом», «целокупности», «единстве» (ср., напр., также так наз. «Gestalttheorie»). Вот почему происходит методологический поворот и перемещение логического центра тяжести и в экономических исследованиях»[1].

---

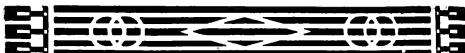
[1]) Замечания Н. Бухарина о новейших тенденциях в современной буржуазной политической экономии обладают некоторыми пробелами. Н. Бухарин не от-

Тов. Блюмин происходящий глубокий поворот в теоретическом сознании буржуазии, выразившийся в работах авторов, принадлежащих к социально-органической школе, упорно не хочет замечать[1]). Тем самым тов. Блюмин не обращает необходимого внимания на нового врага марксизма, более опасного, чем австрийцы или вульгарные экономисты. А просмотреть опасного врага — это значит сделать его еще опаснее.



мечает: 1) что понятия «целого», «целокупности» и пр. у теоретиков буржуазии приближаются к марксизму только внешне и формально, по существу же ему противоположны, и 2) что новейшим буржуазным экономистам не удалось полностью изгнать индивидуализм из экономической науки.

[1]) Нам представляется, что в появлении работ сторонников социального метода нельзя видеть симптома какого-то перелома в теоретической экономии буржуазии (И. Блюмин, К вопросу о кризисе австрийской школы, «Проблемы Экономики» № 1, стр. 100).



Конец одной легенды.

Зомбарт и Маркс.[1]

И. Альтер.

1.

Нет среди буржуазных экономистов писателя, который бы чаще говорил о Марксе, громче его восхвалял, больше его рекламировал, теснее связывал с ним свою научную деятельность, чем Зомбарт. Нет такой проблемы и такого понятия в политической экономии, которые у Зомбарта не были бы отмечены печатью Марксова «Капитала», ссылками на него, заимствованиями из него.

Послушать Зомбарта, Маркс—гениальнейший из экономистов, а он—Зомбарт—его скромный ученик и последователь, лишь завершающий дело своего великого учителя. Что их отличает это лишь различие эпох, «в которые мы писали наши книги», различие исторического опыта и фактического материала, которыми каждый из них мог пользоваться. Естественно, поэтому, заверяет нас «ученик», что Маркс мог сказать о капитализме лишь «первое гордое слово», в то время, как он, Зомбарт, в состоянии произнести об этой хозяйственной системе и «последнее слово».

Но доверьтесь дальше нашему «скромному» профессору—и вы вскоре услышите, что он превзошел Маркса и в об'ективности, и в научности. Если Маркса можно считать величайшим оптимистом, который «в глубине души любил капитализм», то он, Зомбарт, ясно видит его закат и смело признает, что капитализм не оправдал возлагавшихся на него Марксом надежд и упований. Таков путь от Марксовой «утопии» к Зомбартовской «науке». Остается пожалеть, что мы столько лет зря потеряли на изучение «Капитала» и сразу не взялись за «Современный капитализм».

Одно несомненно: многолетняя «привязанность» к Марксу, многолетние дифирамбы, воспеваемые ему знаменитым немецким профессором, подкупали и продолжают до сих пор подкупать в его, Зомбарта, пользу не одного марксиста. Не так давно в рецензии на III том «Современного капитализма» тов. Варга писал о «марксизме (без кавычек. *И. А.)*, положенном в основу книги Зомбарта»[2]). «Зомбарт дает до некоторой степени марксистскую картину развитого капитализма», и «только оппортунистические мотивы заставляют Зомбарта сознательно отказаться от необходимых выводов марксизма, которые он сам определяет как основу своих воззрений». Итак, если тов. Варга и вынужден дальше несколько сбавить свой восторг и заявить, что «книга Зомбарта является искаженным марксизмом», то причину этому он находит повидимому лишь в зомбартовском оппортунизме, в боязни Зомбарта разоблачить себя перед своими буржуазными коллегами, потерять

---

[1]) К выходу «Современного капитализма» на русском языке.

[2]) Варга, Хозяйственная жизнь в эпоху развитого капитализма, «Экономическая Жизнь». 1927 г. № 163.

свое высокое положение в мире буржуазных ученых. По Варге выходит, что Зомбарт не кто иной, как скрытый марксист, искажающий свой являющийся его внутренним убеждением марксизм в угоду общественному буржуазному мнению. Зомбарт Варги предстоит перед нами в виде нового Спинозы, вынужденного условиями эпохи скрывать под религиозной оболочкой свой материализм.

«От вульгарных экономистов,—пишет тов. Варга,—Зомбарт отличается в следующих главных пунктах:

1. Он признает и подчеркивает, что капиталистическая хозяйственная система не является вечной категорией, но представляет собой исторически данный неповторяемый хозяйственный строй, носящий временный характер.

2. Он признает, что высшая точка в развитии капитализма уже позади и на смену капитализму идут новые формы хозяйства.

3. В противоположность почти общепризнанной в настоящее время теории предельной полезности, не об'ясняющей по существу ни одного явления капитализма, Зомбарт стоит на почве марксистской теории ценности и прибавочной стоимости. Зомбарт дает таким образом до некоторой степени марксистскую картину развитого капитализма» [1]).

Чтобы ответить на вопрос о том, в какой степени взгляды Зомбарта действительно близки марксизму, нет, правда, никакой надобности все их подвергать подробному анализу, поочередно сличая с Марксом. Ибо прямое или косвенное влияние «Капитала» на всю послемарксовую буржуазную политическую экономию и на каждую из проблем, ею обсуждаемых в отдельности, не подлежит никакому сомнению. И если б мы на этом основании начали приближать буржуазных и мелкобуржуазных экономистов к марксизму, то скоро пришлось бы стереть вообще всякие грани между обоими лагерями. Но допустимо ли, подобно Варге, выхватив две проблемы без всякого их обоснования, присудить «Современному капитализму» имя марксистской работы?

«Капитал» Маркса—это не корзина, нагруженная проблемами, как фруктами, которые можно было бы по любому профессорскому вкусу выбирать, становясь тем самым в большей или меньшей степени марксистом. Критика Маркса представляет внутренне связанную систему, об'единенную как единой теорией стоимости и прибавочной стоимости, так и единым пронизывающим все ее части выводом о неизбежном крушении капиталистического строя и замене его социализмом.

Теория стоимости без теории крушения словно пьедестал без памятника, для которого он предназначен. Теория крушения — наиболее общее выражение внутренней диалектики капитала. Полнокровнее и полнозначнее всего проявляется она в теории кризисов, теории концентрации и теории обнищания [2]).

В них ярче и резче всего показаны присущие капитализму противоречия. Не случайно, поэтому, именно эти теории вместе с теорией крушения всегда подвергались в первую очередь обстрелу со стороны как врагов, так и мнимых друзей марксизма. Вокруг них всякий раз разгоралась борьба, когда в лагере марксизма начиналась «ревизия» его основ. С ними возятся все социал-демократические теоретики, когда им нужно «опровергнуть» ненавидимый ими большевизм. Они являлись первой мишенью, на которой изме-

---

[1]) Там же.

[2]) Теория крушения включает в себя как экономические, так и политические противоречия капитализма. Чисто-экономическое толкование этой теории свойственно ревизионистам и следующим за ними Зомбартом. Оно встречается и в последней работе Гроссмана: «Das Akkumulatoins - und Zusammenbruchstheorie des kapitalistischen Wirtschaftssystems» (Leipzig 1928). Оно совершенно чуждо подлинному Марксу, хотя и облегчает задачу «критики».

рял свои молодые силы и зарабатывал свои научные чины каждый начинающий доцент. И эти именно теории стоят также поперек пути и всякого зрелого буржуазного профессора, когда он пытается построить собственную экономическую систему.

Когда Макс Вебер напутствовал в 1918 году австрийских офицеров, вооружая их на борьбу с поднимающим голову в австрийской армии и в стране большевизмом, то он ничего большего и лучшего не мог выдумать, чем критику этих именно четырех «аргументов», которые он признал «опровергнутыми» и «наукой», и жизнью [1]). И точь-в-точь так же действует десять лет спустя один из оппонентов Зомбарта—Артур Файлер (на докладе в Цюрихе в 1928 г.), пожелавший отмежеваться от марксизма и оправдать великое будущее капитализма.

«Этому факту (что капитализму принадлежит будущее. *И. А.*),—говорил Файлер,— противостоит факт существования религии, именуемой марксистским социализмом. Религия эта продолжает существовать, не взирая на то, что ее учение опровергнуто фактами, ибо прогноз этого учения: прогрессирующее обнищание рабочих масс, прогрессирующее сосредоточение богатств у все более узкого круга капиталистов, дальнейшее обострение экономических кризисов, наконец — неизбежная катастрофа капитализма, не сбылись и не сбудутся» [2]).

В борьбе с марксистской религией, в выборе основных пунктов нападения на марксизм «марксист» Зомбарт не проявляет никакой особой оригинальности, следуя по давно проторенной дорожке буржуазной и мелкобуржуазной критики. Во всех своих работах, включая и настоящий том «Современного капитализма», он последовательно борется с этими теориями Маркса.

Исходя из гармонического представления о накоплении и реализации капитала («прогрессирующее накопление не может создать для капитализма никаких затруднений в сбыте») и из отрицания Марксовых положений о недопотреблении и перепроизводстве, Зомбарт отвергает и Марксову теорию кризисов. Кризисы по Зомбарту — скорее отражение капиталистического полнокровия и тенденции к под'ему, чем раздирающих капитализм противоречий. Кризисы способствовали не гибели капитализма, как думал Маркс, а, наоборот, «созиданию и сохранению капитализма» [3]). В эпоху развитого капитализма, когда происходит стабилизация кон'юнктуры, кризисы постепенно слабеют и исчезают. Развитой капитализм может существовать и без кризисов. Кризисы преодолеваются благодаря рационализации рынка, валютной и кредитной системы, концентрации промышленности, регулированию акционерного дела и сознательному стремлению предпринимателей к стабилизации кон'юнктуры. Эмпирические доказательства постепенного исчезновения кризисов в эпоху развитого капитализма у Зомбарта постыдно легковесны. Центр внимания он уделяет Англии, которая «свою последнюю катастрофу крупных размеров переживала в 1857 г.» [4]), замалчивая кризисы в САСШ, стране наиболее развитого капитализма. Чтобы оправдать свою «теорию», он должен был «забыть» о кризисе в Англии в 1921 г. и вынужден будет также «не заметить», происходящего в настоящее время кризиса в САСШ. Величайшие же потрясения эпохи мировой войны и революции он совсем устраняет из поля своего профессорского внимания. «Существуют, правда, строго ортодоксальные марксисты, которые теперь еще твердо дер-

[1]) M. Weber, Gesammelte Aufsätze zur Soziologie u. Socialpolitik, «Der Socialismus», Rede zur allgemeinen Orientierung von österreichischen Offizieren in Wien, 1918, Tübingen 1924, S. 506—510.

[2]) Буржуазные ученые о закате капитализма, Гиз, 1929 г., стр. 62—63.

[3]) «Современный капитализм», т. III, полутом 2, стр. 70.

[4]) В. Зомбарт, Современный капитализм, т. III, полутом 2, стр. 194.

хатся теории катастроф своего учителя и именно в мировой войне, как «величайшей и наиболее обширной по своему характеру катастрофе», усматривают подтверждение ее правильности, но с такими людьми нельзя спорить. Рассматривать мировую войну, как один из капиталистических кризисов, которые предвидел Маркс, или безумие, или бесстыдство. Ведь эти кризисы конструировались как вытекающие с внутренней необходимостью из существа капитализма. Но то, что на самом деле вырастало из капитализма, предоставленного самому себе, было, как я уже сказал, прямо противоположно предсказанному обострению кризисов. То было устранение кризисов...» [1]). Что означает этот мифический «капитализм, предоставленный самому себе», сильно пахнущий кантовской непознаваемой вещью в себе, пусть распутывают любители и поклонники зомбартовского глубокомыслия. «Аргументация» же Зомбарта против войны, как неимманентного капитализму явления, ограничивается сердитым окриком по адресу ортодоксальных марксистов. В этом случае приходится повторить за Зомбартом: «с такими... аргументами нельзя спорить».

Перейдем к теории концентрации. Зомбарт не в состоянии отрицать «мощного движения в сторону концентрации», характерного для нашей эпохи. Но ему претит связывание этой теории с «дальнейшим существованием господствующей экономической системы», что «в наиболее чистой форме мы встречаем в современной коммунистической литературе, в особенности в писаниях русских коммунистов» [2]). Это-то и толкает «об'ективного» Зомбарта к поискам «буржуазной» (кавычки Зомбарта. *И. А.)* науки о концентрации и к априорному уже, до всякого разбора фактов и аргументов, заключению, что «в существенных пунктах своей доктрины (о концентрации. *И. А.)* Маркс ошибался» [3]).

Следующие за этим факты и аргументы далеко не блещут ни оригинальностью, ни новизной, ни убедительностью. Зомбарт вытаскивает «великую» идею об оптимальных размерах предприятия, напоминает о живучести натурального и мелкобуржуазного хозяйства в домашнем производстве и ремесле, убеждает, что торговля «почти совершенно не знает тенденции к концентрации» и, гвоздь всего, решительно протестует против правомерности этой теории в сельском хозяйстве. Тут Зомбарт целиком повторяет старые песни Герца и Давида, чуть-чуть подновляя их новыми работами Чаянова и Фр. Аеребоэ. Мы вновь слышим, что капитал идет неохотно в сельское хозяйство, что там меньше действуют законы конкуренции, что там крупное предприятие не дает никаких преимуществ перед мелким, что в сельском хозяйстве нельзя проводить ни строгой отчетности, ни строгого плана, он апеллирует к действующим там «иррациональным» мотивам и пр. и пр. «Ни капитализм, ни социализм,—заключает он,—никогда не смогут полностью завоевать земледелие. От такой участи его предохраняет внутренняя природа» [4]). Вооружившись этой «внутренней природой», Зомбарт строит «грядущее экономическое освобождение крестьянства»: заявление особенно пикантное в свете проводимой нами грандиозной социалистической перестройки деревни. И здесь, еще больше чем в теории кризисов, пером Зомбарта водят чисто-классовые тенденции, не умеряемые даже заботами о какой-либо наукообразной аргументации. Как когда-то катедер-социалистам, так сегодня фашисту Зомбарту важно, чтобы буржуазная власть опиралась на сильное среднее сословие, на консервативное кулацкое крестьянство. В своих же аргументах он в лучшем случае борется с давно сданной в архив, вульгарно-упрощен-

---

[1]) Там же, стр. 194—195.
[2]) В. Зомбарт, Современный капитализм, т. III, полутом 2, стр. 313.
[3]) Там же.
[4]) Там же, стр. 520.

ческой интерпретацией марксовой теории концентрации времен до выхода «Аграрного вопроса» Каутского.

Еще проще и вульгарнее отделывается он от марксовой теории обнищания, Зомбарт повторяет свои неумные рассуждения на эту тему, изложенные им в начале века в работе, посвященной профессиональному рабочему движению [1]). Мы присутствуем, доказывал Зомбарт, при постоянном и безграничном возрастании доли рабочих в общенациональном доходе, зависимом лишь от активности профсоюзов. Это возрастание ее сопровождается никаким понижением доли капиталистов. Подобный трюк удавался Зомбарту при помощи апелляции к потребителю и его гуманным чувствам, в частности к особому роду потребителя в лице благородных невест, охотно переплачивавших на своем приданом лишние 500 марок, чтобы покрыть повышение платы бедных швей. Кстати, слабость Зомбарта к женщине, как важнейшему из отрядов потребителей, определяющему в конечном счете цены на рынке, сохранилась и по настоящее время. Исчез разве только аргумент от невест, правда не без деликатного вмешательства в это дело Розы Люксембург [2]).

Сегодня, как и вчера, Зомбарт говорит и о систематическом повышении заработной платы и одновременно признает, что в эпоху развитого капитализма «заработная плата никогда не слагалась к невыгоде капиталиста, другими словами, что она никогда не поднималась до такого уровня, чтобы извлечение прибыли из капитала стало невозможным» [3]). Фонд заработной платы, по Зомбарту, механически растет вместе с превращением «сбереженного дохода» в производительный капитал. Этот новый трюк Зомбарта сводится, как правильно на сей раз отмечает тов. Варга, к простому перемещению потребления. «Сбереженный доход» есть не что иное, как доход, сбереженный на заработной плате рабочих. Впрочем, чрезмерному росту зарплаты, успокаивает Зомбарт капиталистов, мешает создание промышленной резервной армии, «которая является для капитализма сущим благодеянием».

Нечего и говорить, что и Марксова теория крушения, которую Зомбарт полностью отождествляет с теорией кризисов и называет «теорией катастроф», представляется ему «чудовищной», «плодом ослепления» марксистов. Но, может быть, мы пред'являем к нашему буржуазному экономисту слишком большие требования? Не следует ли удовольствоваться тем марксизмом, который нам дарит Зомбарт, а именно теорией стоимости и прибавочной стоимости? Таково по крайней мере мнение т. Варги, который в этом именно вопросе находит существенный пункт близости Зомбарта к Марксу. Верно ли это? Мы вынуждены напомнить т. Варге, что Зомбарт с самого начала своей «марксообразной» карьеры понятие стоимости трактовал чисто-идеалистически. Уже в своей знаменитой статье о третьем томе «Капитала», снискавшей ему похвалу Энгельса, также как и в последующих своих работах, понятие стоимости он рассматривает, вслед за неокантьянцем Шмидтом, не как теоретическое выражение эмпирических явлений, не как закон, а как чистый «евристический», «регулирующий» принцип [4]). В связи с этим Энгельс писал: «Как Зомбарт, так и Шмидт... не обращают должного внимания на то, что здесь дело идет не только о чисто-логическом процессе, но и об историческом процессе и его идеологическом отражении, логическом исследовании его внутренней закономерности» [5]). Зомбарт, далее, смотрел на стоимость лишь как на «специфическую историческую форму, в которой выражается произ-

[1]) W. Sombart, Dennoch! Aus Theorie und Geschichte des gewerksch. Arbeiterbewegung, Jena 1900.

[2]) Р. Люксембург, Немецкая наука на стороне рабочих, Избр. соч, т. I, изд. «Московский Рабочий».

[3]) В. Зомбарт. Современный капитализм, т. III, полутом 1, стр. 461.

[4]) W. Sombart, Zur Kritik des ökonomischen Systems von Karl Marx, «Archiv für Gesetzgebung und Statistik», Bd. VII, S. 574—577.

[5]) Fr. Engels, Letzte Arbeit, «N. Z.», XIV. 1896, I Band, S. 10.

водительная сила общественного труда, управляющая в последнем счете всеми хозяйственными явлениями» [1]). Он ограничивал свое внимание лишь количественным вещественным содержанием процесса, игнорируя качественную классовую форму. В то же время это вульгарное механически-материалистическое толкование противоречило его же исходному методологическому положению о том, что стоимость—это лишь вспомогательная фикция, произведение нашего ума.

Мало того, теорию стоимости Зомбарт не умел и не хотел увязать с другими категориями «Капитала» Маркса. «Когда мы смотрим, как еще Энгельс пытался вывести из закона стоимости прибавочную стоимость, то мы не можем сдержать усмешки по отношению к этому глубоко таинственному важничанию. Для нас образование прибавочной стоимости не есть процесс, требующий столь сложного об'яснения и почти мистического выведения из образов чистого разума (вроде так называемого «закона стоимости»). Он представляется нам без дальнейшего понятным как психологический и социально обоснованный случай ежедневной жизни» [2]). Не умеет Зомбарт увязать теорию стоимости и с теорией воспроизводства, из формулы которого у него, как и у Адама Смита и у Сея, выпадает постоянный капитал. Признание этой теории не чувствуется также и в зомбартовских чисто-тавтологических определениях капитала [3]). Таким образом, зомбартовский закон стоимости в значительной степени изолирован от остальных экономических категорий и не может поэтому, как у Маркса, служить оружием проникновения во внутренние законы капитализма.

Прошло однако время, когда марксизм вел первые схватки за самое свое существование и гордился всяким случаем хотя бы частичного признания его принципов. Теперь не 1894 год! Ныне от марксиста требуется не только признание и не только правильное материалистическое и диалектическое толкование (чего нет у Зомбарта) теории стоимости и прибавочной стоимости, но также и всех основных, вытекающих отсюда законов с теорией крушения капитализма во главе. Иначе нам угрожает полное затопление со стороны целой армии «марксиствующих» социал-демократов. Что же касается Зомбарта, то он еще в 1909 г. совершенно точно и ясно выразил свое отношение и к Марксу и к марксизму. «Маркс, — писал он, — теоретически и практически «преодолен», свою собственную историческую миссию он уже выполнил... В своей вышеназванной работе «Социализм и социальное движение» я пытался доказать, что теория накопления и теория обнищания — ложны, что теория крушения не обоснована, теория концентрации и теория обобществления — односторонни и не совершенны. Тем самым и вся теория (Gesamttheorie) капиталистической эволюции, которая поддерживалась этими отдельными теориями, стала неприемлемой» [4]).

На сей раз не приходится нам Зомбарту не верить, тем более, что список неприемлемых для него марксистских теорий с тех пор значительно вырос (сравни критику марксовой теории рынков, теории народонаселения, теории империализма и проч.).

2.

Как изображает Зомбарт современный капитализм? Капитализм — это порядок, организованность, рационализация, господство разума. «Капиталистическое хозяйство—это «огромный космос», толкнувший массы людей и вещей к «гигантскому созиданию», это «поистине удивительная организация, все части которой искусно пригнаны одна к другой» [5]). В полном согласии

[1]) Zur Kritik der ökon. System, S. 577.
[2]) Das Lebenswerk von K. Marx, 1909, S. 34—35.
[3]) Современный капитализм, т. III, полутом 1, стр. 133.
[4]) W. Sombart, Das Lebenswerk von K. Marx, S. 34—35.
[5]) В. Зомбарт, Современный капитализм, т. III, полутом 2, стр. 451.

с «вдумчивыми марксистами» (т.-е. ренегатами и извратителями марксизма) в лице Гильфердинга, Реннера, Ледерера, Зомбарт воспевает растущий план капиталистического хозяйства, внедряющийся и в потребление, и в обмен, и в производство. Рационализации подвергается и банковское и акционерное дело. Происходит отмирание «рыночной механики». При таких условиях об «анархичности» капиталистического хозяйства могут еще говорить одни только «вульгарные марксисты» [1]).

Капитализм — это план. Капитализм — это также сказочный рост современной техники, вызывающий своей колоссальностью и блеском наше бесконечное изумление. Ни о каком противоречии между развитием производительных сил и производственных отношений при капитализме не может быть и речи. Если подобное противоречие и возможно, то только при социализме, ибо революционная техника не выносит тех абсолютно устойчивых форм, которые мы связываем с понятием социалистического способа производства.

Отождествляя капитализм с техникой, Зомбарт дает понять, что отмирание капитализма будет одновременно означать и упадок техники. Когда, однако, нужно затушевать и запрятать факт социально-капиталистического господства капитализма, то на первый план выдвигаются голые «внеклассовые» производительные силы.

«Важно в конце концов лишь то, как проводит человек свою жизнь — ходит ли он за плугом или стоит за бессемеровской печью, продает ли он товары в маленькой лавке или в большом универсальном магазине, ведет ли он парусное судно, или стоит у котла гигантского парохода» [2]). Поэтому «для судьбы людей и человеческой культуры более или менее безразлично, организуется ли хозяйство по-капиталистически или по-социалистически» [3]) Рабочему все равно, где и у кого получать жалованье, и «разделение прибыли между рабочими не влечет за собой сколько-нибудь значительного повышения заработной платы» [4]).

Так Зомбарт то протаскивает технику под видом капитализма, то капитализм под видом техники [5]). Чтобы лишний раз «разоблачить» социализм и возвысить капитализм, он не брезгает старым оружием вульгарных экономистов: смешением вещественного содержания с социальной формой.

Апологетическую роль играет в системе Зомбарта и его знаменитый капиталистический дух. Было бы праздным занятием доискиваться, сколько процентов хозяйственной материи скрывается за этим духом. Несомненно, понятие это у Зомбарта достаточно гибко, чтобы вместить самые разнородные элементы. Одно несомненно. Высшим воплощением зомбартовского хозяйственного духа является предприниматель. Это — подлинный герой «Современного капитализма». Его «фаустовский порыв», «напористость», «стяжательский парокcизм», его «дерзание» — есть по Зомбарту движущая сила истории, первоисточник всех окружающих нас богатств. В таких же повышенных тонах Зомбарт рисует и картину капиталистического хозяйства в целом. «Капиталистическое хозяйство из ничего образовало систему, дало-

---

[1]) В. Зомбарт, Современный капитализм, т. III, полутом 2, стр. 452.

[2]) Там же, стр. 517.

[3]) Там же, стр. 516.

[4]) Там же.

[5]) Весьма «наивно» отождествление техники с капитализмом выражено у Х. Эккерта, который в виде доказательства того, что «капитализм в целом находится еще на под'еме», привел пример «тех бетонных построек американского стиля, которые в настоящий момент с изумительной быстротой возводятся в Москве» (Буржуазные ученые о закате капитализма, Гиз, 1929 г., стр. 49). Интересно, как Эккерт будет справляться со строящимися у нас в настоящее время социалистическими городами, где устройство домов всецело подчинено коммунистическому быту.

щую возможность кормить сотни миллионов растущего населения, одевать, размещать их в домах, украшать их всякими безделушками и каждый вечер забавлять. Можно видеть в этом «предустановленную гармонию» или внутреннюю закономерность, или чудо: как бы мы его ни называли, мы не можем не восхищаться этим колоссальным творением, этим величайшим цивилизаторским созданием человеческого духа. Даже и в том случае, если его ненавидят и считают делом дьявола. В этом последнем случае пришлось бы все же притти к выводу, что и дьявол может создавать великолепные вещи в этом мире...» [1]). Что касается Зомбарта, то этому именно «кормящему сотни миллионов», «одевающему» и «забавляющему» дьяволу он продал и свой ум и свое сердце.

3.

«Огромный успех учения Маркса об'ясняется его чрезвычайной многосторонностью и многозначительностью. В этом смысле его работы сравнимы лишь с библией, ибо в них духовно утонченный мыслитель находит то, что его радует и прельщает, так же, как и грубый трактирщик, который наталкивается там на идеи, соответствующие его интеллектуальному уровню. И подобно тому, как его произведения или отрывки могут быть прочитаны как богатыми, так и бедными духом, подобно этому они возбуждают и вооружают доказательствами людей самых различных мировоззрений. Революционер берет у них свое оружие в такой же степени, как и убежденный эволюционист; естественно-научно образованный теоретик эволюции, как и этик; толстый грек, как и тощий назаретянин» [2]). Таков зомбаровский Маркс: не революционер, не идеолог пролетариата, не человек, вооруженный определенным мировоззрением, а попросту склад впечатлений и идей для людей всех темпераментов и направлений. Для «богатых духом» и «духовно утонченных мыслителей» в роде Зомбарта он — в первую очередь источник художественного возбуждения, счастливых художественных переживаний. Неверно, будто Маркс стоит в таком же отношении к своим предшественникам в теории прибавочной стоимости, как Лавуазье к Пристли—к Шелли. Это сравнение Энгельса не годится, ибо общественные науки вообще представляют собой область, принципиально отличную от наук естественных. В них основное—не описание, а оценка. Здесь имеют место неповторимые качественно друг от друга отличные явления. Их недостаточно описать, их нужно пережить, как Ромео переживает свою любовь к Юлии. Психологическое переживание — единственно «верное знание, которое мы имеем о мире». Поэтому общественные «законы представляют не что иное, как технический аппарат, при помощи которого мы добываем знания». Итак, вместо твердых об'ективных законов— художественно-психологическое проникновение в людей. Великие люди в общественных науках — это те, кто много переживает, «в жилах которых течет кровь, а не чернила».

Этим своим художественным чутьем, своим даром изображения дорог Зомбарту и Маркс. И здесь нет конца зомбартовским дифирамбам: «Когда Маркс пишет, он подобен вулкану, извергающему огонь... как раскалена его речь, как хорошо она прилнана к предмету, как страстно и проникновенно развивается мысль, какая штурмующая целеустремленность! Как сверкают и ярко блещут картины! Как клокочут и бьют ключем словно из неисчерпаемого источника факты! [3]). В этих художественных ценностях, в этом «свое-

[1]) Современный капитализм, т. III, полутом 2, стр. 452.

[2]) Das Lebenswerk von K. Marx, S. 29.

[3]) Там же, стр. 57. Это не мешает Зомбарту 15 лет спустя говорить, что «чем больше занимаешься Марксом, тем отчетливее выступает та оскорбляющая резкость, та придирчивая критика, та дурацкая неразборчивость (schoddrige Nonchalance), то инстинно-еврейское нахальство (Schutrze), которые сразу накладывают на его стиль особый отпечаток». («Der proletarische Socialismus», B. I, S. 70). Осо-

образно демоническом», «титаническом», подобном Микель Анджело вся прелесть Маркса. Маркс, по Зомбарту, действует как художественное произведение, как зеркало времени. Его следует, поэтому, сравнивать не с Лавуазье, а с Золя.

Здесь, в этой риккертовской концепции общественных наук, в этом преклонении перед Марксом как художником также и весь собственный метод Зомбарта. Зомбарт в первую очередь стремится быть психологом-художником [1]). Теория для него лишь рабочая гипотеза, способ систематизации материала. Он увлечен эстетическим формализмом, интересуясь не столько сущностью, закономерностью явлений, сколько богатейшей гаммой комбинаций, в которые можно их уложить. Ему ничего не стоит менять свои взгляды, и он издевается над марксовым «Gesetzmacherei» (делание законов). Но он приложит все старания, весь свой талант, всю свою огромную эрудицию и знание, чтобы возможно выпуклее, пластичнее, живее, ярче, индивидуальнее изобразить и пережить любое историческое явление. Что же, мы не отнимаем у Зомбарта этих художественных дарований. Но при чем здесь Маркс и марксизм?

Мы не можем и не должны забыть также, что эстетизм, психологизм, исторический идеализм Зомбарта выполняют определенную социально-политическую функцию, что оружием своей анархической методологии он обстреливает монизм и материализм системы Маркса, что он при помощи своего духа пытается подменить центральную фигуру «Капитала» — пролетариат — образом героя — предпринимателя. Предприниматель — движущая сила зомбартовской истории, в то время как «интересы потребителей и интересы рабочих в капиталистическом хозяйстве мы можем признать в лучшем случае побочными причинами в историческом процессе» [2]).

Зомбартовский психологизм протаривает в конечном счете дорогу фашистскому цезаризму. «Вождями являются лишь немногие, огромная масса идет лишь на поводу» [3]). Строение капиталистического хозяйства—аристократично. «Исторической причиной аристократического расслоения в капиталистическом хозяйстве является обоснованная личными и материальными обстоятельствами способность немногих и тем же обоснованная неспособность многих руководить процессом производства, который, в силу пред'являемых им технических и организационных требований, исключает деятельность средне-одаренных и средне-имущих посредственностей в качестве хозяйствующих суб'ектов (как это возможно в ремесле)» [4]). В сравнении с этими «выводами» бем-баверкская теория предельной полезности, исходящая от потребителя, должна быть признана значительно более демократической, чем зомбартовская система, внешне базирующаяся на марксовой теории стоимости.

Следует также помнить, что риккертовская методология, обосновывающая неповторимое своеобразие каждой национальности, подводит Зомбарта прямым путем к оголтелому шовинизму и милитаризму. «Самое лучезарное своеобразие нашего (немецкого. *И. А.*) мышления,—писал он во время войны,— состоит в том, что мы уже на сей грешной земле воссоединяемся с божеством... Мы — божий народ. Подобно тому, как немецкая птица —

бенно возмущен добродетельный Зомбарт перепиской Маркса. «C'est dègoutant—по содержанию и по форме. Поистине ужасно, когда убеждаешься на этих 4 томах, какая насквозь разъеденная (durch und durch zerfressen) душа жила в Марксе» (Там же).

[1]) Впрочем, поза, манерничание, методологическая ветреность в той же степени мешают ему стать крупным художником, как и последовательным мыслителем.

[2]) Там же.

[3]) В. Зомбарт, Современный капитализм, т. III, полутом 1, стр. 10.

[4]) В. Зомбарт, Хозяйственный строй, Москва, 1926, изд. «Экономическая Жизнь», стр. 74 — 75.

орел — летит выше всякой твари земной, так и немец должен чувствовать себя превыше всех народов, окружающих его, и взирать на них с безграничной высоты... Милитаризм — это обнаружение немецкого геройства. Он — Потсдам и Веймар в их высшем об'единении. Он — «Фауст» и «Заратустра» и партитура Бетховена в окопах. Ибо и «Eroica» и увертюра к «Эгмонту» — подлинный милитаризм» [1]). «Существуют, — пишет Зомбарт в «Современном капитализме», — всякого рода измы, но нет никакого «пангерманизма» [2]).

Наконец, метод Зомбарта отсвечивается и во всех его построениях в области истории и теории народного хозяйства. Зомбарт исходит из «недопустимости смешения теоретических и эмпирико-реалистических методов изучения [3]). Это толкает его на путь дуализма идеи и действительности, теории и эмпирии, на путь двойной методологической бухгалтерии (Doppelbetrachtung). Абстрактно-конкретный метод Маркса разлагается в его руках на чистое описание и нагромождение фактов в духе исторической школы Шмоллера, с одной стороны, и на обильное творчество всяких абстрактно-формальных конструкций, схем, подразделений, определений с другой. Зомбарт, по правильному замечанию Salz'a, «теорией называет то, что следовало бы собственно назвать систематикой» [4]). Этот методологический дуализм осложняется у него богатыми наслоениями, отражающими всю гамму направлений от строгого позитивизма до крайнего интуитивизма и мистицизма. Нечего доказывать, что подобный методологический анархизм раз навсегда закрывает Зомбарту доступ к овладению подлинными законами капитализма. Тем страннее и ошибочнее звучит следующая фраза тов. Герценштейна в его рецензии на III том «Современного капитализма»: «Мы тем охотнее отказываемся от спора с Зомбартом по этому вопросу (о хозяйственном духе. *И. А.),* что его философская концепция соотношения идей и хозяйственной жизни мало вредит по существу его научному анализу. Она остается по существу декларативным привеском. Когда Зомбарт, засучив рукава, уверенно берет груды исторических фактов и мастерски извлекает из них невидимые для поверхностного глаза тенденции движения, он меньше всего связывает этот анализ со своим философским символом веры. И мы можем высказать по поводу этой измены искреннее удовлетворение» [5]). Что касается нас, то ученый «об'ективизм» Герценштейна, его нежелание «высказывать много резонирующих упреков» по адресу философии и методологии Зомбарта и его непонимание связи между этой философией и всем строем и выводами «Современного капитализма» никакого, признаться, «удовлетворения» не вызывает.

4.

Зомбарт хвалит Маркса не только как художника, но и как великого историка хозяйства. Вообще Зомбарт готов признать в Марксе и великого ученого, но... без портящей все революционной скверны. В революционных тенденциях он видит трагедию, двойственность Маркса-ученого. Сам Зомбарт мнит себя наследником Маркса, но преодолевшим эти его суб'ективные слабости. Зомбарт хочет быть «буржуазным Марксом». Мы уже видели, как это выглядит. Во всяком случае историзм Маркса, несомненно, оказал сильнейшее на него влияние. Зомбарт видит и признает смену различных хозяйственных форм. В этом он внешне ближе к Марксу, чем все другие буржуазные экономисты. Капитализм Зомбарта историчен. Он рождается, живет, стареет и

[1]) W. Sombart, Händler und Helden, S. 64, 85, 143.

[2]) В. Зомбарт. Современный капитализм, т. III, полутом 2, стр. 68.

[3]) Современный капитализм, т. III, полутом 1, стр. XXXIV.

[4]) Salz, Anmerkungen zu W. Sombarts «Hochkapitalismus», Zeitschrift für die gesamte Staatswirtschaft, 1928, B. 85, H. I. S. 23.

[5]) А. Герценштейн, Новый труд Вернера Зомбарта, «Проблемы Экономики» № 6, 1929 г.

должен умереть. Надвигающийся старческий возраст капитализма изображен у Зомбарта с предельной физиологической пластичностью. Сорокалетний мужчина-капитализм на наших глазах теряет свой первый зуб, украшается первым седым волосом, не может больше скрыть своей грузности, его былую страсть сменяют спокойствие и умеренность, начинается ожирение и окостеснение его тканей, бюрократизация его духа.

Нет слов, картина для апологета капитализма получается довольно умилительная и странная. Но Зомбарт не ограничивается этим описанием начавшихся на его глазах процессов. Яд марксовых предсказаний слишком соблазнителен, чтобы можно было не последовать их примеру. В последней главе III тома «Современного капитализма» и в своем цюрихском докладе о «метаморфозах капитализма» Зомбарт выступает в роли пророка.

Он прежде всего освобождается от предсказаний Маркса. «Карл Маркс предсказывал: 1) прогрессирующее об'единение класса наемных рабочих; 2) всеобщую «концентрацию» и гибель крестьянства и ремесла; 3) катастрофическое крушение капитализма. Ни одно из этих пророчеств не осуществилось» [1]). Но ведь это был К. Маркс, он был великий человек, а «великие люди потому и ошибались столь скандально, что они были велики, а следовательно, влюблены в свои мнения» [1]).

Другое дело Зомбарт. Оттолкнув Маркса, декретировав без тени какихлибо серьезных доказательств полный провал его предсказаний, оглушив читателя авторитарной категоричностью этих своих утверждений, он на очищенном таким образом месте сам берется пророчествовать.

Капиталистический ритм развития начинает замедляться. Основная причина этого — бюрократизация, рационализация, успокоение, «связывание», угасание капиталистического духа. Старая движущая его сила — принцип наживы—сменяется принципом удовлетворения потребностей. Этот упадок капиталистического духа Зомбарт связывает со своими старыми физиократическими идеями о решающем значении добывающей промышленности и о «законе убывающего плодородия почвы», а также с тезисом о падении роста народонаселения и усиливающегося давления государства и профсоюзов на предпринимателя. Природа в сельском хозяйстве сама кладет предел денатурализации хозяйства. Применение техники сулит здесь все меньшие перспективы. Времена искусственного удобрения миновали. Тракторное дело дало «отрицательные результаты». Одновременно начинается и общее ослабление развития техники и изобретательства и падение производительности труда. Зомбарт готов доказывать, что такие изобретения, как мотоцикл, авиация, радио, не могут повлиять на поднятие производительных сил. Кроме того, рост «цветного» капитализма, индустриализации колоний лишит Европу ее сырьевой и продовольственной базы и толкнет на путь создания собственной базы, на путь аграризации и возрождения крестьянства. К этому следует еще прибавить старое пророчество Зомбарта о том, что мирохозяйственные связи между различными странами не усиливаются, а ослабевают. Итак, упадок техники, упадок сельского хозяйства, аграризация Европы, ренессанс крестьянства, как класса, превращение мирового хозяйства в ряд национальных хозяйств и, наконец, упадок капитализма в целом и замена его новым строем социального плюрализма — таковы мрачные перспективы, которые открывает перед нами Зомбарт. Но действительно ли этой своей «теорией загнивания капитализма» он «произносит капитализму грандиозную погребальную речь» [2]), «поет ему лебединую песнь» [3])?

---

[1]) В. Зомбарт, Современный капитализм, т. III, полутом 2, стр. 508.
[2]) A. Salt, Anmerkungen zu W. Sombarts... S. 22.
[3]) Schultze, Sombarts Hochkapitalismus, «Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie», 1920, B. XXII, H. 3, S. 489.

Присмотримся же к ней ближе. Никакого серьезного ни экономического, ни политического об'яснения упадка капитализма мы у Зомбарта не находим, ибо капитализм его не связан ни с какими иммanентными противоречиями. Упадок этот не имеет также никакого отношения к империализму и к финансовому капитализму. Он совершается в то же время без каких-либо толчков извне, катастроф, революций. «Этот взгляд (о возможности переворота. *И. А.)* игнорирует сущность хозяйственного развития, совершающегося всегда в виде постепенного органического преобразования существующих условий. Новое хозяйство «растет», как растет растение или животное. Насильственное вмешательство может многое разрушить, но ничего не в силах создать. Вся истекшая история подтверждает правильность такого понимания. И если это еще нуждалось в доказательствах, то доказательства уже даны ходом хозяйственного развития Советской России» [1]).

Конец капитализма произойдет мирным, эволюционным и, что особенно подчеркивает Зомбарт, медленным путем. «Капиталистическая экономическая система еще долго будет господствовать в важных областях хозяйственной жизни» [2]). На смену ей придет новый строй, в котором одновременно будет господствовать несколько хозяйственных систем. Впрочем, успокаивает Зомбарт встревоженную буржуазную аудиторию, и в настоящее время мы имеем несколько хозяйственных систем. Ибо «в ходе истории число хозяйственных форм, существующих параллельно, все более и более увеличивается. Хозяйственная жизнь становится все богаче и богаче. Подобно музыкальной фуге к ней все время присоединяются новые голоса, не заглушая, однако, остальных» [3]). Положение Маркса о неизбежном «подведении всех хозяйственных форм под господствующие» для Зомбарта не существует. Поэтому, хотя «капитализм потеряет свое господствующее положение» [4]), но он не погибнет и не будет «заглушен» новыми формами.

Среди этих новых форм социализм занимает довольно странное положение. Мы уже знаем, что рабочие отнюдь не заинтересованы в нем. «Мы постепенно должны привыкнуть к мысли, что разница между стабилизированным и урегулированным капитализмом и технически совершенным рационализированным социализмом не очень велика и что, следовательно, для судьбы людей и человеческой культуры более или менее безразлично, организуется ли хозяйство по-капиталистически или по-социалистически. Ибо в обоих случаях метод работы остается одним и тем же и все общественное хозяйство основывается на одухотворении» [5]). Таким образом, новый строй мало чем отличается от старого, старое сохраняется в новом, хотя и не в гегелевском «снятом» виде, а в виде сожительства различных укладов. И уже во всяком случае этот новый строй не имеет ничего общего с марксовым «утопическим» социализмом. Социализм представляет у Зомбарта мало нового и потому, что «социализация» капиталистического хозяйства (общественный контроль, надзор за товарами, твердые цены, фабричная инспекция и пр. и пр.) начинается у него, как и у социал-демократов, еще задолго до заката капитализма.

Как бы то ни было будущий строй «социального плюрализма» обставлен для капиталистов такими гарантиями, столь кровно близок современному

---

[1]) В. Зомбарт, Современный капитализм, т. III, полутом 2, стр. 509—510.

[2]) Там же, стр. 512.

[3]) Там же, стр. 509

[4]) Там же, стр. 512.

[5]) Там же, стр. 517.

капитализму, так медленно и незаметно надвигается, что он не может встретить особых протестов. Дело, повидимому, сводится лишь к новому названию. «Нет разногласий,— говорил по докладу Зомбарта Артур Файлер,— насколько я до сих пор слышал, и насколько вспоминаю о венских дебатах— в том, что это будет капитализм. Это кажется мне решающим. Поздний ли, развитой капитализм — так или иначе капитализм».

Каков же социально-политический смысл зомбартовской «теории загнивания капитализма»? Буржуазия, действительно вступившая в осеннюю пору своей жизни, не может, в лице своих наиболее проницательных идеологов, отделываться одними сплошными успокоительными фразами. 100% оптимизм — недостаточное оружие против надвигающейся катастрофы. Буржуазии в эпоху заката капитализма не чуждо стремление к известной диалектике. Показательным в этом смысле является нынешний расцвет неогегельянства на Западе и особенно в Германии. Возрождение диалектики Гегеля идеологи ее прямо связывают «с полным духовных кризисов и антиномий настоящим», с «тяжелейшими внешними и внутренними переживаниями» и социальными битвами последних десятилетий, разрушившими возможность «гармонической античной диалектики» и толкнувшими на путь диалектики «трагической» [1]).

Зомбарт сейчас, как и в начале своей карьеры, лучше понимает интересы своего класса и дальше видит, чем большинство его коллег. Зомбартовская «теория загнивания» хочет перебежать дорогу пролетарской теории — теории Ленина. Зомбарт обкрадывает Маркса, пользуясь на этот раз диалектикой его, чтобы предвидеть и чтобы сигнализировать опасность. Его теория «загнивания» — не от хорошей жизни. «В процессе развития я не вижу ничего из того, что считаю желательным. Но я и не собирался говорить о том, что я считаю желательным и что мне хотелось бы видеть осуществившимся, а о том, что, по моему мнению, будет» [2]).

Пророчества Зомбарта пропитаны смешанными чувствами: здесь и паника, рожденная послевоенным кризисом капитализма; и предчувствие шагов идущего к власти пролетариата; и желание демагогически смазать социальную характеристику будущего строя, спутать перспективу; перекрыть левой фразой собственной «теории» надвигающийся конец, перехватить инициативу предвидения в свои руки; наконец, преподнести герою предпринимателю его грозное будущее в возможно более смягченном сладком виде. Поэтому-то Зомбарт, говоря о будущем, ежеминутно оборачивает голову в прошлое и предвидения свои обставляет легионом оговорок, отрицая вообще возможность какого-либо строго научного прогноза, как и возможность самой науки о хозяйстве. Речь может итти, повторяет Зомбарт за Максом Вебером, лишь о «шансах на будущее». И этот свой покрытый дымкой неизвестности «социальный плюрализм» он скорее порицает, чем восхваляет, представляя в весьма мрачных красках.

Жизнь, разнообразие, под'ем, «фаустовский» напор возможны, думает Зомбарт, лишь в капиталистической оболочке, лишь на основе неугасающей жажды стяжания и прибыли. Одряхление капиталистического духа кажется ему поэтому умиранием жизни вообще, наступлением царства механизма и рутины, концом революционной техники и всех великих изобретений, эпохой, когда «перебродивший» капиталистический дух покрывается флегмой, эпохой заката капиталистической Европы и Америки. В этом-то смысле «капитализм не оправдал надежд, на него возлагавшихся». Зомбартовский пессимизм, кой-кем принимаемый за признак близости к марксизму, есть скорбь и плач

[1]) Arthur Liebert, Geist und Welt der Dialektik, 1 B.: «Ggundlegung der Dialektik», Berlin 1929, S. XIV — XV.

[2]) Зомбарт, Современный капитализм, т. III, полутом 2, стр. 84.

по прекрасному времени уходящего в прошлое цветущего капитализма. Его социальный плюрализм, это рахитичное дитя, порожденное методологическим плюрализмом, похож на заблаговременное самоотречение Николая. Даже в своем историзме и в своих предсказаниях Зомбарт не перестает служить знамени капитализма и не начинает приближаться к марксизму.

Что же сам Зомбарт считал бы для себя желательным? Это досказывает за него его духовный ученик Освальд Шпенглер. Спасение Европы и капитализма Шпенглер ожидает от фашистской диктатуры. Шпенглеровский герой-диктатор подает руку зомбартовскому герою-предпринимателю. Так скованный Прометей расковывается и вновь обретает украденный им у богов огонь.

5.

Буржуазная мысль издавна критиковала марксизм двояким образом: прямо, путем его абсолютного отвержения и непосредственной грубой апологетики капитализма, и косвенно, расточая похвалы, кое в чем с ним соглашаясь, кое в чем ему подражая и пользуясь его достижениями, но одновременно обезвреживая его и очищая от революционной диалектики. Таково было разделение труда между буржуазным антимарксизмом и буржуазным «марксизмом». Кстати сказать, буржуазный «марксизм», кроме своих политических задач появлению своему обязан был также падению и разложению буржуазных общественных наук и необходимости итти на выучку к марксизму.

Когда закон против социалистов оказался слишком грубым и непригодным средством борьбы с рабочим движением, он был заменен другими более «культурными» и обходными формами воздействия. Подобно этому грубую критику Юлиусов Вольфов, Адольфов Вагнеров и Дитцелей сменил изящный, все «понимающий», вооруженный «об'ективным», «историческим», «реалистическим» методом, «друг рабочих» и «полумарксист» Зомбарт. Зомбарт выдвинулся в вожди «культурного» метода преодоления марксизма. Зомбартизм до войны — это была последняя ставка буржуазии на мирное преодоление революционного рабочего движения. Однако тревоги войны и послевоенных революций вывели нашего «друга» из равновесия и вырвали из его груди неподдельный крик ненависти к пролетарской диктатуре и к марксизму («Пролетарский социализм»). Но и в дальнейшем Зомбарт не пожелал распрощаться со своей старой ролью «благожелателя» и буржуазного «покровителя» Маркса, прекрасно понимая, что и этот старый путь расшаркивания перед гением Маркса сулит ему не малые выгоды. Он счел возможным и удобным сочетать в себе оба указанных метода. В этом смешении стилей, в этой одновременной хуле и хвале по адресу Маркса «оригинальность» сегодняшнего Зомбарта, отличающая его от остальных буржуазных идеологов и вводящая кой-кого из марксистов в заблуждение.

Поэтому-то Зомбарт нарочито до бесконечности запутывает свои отношения с Марксом, то его восхваляя до небес, то смешивая с грязью, то доказывая, что все его предсказания никуда не годятся, то торжественно об'являя, что рад был бы, если бы его, Зомбарта, собственные предсказания исполнились в такой же степени, в какой уже исполнились предсказания Маркса. То он в об'ективизме и реализме видит отличие системы Маркса от всех прочих социалистических систем [1]), то он обвиняет его в грубой политической тенденциозности, в том, что «волевой импульс затуманивал зрение» Маркса.

[1]) «Крайний об'ективизм — вот что характеризует экономическую систему Маркса». «Zur Kritik des ökonomischen Sistems von K. Marx», s. 591.

Борьба с Марксом при помощи Маркса—метод, далеко еще не потерявший для буржуазных идеологов своей привлекательности. Недавно профессор Шмаленбах имел смелость заявить, что мы сейчас переживаем не что иное, как «осуществление предсказаний великого социалиста Маркса». Если эти признания и коробят благородные уши коллег Зомбарта и Шмаленбаха, то все же они являются хорошим демагогическим средством. Зомбарт, как и Шмаленбах прекрасно понимает, что нельзя сегодня больше пробавляться одними стародедовскими песнями о том, что процент на капитал «есть плата за воздержание», что в этом мире нет никаких грабежей, никакой эксплоатации. Зомбарт не считает нужным отрицать ни существования прибавочной стоимости, ни того, что капиталистическая прибыль за истекшее столетие никогда не терпела особенного урона, ни что «рубашки, в которые мы стали облачаться, начиная с XIX столетия, оплачены нищетой людей, производивших для них сырье» [1]), ни что «в прежние времена бедняки грабили богатых, теперь же деле происходит наоборот — богатые грабят бедняков и вообще людей с небольшими средствами» [2]). Он не побоялся даже назвать по имени этих богачей и рассказать о грюндерстве акционерных обществ вроде Стандарт-Ойль, действующих наподобие разбойничьих банд прошлого. Ценой этих откровенных признаний Зомбарт хочет завоевать необходимый ему авторитет «об'ективного» ученого, готового «жертвовать жизнью за истину».

Напрасные старания, Herr Professor!

Роли Praeceptor'a Germanie (воспитателя Германии), как и роли «буржуазного Маркса», разыграть вам не удастся. Марксизм достаточно созрел для того, чтобы всякую попытку, всякое «международное стремление теоретиков буржуазии убить марксизм посредством мягкости, удушить посредством об'ятий» (Ленин) беспощадно разоблачить. Многолетняя «оппозиция» Зомбарта против официальной академической науки, его бунт против профессорской рутины есть не что иное, как оппозиция лишь по форме, а не по содержанию, бунт на коленях. Зомбартовское понимание Маркса, хотя и выше среднего буржуазного понимания, осталось пониманием профессора, не способного выйти за рамки вульгарного фетишизма явлений, добраться до сущности, до движущих сил капиталистического строя. «Марксизм» его похож на веру попа, славящего бога и думающего, как бы пооснователънее почистить карманы своей верующей паствы. 30 лет тому назад этот «оппозиционный» представитель профессорского сословия и «божьего народа» был схвачен за шиворот и выпровожден за двери в тот самый момент, когда он пытался соблазнить немецких рабочих выгодами империалистической политики и перевести профессиональное рабочее движение на буржуазные рельсы. Сегодня мы его застаем, правда, уже в другой, более высокой профессорской аудитории за обсуждением перспектив капитализма. Но и сегодня, как и вчера, ни эффектная «теория загнивания капитализма», ни парадоксы a la Бернарда Шоу и Оскара Уайльда, ни крестные ходы с портретом Маркса делу не помогут.

Прошли времена, когда буржуазия могла еще себе позволить в общественных науках роскошь известной об'ективности. Сегодня, более чем когда-либо, уместно вспомнить слова старого Гоббса: «Если бы теорема о том, что сумма углов треугольника равна двум прямым, нарушала интересы имущих, то это учение было бы задавлено сожжением всех книг по геометрии,— поскольку заинтересованные лица были бы в состоянии это осуществить». Сегодняшняя ожесточеннейшая классовая борьба сплачивает, консолидирует и фашизирует все эксплоататорские классы капиталистического мира, оставляя все меньше и меньше простора для либерально-оппозиционных песней. В та-

[1]) Там же, стр. 480.

[2]) Там же, стр. 275.

ких условиях различие между вульгарными и невульгарными критиками марксизма принимает все более и более призрачные очертания, независимо от того, сколько марксистских слов и сколько похвал Марксу при этом расточается.

Мы готовы воспользоваться богатейшим материалом по истории капитализма, рассыпанным в работах Зомбарта. Мы способны оценить его художественный талант в воспроизведении прошлого, его тонкие психологические наблюдения, его чуткое ухо к разнообразным проявлениям действительности, к многоголосой симфонии окружающего его экономического мира. Мы допускаем также, что Зомбарт, столько лет учившийся у Маркса, не раз и не два невольно будет приходить к выводам, подтверждающим и подкрепляющим положения марксизма. Мы не отказываемся, одним словом, от всего того ценного, что можно найти в его работах. Но от этого Зомбарт не перестает быть чуждым как методологии, так и экономической системе Маркса, оставаясь лютым врагом и марксизма и пролетариата и апологетом и трубадуром капитализма и фашизма.





Июньское восстание 1848 года и собственники провинции[1].

А. Молок.

Июньские дни 1848 года—эта «первая великая битва между обоими классами, на которые распадается современное общество» (Маркс) — не были ни совершенно изолированным, ни специфически парижским движением. Им непосредственно предшествовала волна рабочих выступлений, прокатившаяся почти по всей Франции. От руанских баррикад 27—28 апреля через марсельские баррикады 22—23 июня к парижским баррикадам 23—26 июня тянется единая линия — идущая вверх кривая классовой борьбы, развивающееся наступление буржуазно-собственнической реакции против февральских завоеваний пролетариата.

Неудивительно, что гром июньской борьбы в Париже отдался далеко за пределами последнего. Оставляя здесь в стороне впечатление, произведенное этим событием за границей, рассмотрим, как реагировала провинциальная Франция на взрыв и подавление грандиозного восстания пролетариев столицы.

Начнем с констатирования того факта, что историческая литература— старая и новая, общая и специальная — обходит почти полным молчанием интересующий нас вопрос, словно не подозревая его методологической важности. Исключение составляют разве Жорж Ренар[2]) и Шарль Шмидт[3]), у которых можно найти некоторые (правда, крайне скудные) данные об откликах провинции на парижское восстание. Исключение составляют также некоторые работы локальной историографии, среди которых выделяется ценная монография Франсуа Дютака[4]) о Лионе. Но бессильный эклектизм названных авторов, обусловленный их научно-политической позицией, лишает их возможности дать правильную постановку занимающей нас проблемы.

Чтобы восстановить более или менее полную картину того, что творилось в провинции в июньские дни 1848 года, надо обратиться к документальному материалу, который содержат первоисточники — фонды Национального Архива[5]), отчет следственной комиссии Национального Собрания[6]), газетная пресса Парижа и провинции, мемуары и письма современников.

---

[1]) Рабочему классу провинции в июньские дни 1848 г. будет посвящена особая статья.

[2]) Ж. Ренар, Республика 1848 г. (Спб. 1907 г.), гл. X, стр. 107—108.

[3]) Ш. Шмидт, Июньские дни 1848 г. («Прибой», 1927 г.), гл. III, стр. 64—66.

[4]) F. Dutacq, Histoire politique de Lyon pendant la révolution de 1848 (25 fevrier — 15 juillet) (Paris 1910), 2 partie, chapitres III — IV, p. 412 — 450.

[5]) Главным образом: BB[18] 1465a — 1465b (Journées de juin), BB[30] 358 — 365 (Troubles postérieures à la révolution de février), C 285 (Assemblée nationale. Commission d'enquête sur l'insurrection de juin 1848. Pièces non imprimées).

[6]) Rapport de la Commission d'enquête sur l'insurrection qui a éclaté dans la journée du 23 juin et sur les événements du 15 mai, Paris 1848, t. III (в ссылках просто — Rapport).

1.

«Мы восхищаемся социальным инстинктом, который от одного конца Франции до другого проявляется в актах преданности и самопожертвования».— писала в номере от 29 июня одна из парижских газет реакционного направления [1]). Раньше всего этот «социальный инстинкт» пробудился среди собственнических элементов ближайшего к Парижу района, поспешивших на защиту дела «порядка» в охваченной восстанием столице.

Уже в утреннем заседании Национального Собрания 24 июня президент сообщил, что «отряды национальной гвардии пригородных коммун прибыли в большом числе в течение ночи и утра» [2]). В полдень полицейский комиссар квартала Вандомской площади сообщает о прибытии 1.500 человек из округа Медон (9 км от Парижа) и 2.000 человек из округа Понтуаз (32 км от Парижа); он добавляет, что «они настроены превосходно» [3]). Среди прибывших в тот же день (24-го) отрядов национальной гвардии департаментов Сены и Сены-и-Уазы мы встречаем представителей смежных с Парижем городов и местечек (Сен-Клу, Севр, Версаль и др.), а также пунктов, отдаленных от него более или менее значительным расстоянием (Корбейль, Мант, Рамбулье и др.). По словам «правительственного комиссара департамента Сены-и-Уазы», все без исключения батальоны последнего выделили известный контингент людей для отправки в Париж на борьбу с восстанием [4]). Севр с трибуны Национального Собрания определил их численность в 10.000 человек [5]).

Переходим к департаменту Сены-и-Марны. 26-го вечером префект последнего явился в Париж во главе 4—5 тысяч национальных гвардейцев округов Melum (44 км от Парижа) и Фонтенбло (60 км от Парижа) [6]). Национальная гвардия округов Ферте-су-Жуар (63 км от Парижа) и Мо (44 км от Парижа) также двинулась в поход [7]), при чем с особенным под'емом прошла запись добровольцев в маленькой сельской коммуне Санси, где, по словам газет, национальные гвардейцы записались до последнего человека, ибо «никто не хотел отставать от других в деле защиты семьи и собственности» [8]). Национальная гвардия кантона Moret (округа Фонтенбло), прибыв в Париж (расстояние в 72 км), уже 28 июня подняла вопрос о своем возвращении домой, «где можно ожидать некоторых беспорядков», поскольку этот кантон расположен «среди значительной массы рабочих каменоломен» [9]).

В департаменте Aisne, по словам префекта, особую преданность делу «порядка» выказало сельское население, которое поспешило снабдить мобилизованные в Лаоне (129 км от Парижа) и его окрестностях части национальной гвардии нужными для них повозками. Выступление одного из отрядов задержалось из-за колебаний префектуры, боявшейся «очистить область от всех способных носить оружие мужчин», присутствие которых могло оказаться необходимым, «в виду наличия в мануфактурах большого числа безработных рабочих» и неуверенности в том, что они сохранят спокойствие [10]). Четыреста человек национальных гвардейцев Сен-Кантена (139 км

---

[1]) «L'Union», 29 juin 1848.

[2]) «Moniteur universel», 25 juin 1848, p. 1489.

[3]) Archives de la Seine. V bis 370. Liasse 28. Quartier de la place Vendôme. Commissariat de police: Paris le 24 juin (midi).

[4]) Rapport, t. III, p. 110 (Versailles le 6 juillet).

[5]) «Moniteur», 25 juin 1848, p. 1492.

[6]) Rapport, t. III, p. 109 (Melun le 1 juillet 1848).

[7]) «Moniteur», 26 juin 1848, p. 1497. Administration des postes. Arrivée du 25 juin 1848.

[8]) «L'Union», 30 juin 1848.

[9]) Arch. Nat C 285. VIII Dossier, 2859. Paris 28 juin 1848. Oscar Lafayette, Représentant du dép-t de Seine-et-Marne.

[10]) Rapport, t. III, p. 8, 15, 16 (Laon, le 1 juillet, le 25 juillet).

от Парижа) также вызвались, уже 24 июня, двинуться на столицу, но супрефект, учитывая уход гарнизона, нашел необходимым сохранить на месте национальную гвардию этого города, чтобы с ее помощью сдерживать 1.200 остро-нуждающихся рабочих. «Эти несчастные, — добавляет префект, — вызывают восхищение своей покорностью и воодушевлены лучшими чувствами. Тем не менее, вы согласитесь с нами, что было бы неосторожно отпустить 400 человек из 1.600, которые составляют национальную гвардию этого города» [1].

Следственной комиссии один житель Сен-Кантена, национальный гвардеец и собственник (он так и подписался), жаловался, что власти этого города «преступными действиями задушили порыв населения, готового устремиться на помощь Парижу»; «эта честь выпала на долю департаментов, наиболее удаленных от Парижа»; участие же сен-кантенцев в борьбе «против анархии» ограничилось тем, что «дамы города» отправили в Париж «тюк корпии и старого платья» для раненных защитников «порядка» [2].

Не остался в стороне от общего движения собственников провинции и департамент Loiret, несмотря на существовавшее здесь опасение, как бы восстание не перекинулось на Орлеан, «этот аванпост Парижа» [3]) (119 км). Префект Э. Перейра не ограничился отправкой в столицу двух отрядов национальной гвардии, но решил 26-го «поднять на ноги весь департамент и двинуть его на выручку Парижа». Впоследствии он утверждал, что пошел на эту меру скрепя сердце, ибо очень не хотел «отрывать в тот момент жителей деревень от их обычной работы». Впрочем, полученное на следующий день известие о полном разгроме восстания сделало эту общую мобилизацию излишней [4].

Чтобы оградить себя от всяких сюрпризов в городе, полном самых тревожных слухов и лишенном как гарнизона, так и надежных частей гражданского ополчения, префект еще 24-го вызвал в Орлеан несколько батальонов национальной гвардии пригородных коммун. Последние должны были сдерживать своим присутствием 1.500 рабочих, занятых в национальных мастерских Орлеана. «Я не был уверен в том, какова будет позиция этих рабочих, сосредоточенных преимущественно по соседству со станцией железной дороги. Я опасался, как бы под влиянием известия о восстании они не взбунтовались в городе или не отправились в Париж. Я распорядился оцепить станцию национальными гвардейцами и связался, сверх того, с начальниками отдельных служб дороги, чтобы установить наблюдение за отправкою поездов и удержать в подчинении механиков, настроение которых не внушало мне доверия. Зато я всецело полагался на прочих служащих». Свои об'яснения префект заканчивает сообщением, что принятые им военные меры дали «превосходный эффект»: «рабочие сохранили полное спокойствие и продолжали без всякого перерыва свою обычную работу» [5].

Из частного письма, опубликованного в одной из парижских газет [6], мы узнаем следующие подробности о политических настроениях в деп. Соммы. При первом же известии о парижских событиях местная национальная гвардия поднялась как один человек. Недостаток перевозочных средств (экипажей и лошадей) привел, однако, к тому, что, например, город

---

[1]) Ibidem, т. III, p. 9.

[2]) Arch. Nat. C 285, 3243. Extrait d'une lettre datée de Saint-Quentin. 26 juin. E. Pingred, propriétaire, 16 rue Verte, garde n-l de la 1-re légion.

[3]) Тот же картон. 2856. Orléans, le 26 juin 1848. Le Maire de la ville d'Orléans à son collégue et ami le citoyen Sénard, president de la Chambre.

[4]) Rapport, t. III, p. 61, (Orléans le 3 juillet).

[5]) Ibidem, t. III, p. 60.

[6]) «L'Union», 1 juillet 1848.

Перонн (130 км от Парижа), мобилизовавший 500 человек, смог отправить в Париж только 150 из них. В виду того, что в департаменте циркулировали «зловещие слухи об исходе борьбы», мэры отдельных коммун собрались по кантонам, чтобы обсудить создавшееся положение. Решено было «отправить делегатов в Амьен» (128 км от Парижа), чтобы в этом центре департамента организовать сопротивление «террористическому правительству», которое могло бы быть навязано стране в случае победы восстания в столице. Успокоительные для собственников известия из Парижа сняли этот вопрос.

Богатая буржуазия Руана (126 км от Парижа), за два месяца перед тем обагрившая свои руки в крови рабочих предместий, также не осталась безучастной зрительницей парижского восстания. «Каждый понимает,— поспешила заявить 24-го числа влиятельнейшая из руанских газет [1]) — какое святое дело подверглось нападению со стороны безумцев, убийственный свинец которых уже сразил столько наших доблестных товарищей из парижской национальной гвардии».

Уже утром 24 июня отряд национальной гвардии Руана численностью в 360 человек особым поездом выехал в Париж. За ним, несколько часов спустя, последовал другой эшелон той же численности, в составе «двух отборных рот и двух рот центра». Боязнь «подорвать спокойствие в Руане, которому могла грозить опасность», удержала в этот день командующего войсками департамента от посылки новых подкреплений [2]). Но уже на следующий день (а отчасти и накануне) отряды национальной гвардии со всех концов департамента устремились в Париж, Гавр (213 км. от Парижа), отправил, еще вечером 24-го, тысячу человек [3]). Маленький Forges (114 км от Парижа) вместе с окрестными коммунами мобилизовал 600 человек [4]). Сельская коммуна Feuillie (109 км от Парижа) с населением в две тысячи душ выставила 165 человек; крохотный кантон Аргейль (111 км от Парижа) дал 150 человек. Городок Bourgthéroulde (136 км от Парижа), кроме посылки отряда добровольцев, отправил на имя Кавеньяка 288 кг печеного хлеба для нужд войск [5]).

Велика была растерянность в стане мелкой буржуазии Руана. Местная радикально-демократическая пресса начала с того, что призвала рабочих к спокойствию. «Ждите всего от парижского правительства»,— добавляла она. Нарочитая туманность (двусмысленность) этой фразы, обусловленная очевидно неуверенностью в исходе борьбы, испугала местную власть, которая уже готова была принять руанских демократов за пособников парижских инсургентов. Чтобы очистить себя от возможных подозрений, газета, которая опубликовала этот призыв, уже на следующий день (27-го) обратилась к рабочим с таким заявлением: «Не обманывайтесь, граждане из рабочих корпораций, то, что происходит в Париже, не имеет ничего общего с народом; социальный вопрос здесь не при чем. Итак, сохраните спокойствие и помните, что все происходящее есть не что иное, как столкновение партий». После торжественных фраз о том, что «демократия составляет дух века», что «глас народа есть глас божий», что сопротивление «привилегированных классов» приведет к воскрешению «террора 1793 года»,—газета приглашала руанских рабочих оставаться дома и не совершать никаких насилий. Властям предлагалось обратить внимание на происки мо-

[1]) Bibl. Nat. 2683. Supplément au «Journal de Rouen» du 24 juin 1848.

[2]) Arch. Nat. C 285. Ministère de la guerre. 3002. Rouen, 25 juin 1848 (4 h. du matin). Командующий войсками деп. Нижней Сены и Эры — военному министру.

[3]) Rapport, t. III, p. 207. Rouen, le 25, onze heures. Префект — министру внутренних дел.

[4]) «Journal de Rouen», 30 juin 1848.

[5]) «Journal de Rouen», 27 juin 1848.

нархического лагеря, так как «нет иных заговорщиков против республики, кроме легитимистов», на совести которых лежат устилающие теперь мостовые Парижа 28.000 трудов. Та же газета осуждала отправку в Париж национальной гвардии, которая может пригодиться в Руане, где имеется «1.500 каторжников» [1]). Последнее опасение было, конечно, совершенно необоснованным, поскольку в стенах Руана скопилось в этот момент свыше двух тысяч добровольцев «порядка» из соседних коммун [2]). Разоружая массы перед лицом об'единенной собственнической реакции, призывая рабочих на защиту буржуазной республики, республики Кавеньяка, мелкобуржуазная демократия Руана не спасла себя от гнева июньских победителей. Редактор цитированной нами газеты, некий Salva, был арестован по обвинению в подстрекательстве рабочих к походу на Париж, но за недостатком улик вскоре освобожден [3]).

В департаменте Марны беспокойство властям внушал город Реймс (156 км от Парижа), довольно крупный промышленный центр со значительным рабочим населением. Чтобы не допустить возможного установления связи между этим последним и парижскими инсургентами, префект вызвал из Шалона эскадрон гусар, разместив его сперва в окрестностях Реймса, а затем в самом городе, где он заменил отправленный в Париж пехотный батальон. Зато прочие коммуны департамента во главе с Шалоном (170 км от Парижа) поспешили мобилизовать отряды национальной гвардии для похода на Париж [4]). По сведениям буржуазных газет, крестьяне этого департамента, бросая полевые работы, охотно присоединялись к национальной гвардии городских коммун с возгласом: Идем на помощь Парижу! [5]).

Главный город департамента Аиве Труа (160 км от Парижа) не ограничился отправкой в Париж отряда волонтеров «порядка», но послал в армию столицы большой груз продовольствия для нужд войск (2.400 кг хлеба, 240 кг ветчины и других припасов, 10 боченков вина [6]).

Расстановка классов в провинции ко времени июньского восстания отчетливо выступает в докладе первого председателя судебной палаты округа Бурж (охватывающего три департамента—Шер, Ньевр, Эндр). С одной стороны—«все те, кто известен под именем легитимистов, конституционалистов сторонников золотой середины (juste - milieu), республиканцев об'единились под единым знаменем»—знаменем республики, «но республики умеренной, честной, уважающей личность и собственность». С другой стороны—меньшинство, требующее «радикальной республики» (une République ardente), республики, «готовой железной рукой раздавить богачей». Первая из этих двух групп, при получении известия об июньских событиях «полетела на помощь столице»; вторая не сдвинулась с места [7]).

Не менее пестрые политические элементы сталкивались в рядах гражданского ополчения, мобилизованного департаментом Кальвадос. С одной стороны—большое число «молодых людей», сторонников «республики, свободной от всяких крайностей», членов ассоциации, известной в Кане (223 км от Парижа) под именем «Черного клуба» (они собирались в помещении, обставленном как масонская ложа и обитом черным обоями) [1]).

---

[1]) Bibl. Nat. 2668. «Sentinelle des Travailleurs de Paris et de Rouen», 26 juin, 27 juin 1848.

[2]) «Journal de Rouen». Supplément du 26 juin 1848.

[3]) Rapport, t. III, p. 185. Главн. прокурор Руана — следственной комиссии (24/VII).

[4]) Rapport, t. III, p. 70—71 (Châlons, 2 juillet).

[5]) L'Union», 1 juillet 1848. «Journal des Débats», 2 juillet 1848.

[6]) Rapport, t. III, p. 161—162.

[7]) Arch. Nat. BB[18]1474A, plag. 3. Caen, 16 juillet 1848. Rapport sur l'état moral et politique de l'arrond-t de Caen. Le procureur de la République. Ledart.

С другой стороны—«лица, хорошо известные как члены партий орлеанистов и легитимистов»; эти последние проявляли такой пыл, что даже вызвали у префекта подозрения—не стремятся ли они в Париж для того, чтобы подкрепить восстание, истинный характер которого не был еще вполне ясен тогда (дело происходило 24-го) местным властям [1]).

С исключительной яркостью подлинные мотивы массового движения национальной гвардии провинции на Париж выступают в анонимной брошюре, выпущенной в Кане в первых числах июля [2]) и вышедшей из среды «орлеанистов ультра-консерваторов» (faction des orléanistes ultra-conservateurs), возглавляемых профессорами юридического факультета [3]).

«Нет, это не благородный энтузиазм первой революции, нет, это не горячий патриотизм наших отцов»... Конечно, молодежь ринулась не рассуждая, «движимая опьяняющим влечением к славе, против которого не может устоять ни один француз». Что же касается людей зрелых, осторожных, богатых, то в них заговорил инстинкт самосохранения... Они ясно почувствовали, что для них пробил час борьбы за свой покой, за свою собственность, за свое существование... Итак, наш героизм был героизмом по необходимости (notre héroisme était donc un héroisme de nécessité)... Национальное собрание и Париж не могут более сомневаться в нашем согласии на все меры, которые будут иметь своим результатом спасение общества, укрепление права собственности, упрочение семьи. ... Если бы Париж не понял нас, если бы он оказался настолько слепым, чтобы, вопреки собственным интересам, предаться безумствам коммунизма, мы предоставили бы ему свободу губить себя, но он не мог бы впредь рассчитывать на золото и на кровь провинции»...

Единение собственников Кальвадоса преодолело все политические разногласия, существовавшие в их рядах. «Карлизм, орлеанизм, наполеонизм, республиканизм всех оттенков смешивались между собою на пароходе из Кана в Гавр, а затем в поезде из Гавра в Париж. Представители всех этих направлений озабочены были одной мыслью—торжеством порядка, поражением анархии. Какая партия выиграет от этой блистательной манифестации департаментов? Одна единственная, к нашему счастью... великая партия Франции, т.-е. республики. Сумасбродные притязания претендентов отодвинуты в сторону единодушным порывом на защиту социального порядка. Единственно прочными являются в настоящий момент великие общие интересы, которые резюмирует слово республики (les grands intérêts que résume le mot République). Это, впрочем, не значит, что мы будем свидетелями безумств, о которых мечтали деятели февраля»... Иными словами—необходима республика, но республика буржуазная, как безымянная форма политического господства всего капиталистического класса.

В Северном департаменте власти с тревогой следили за Лиллем (241 км от Парижа), за его 60-тысячным рабочим населением, жестоко страдавшим от промышленного кризиса. Генерал Карреле, командующий войсками департамента, с минуты на минуту ждал взрыва, будучи убежден, что парижские события не могут не повлиять на поведение рабочих Лилля. Исходя из этой перспективы, он поспешил стянуть в город два линейных батальона, которые должны были заменить отправленные в Париж воинские части [4]). Префект, с своей стороны, задержал отправку в Париж отрядов на-

---

[1]) Rapport, t. III. p. 164 (Caen, 26 juin), p. 162 (Caen, 4 juillet).

[2]) Ars Nat. BB[18]1465A, plag. 2. Lettre d'un volontaire de la garde nationale de Caen. Caen, 3 juillet 1848.

[3]) Тот же картон, та же папка. Parquet de la Cour d'appel de Caen. Caen, le 5 juillet 1848. Главн. прокурор — министру юстиции.

[4]) Arch. Nat. C 285. VIII Dossier. 3004. Lille, le 25 juin 1848 (письмо военному министру).

циональной гвардии из пунктов, расположенных близ границы; он же запретил переход через границу «подозрительным иностранцам и конным польским солдатам», как элементам, способным присоединиться к восстанию [1]).

Тактика префекта вызвала полное одобрение буржуазной прессы. «Мы полагаем, что место республиканцев Валансьенна находится в Валансьене, что именно там они могут послужить республике,—заявляла одна из местных газет демократического направления.—Если действительно за этим восстанием кроется какой-либо бонапартистский или филиппистский заговор, то не подлежит сомнению, что иностранцы воспользуются уходом национальной гвардии, чтобы напасть на нашу территорию... Если враждебные фракции осмелятся поднять голову в Валансьенне или в департаменте, будем готовы дать им отпор» [2])

Несколько небольших отрядов национальной гвардии Северного департамента прибыли все же в Париж для борьбы с восстанием. Отряд г. Валансьенна (210 км от Парижа) в специальной декларации от 29 июня заверял членов Национального собрания в своей преданности «порядку», семье, собственности, которые «должны быть священны» [3]).

Префект департамента Эндры-и-Луары приходил в восторг от настроения национальной гвардии как Тура (236 км от Парижа), так и других коммун, среди которых оказались такие, которые «в одни сутки сделали до 27 лье, чтобы двинуться по направлению к столице». Он утверждал, что департаменты могли бы за пять дней мобилизовать и доставить в Париж армию в 500.000 человек «молодых, решительных, боеспособных солдат» [4]).

Префект департамента Mayenne с удовлетворением отмечал, что «доктрины инсургентов вызвали здесь только чувства возмущения и гнева», и что «рабочее население, несмотря на тяжелое положение, в котором оно находится из-за промышленного кризиса, сохранило спокойствие» [5]). Все же вначале власти далеко не были спокойны. Так, 24-го тот же префект сообщал Кавеньяку: «Отдаленность от Парижа и необходимость сохранить здесь внушительную силу, которая могла бы поддержать гарнизон, состоящий в значительной степени из новообранцев, едва ли позволят мне отправить в Париж какую-либо часть нашего гражданского ополчения». Вечером того же дня он же писал министру внутренних дел: «Необходимо не лишать департамент, который не раз потрясала гражданская война, всех живых сил, в которых он нуждается для собственной безопасности» [6]).

Правительственный комиссар департамента Manche с гордостью сообщал, что последний выставил 1.200 добровольцев для поддержки дела «порядка» в столице, и что если бы не успокоительные известия из Парижа, этот контингент был бы удвоен [7]). Среди прибывших в Париж отрядов национальной гвардии этого департамента—отсталого, земледельческого уголка Нормандии—мы встречаем много представителей старого дворянства, проявляющих большую активность. Об одном из них, Лепеллетве д'Онэ, бывшем

---

[1]) Rapport, t. III, p. 88 (Lille, le 30 juin).

[2]) Bibl. Nat. Journaux 736. «L'Impartial du Nord», 25 juin 1848.

[3]) Arch. Nat. C 285. VIII Dossier. 3215. Au Louvre le 29 juin 1848. Le capitaine commandant le détachement de la garde nationale de Valenciennes.

[4]) Rapport, t. III, p. 55 (Tours, le 29 juin).

[5]) Rapport, t. III, p. 74 (Laval, le 4 juillet).

[6]) Ibidem, t. III, p. 75—76.

[7]) Ibidem, t. III, p. 69 (Saint—Lô, le 30 juin.

...це-председателя палаты депутатов, рассказывает в своих воспоминаниях историк Токвиль, отмечающий удивившую его пылкость этого семидесятилетнего старика, который питался солдатским пайком и спал на улице вместе с людьми своего отряда [1]).

В департаменте Соны-и-Луары епископ Отена (299 км от Парижа) предоставляет свои экипажи в распоряжение отряда национальной гвардии, отправляющегося в Париж [2]).

Заместитель главного прокурора судебного округа Анжер (302 км. от Парижа) отмечает, что «все те партии, которые не стремятся к ниспровержению всякого социального порядка, затаили на некоторое время свои разногласия, дабы сообща выступить на защиту общества, поставленного, как им казалось, под угрозу жизни или смерти ордой варваров». При формировании отрядов национальной гвардии для похода на Париж на первом месте оказались «молодые люди, известные как члены партии легитимистов» [3]).

В Меце (316 км. от Парижа)—главном городе департаменте Moselle—единый фронт собственников создается не без борьбы. Местная радикально-республиканская мелкая буржуазия, окопавшаяся в «Демократическом клубе» и в газете «Друг народа», сделала безуспешную попытку занять независимую (промежуточную) позицию. 26 июня по городу были расклеены плакаты, в которых члены названного клуба заявляли о своей непоколебимой преданности делу демократической и социальной республики и протестовали «против всякого вида диктатуры», но в то же самое время предлагали свое содействие городским властям, поскольку последние готовы защищать республику «против всех ее врагов». Это заявление, вызвавшее сильное волнение в городе, не помешало однако подавляющему большинству членов клуба (префект называет их «честными гражданами») проявить полную лойяльность, а с получением известия о поражении парижских инсургентов поставить вопрос о самороспуске организации, каковой и состоялся 6 июля. Судьбу клуба разделила связанная с ним газета [4]).

О том, как сильно потрясена была буржуазия Ренна (332 км. от Парижа) июньскими событиями, свидетельствует следующий отрывок из одной местной газеты: «Бойня 1793 года, восстание 1830 года, февральские дни 1848 года, все это вместе взятое может дать лишь слабое представление о зрелище, которое представлял Париж 23 и 24 июня. Таков третий этап Республики **демократической и социальной**! Не будем терять мужества! А главное—никаких разногласий!». Та же газета сообщала о походе на Париж отряда в 500 человек национальных гвардейцев Ренна [5]). Депутат последнего, Méaulle, мог смело рассчитывать на сочувственный отклик, когда писал своим землякам: «Если бандиты (инсургенты) доберутся до Бретани, травите их как бешеных собак; они совершили ужасные зверства»... [6]).

«Ах, если б Париж не был так далек!»—вздыхал старшина корпорации адвокатов г. Мирекура (345 км от Парижа) в письме на имя одного из членов Национального Собрания [7]). Это восклицание хорошо передает

[1]) Alexis de Tocqueville: Souveniers publiés par le comte de Tocquille (Paris 1893), p. 235—236. В газете «Journal des Débats» от 1/VII—1848 этот доброволец «порядка» из среды старой аристократии упоминается на ряду с двумя другими—бывшим депутатом д'Оссонвилль и бывшим дипломатом де-Шапделен, из коих каждый привел с собою отряд национальной гвардии своей коммуны.

[2]) Bibl. Nat. L[11]c 848. «Journal de Rennes», 29 juin 1848.

[3]) Rapport, t. III, p. 138 — 139 (Angers, le 5 juillet 1848).

[4]) Rapport, t. III, p. 167—168 (Metz, le 1 août 1848); t. III, p. 86 (Metz, le 12 juillet).

[5]) «Journal de Rennes», 27 juin 1848.

[6]) «Journal de Rennes», 28 juin, 1848, 2-e Supplément.

[7]) Arch. Nat. C 285. VIII Dossier. 3127. Mirecourt, 25 juin 1848. Contal.

9

настроение «добрых граждан» тех местностей, которым только расстояние помешало принять участие в резне восставших рабочих столицы.

В департаменте Верхней-Соны «избранная часть населения г. Везуль» (363 км от Парижа), среди которой упоминается местный нотариус и к которой якобы присоединилось «несколько достойных рабочих» (des braves ouvriers), образовала отряд в 120 чел. для похода на Париж. Такие отряды были мобилизованы и в других пунктах. Отпрыск старого дворянства, землевладелец и мэр Guy de Conflandey поднял население сельской коммуны того же имени (в 17 км от Везуля). Другой отпрыск феодальной аристократии d'Andelarr собрал национальную гвардию нескольких кантонов того же департамента. Несмотря на разгар полевых работ, желающих принять участие в походе на Париж оказалось больше, чем требовалось [1]). Само собой разумеется, что подобную роскошь могла себе позволить, вообще говоря, лишь верхушка деревни, прибегающая к наемному труду, а не мелкий крестьянин или сельский батрак.

Документы иной раз намекают на это довольно ясно. Так, советник префектуры соседнего департамента Вогезов сообщает, что инициатива мобилизации сельских батальонов национальной гвардии исходила не от рядовых крестьян, а от мэров либо от командиров [2]). Прокурор республики округа Эпиналь (678 км от Парижа) доносит министру юстиции, что сельские кантоны присылают своих людей «вооруженными, экипированными и готовыми к походу» [3]). Некий Жюльен, земледелец (он так и называет себя — cultivateur) департамента Шер, округа Вьерзон (201 км от Парижа), прибыв в столицу 26 июня, остается здесь, несмотря на полевые работы, о которых он беспокоится, слишком долго для человека, лично обрабатывающего свою парцеллу (мы застаем его в Париже еще 8 июля) [4]).

В департаменте Côtes d'Or, при формировании добровольческих отрядов для похода на Париж, особое рвение проявляет буржуазия маленьких городов и местечек, где не приходится опасаться собственных рабочих. Гораздо меньше пыла выказывает крестьянство, которое очень неохотно отрывается от полевых работ, хотя и осуждает в своем большинстве восстание. В сельском по-преимуществу районе Semur (245 км от Парижа) процентное отношение добровольцев к населению колебалось по отдельным коммунам между 0,1 и 4,8. В других частях того же департамента, несмотря на настойчивые призывы властей, несмотря на щедрую субсидию (до 30 франков на душу), 14 коммун из 44 не дали ни одного добровольца [5]).

Если национальная гвардия департамента Пюи-де-Дом не попала в Париж, то единственно потому, что префект считал необходимым ее присутствие на месте, особенно в гор. Клермон-Ферране (382 км. от Парижа), «где имеется много рабочих» [6]). Мы уже видели, что такого рода случаи были далеко не единичными.

Исключительное спокойствие, царившее в Нанте (391 км. от Парижа) со времени подавления рабочих волнений 19 июня, позволило властям приступить к мобилизации тысячи человек национальных гвардейцев, из коих 300 человек выступили уже 25-го вечером [7]). Телеграмма о ликвидации восстания была встречена здесь «с полным удовлетворением»; «анархисты

[1]) «L.Union», 2 juillet 1848 (письмо из Везуля).

[2]) Rapport, t. III, p. 119

[3]) Arch. Nat. BB[18] 1465a, plag. 2. Epinal, le 27 juin 1848.

[4]) Arch. Nat. C 285. VIII Dossier. 3198. Paris, le 8 juillet 1848.

[5]) Robert Schnerb, La Côte-d'Or et l'insurrection de juin 1848 («Bulletin de la Société d'histoire de la Révolution de 1848», Paris, 1923—1924, t. XX, p. 210—214).

[6]) Arch. Nat. BB[18], 1465a, plag. 2. Riom, le 26 juin 1848. Главн. прокурор — министру юстиции.

7) Тот же картон, та же папка. Без даты.

подавлены (les anarchistes sont atterrés),—добавляет районный прокурор в донесении на имя министра юстиции [1]).

«Область Вандеи, которая до сего времени не переставала быть очагом брожения, ныне является не только самой спокойной, но и самой патриотически-настроенной во Франции. В Брессюире (347 км от Парижа), в Ниоре (411 км), в Мейле (391 км), в Партенэ (357 км) все рвутся на помощь нашим героическим братьям парижанам. Во всем моем районе, в значительной части Вандеи у всех на устах один единственный возглас: — «Да здравствует республика! долой анархию!» [2]).

Префект департамента Вандеи вносит некоторые дополнения к этой характеристике, исходящей от прокурора района Двух-Севров. По его словам, несмотря на деятельность монархических партий, «основная масса национальных гвардейцев хочет республики, умеренной и чистой, но вместе с тем сильной и прочной». Область, земледельческая и скотоводческая по преимуществу, «стоит за семью, за собственность и питает отвращение к коммунизму» (on veut la famille, on veut la propriété, on a horreur du communisme). «Нет, я не вижу у нас сообщников июньских или майских инсургентов»,—заканчивает свое сообщение префект [3]).

Расстояние помешало собственникам департ. Луары «разделить опасность со своими братьями и помочь им в спасении общества, порядка и республики, поставленных под угрозу». Но был «еще один мотив», который удержал национальную гвардию департамента, и, в частности, города Монбризон (447 км от Парижа), от похода на столицу: «Они боялись, как бы рабочие Лиона или Сент-Этьенна не последовали примеру рабочих, занятых в национальных мастерских Парижа, и хотели, если бы это случилось, пойти на выручку этих городов» [4]).

«Национальная гвардия Страсбурга (456 км от Парижа), — гласит адресованная Кавеньяку телеграмма, — поднялась бы, как один человек, чтобы лететь на помощь Национальному Собранию, если бы столь же священный долг не удерживал ее на границе. Да здравствует республика, единая и неразделимая! Да здравствует Национальное Собрание!» [5]).

«Перед лицом грозных событий, которые происходят в Париже, Республиканское общество заявляет, что, каков бы ни был их исход, оно останется верным знамени демократической республики, единой и нераздельной, и выступит всеми доступными ему средствами против всякого анархического, или монархического, иначе — реакционного, движения».

Аналогичную резолюцию приняла другая политическая организация Страсбурга — «Клуб республиканского братства», бюро которого об'явило свои заседания непрерывными [6]).

Классовая основа этих выступлений разных групп страсбургской буржуазии была хорошо вскрыта одной из местных газет, которая давала следующую оценку июньским событиям: «Не одной лишь свободе грозила опасность быть раздавленной в этой ужасной борьбе. Дело шло о существовании самого общества, собственности и семьи, этих двух извечных устоев всякой со-

---

[1]) Тот же картон, та же папка. Nantes, le 27 juin 1848, à 9 h. du soir.
[2]) Arch. Nat. BB[30], 364 (2). Bressuire, le 27 juin 1848. Район. прокурор— министру юстиции.
[3]) Rapport, t. III, p. 116 (Napoléon, 29 juin 1848).
[4]) Ibidem, t. III, p. 58 (Montbrison, le 1 juillet).
[5]) Bibl. Nat. Journaux 806. «Le Courrier du Bas-Rhin», № 153, 26 juin 1848.
[6]) «Le Courrier du Bas-Rhin», № 154, 27 juin 1848.

циальной организации... Каждый (национальный гвардеец) понимал, что он сражается за свой очаг, за свой дом, за свое предприятие, за свою жену, за своих детей; каждый сознавал необходимость победить, наконец, анархию, дабы не пасть под ее ударами» [1]).

Остается добавить, что сторонники всех религиозных культов солидарно почтили здесь «память граждан», павших в Париже при защите республики и социального порядка». Раньше других состоялась панихида в страсбургской синагоге, — в присутствии префекта, мэра, членов муниципалитета, офицеров национальной гвардии и офицеров гарнизона [2]).

«Громкий крик негодования и боли потряс департамент Жиронды при известии о прискорбных событиях, поставивших под угрозу существование республики и общества»,—писал главный прокурор судебного округа Бордо в докладе, адресованном следственной комиссии [3]). И, действительно, не смущаясь расстоянием, отряд в 1.500 национальных гвардейцев Бордо (561 км от Парижа) двинулся походом на Париж [4]) (Принять участие в боях ему, конечно, не удалось). К формированию отрядов приступлено было и в других пунктах департамента, — напр., в Блэ (542 км от Парижа), где, запись добровольцев открыл местный прокурор, о чем он поспешил, конечно, сообщить министру [5]). При первом известии о парижском восстании в Бордо примчался из своего сельского уединения, куда его загнала революция, маршал Бюжо — верный слуга короля, буржуа, увековечивший себя в апреле 1834 года палаческой расправой с инсургентами в улице Транснонен. В письме к Тьеру от 29 июня он сообщает, что прибыл в Бордо «с твердым намерением организовать сопротивление красной республике, если бы та победила», и выражает уверенность, что нашел бы сочувственный отклик «не только там, но и далеко вокруг» [6]). Именно факты такого рода имеет в виду главный прокурор Бордо, когда он пишет, что «необходимость спасти общество, которому угрожала опасность, об'единила, по крайней мере, временно, под знаменем порядка, честных людей всех партий [7]).

Интересно отметить, что июньское восстание в Париже дало толчок к возрождению среди имущих классов Жиронды (а, отчасти, и других департаментов) старого федерализма на новой основе. Вот, напр., как выражалась одна из бордоских газет, под свежим впечатлением известий из столицы: «Париж, проклятый город, современная Гоморра, источник всех наших бедствий и всех наших страданий, Париж в огне... Департаменты Франции, соберутся ли они когда-нибудь сбросить это гнусное, деспотическое ярмо?.. Париж не представляет более Франции, Париж не представляет более нации. Париж был спасен 16 апреля — и подарил нам позор; Париж был спасен 15 мая — и подарил нам нищету, волнения, измену, гражданскую войну, диктатуру...» [8]).

В городе Quimper (558 км от Парижа) неуверенность властей департамента Финистер в том, какое впечатление произведут здесь парижские события, побудила префекта скрыть от масс официальные телеграммы о восстании в столице; содержание их было сообщено только узкому кругу лиц, близких к префектуре. 27-го был сформирован для отправки в Париж отряд нацио-

---

[1]) «Le Courrier du Bas-Rhin», № 155, 28 juin 1848.
[2]) Ibidem, № 157, 30 juin 1848.
[3]) Ibidem, t. III, p. 150 (Bordeaux, le 18 juillet 1848).
[4]) «Journal de Rennes», 28 juin 1848, 2-e Supplément.
[5]) Arch. Nat. BB[18], 1465a, plag. 1. Blâge, le 30 juin 1848.
[6]) D. Halévy, Le Courrier de M. Thiers (Paris, 1921), p. 235—236.
[7]) Rapport, t. III, p. 151.
[8]) «Le Courrier de la Gironde», 25 juin 1848.

нальной гвардии, при чем из полутораста добровольцев три десятка были забракованы, как политически ненадежные [1]).

«Брожение среди части рабочего класса Родеза» (604 км от Парижа) побудило префектуру департамента Авейрон скрыть от масс «первые депеши о печальных событиях, театром которых явился Париж» [2]).

Комментируя телеграммы из Парижа, буржуазная пресса Тулузы (692 км от Парижа) полностью одобряла действия Кавеньяка, в частности — проводимую им концентрацию в Париже возможно большей массы вооруженных сил, что должно было «помешать инсуррекции разрастись вширь». Та же пресса хладнокровно обсуждала перспективу голодной блокады рабочих предместий столицы. «Ограниченное рамками территории, которую оно занимает, восстание может считаться конченным поскольку достаточно будет отрезать ему подвоз продовольствия, чтобы доканать его». Общественное мнение, с нетерпением ожидающее скорейшей развязки, может успокоиться: когда продовольственные ресурсы иссякнут, восстание «будет вынуждено сложить оружие и капитулировать». «Итак, мужество и единение!» «Честные люди должны сомкнуть свои ряды, если они хотят успешно противостоять натиску анархии [3]).

В Ниме (703 км от Парижа), где стародавняя вражда между католиками и протестантами привела в конце апреля к кровавому столкновению, которое повторилось в середине июня, власти с минуты на минуту ждали взрыва. Инициативы выступления ждали от демократического клуба Гибелли, штаб-квартиры протестантов, на которых сильнейшее впечатление произвели марсельские баррикады 22—23 июня. То, что дело в Ниме не дошло в этот момент до вооруженного восстания, префект приписывает исключительно своей предусмотрительности — концентрации в городе крупных военных сил и сокрытию тревожных телеграмм из Парижа. На совещании высших чиновников и городских нотаблей, которое состоялось в префектуре, решено было, в случае победы парижского восстания, сохранить верность Национальному Собранию и, опираясь на католиков как Нима, так и всего юга, раздавить протестантов, «если бы те стали на сторону инсургентов» [4]).

Иначе склонен об'яснять спокойствие, которое Ним сохранил во время июньских дней, главный прокурор округа Комбье. Основываясь на информации своих подчиненных, он отмечает, что все население (правильнее было бы сказать — все собственники) отбросило «местные раздоры и, «независимо от разногласий религиозного или политического порядка», об'единилось «в общей заботе о сохранении существующего социального строя» [5]). Известие об окончательном торжестве «порядка и свободы» было встречено «с энтузиазмом»,— сообщает тот же прокурор министру [6]).

Было бы слишком утомительным перечислить все департаменты и все коммуны, собственнические элементы которых пришли на помощь Национальному Собранию в его борьбе с рабочим восстанием в столице. Недостаток удобных средств сообщения (слабая сеть железных дорог) помешал большинству добровольческих отрядов, мобилизованных провинцией, принять непосредственное участие в военных действиях. Они были использованы, главным образом, для охраны (правильнее было бы сказать — для избиения) плен-

[1]) Rapport, t. III, p. 43 (Quimper, le 2 juillet).
[2]) Ibidem, t. III, p. 23 (Rodez, le 7 juillet).
[3]) Bibl. Nat. Journaux 124. «La Gazette du Languedoc», 26, juin 1848.
[4]) Rapport, t. III, p. 50 — 51 (Nîmes, le 1 juillet).
[5]) Ibidem, t. III, p. 175.
[6]) Arch. Nat. BB[30], 363 (1). Nîmes, le 27 juin 1848.

ных инсургентов [1]), а отчасти для операции по разоружению национальной гвардии парижских предместий [2]).

По данным официальной печати, численность национальной гвардии департаментов, принявшей участие в смотру 28 июня, превысила 100.000 человек [3]). Ряд новых отрядов, из отдаленных местностей, прибыл в Париж уже после этого смотра [4]). Этот непрерывный приток провинциалов, поражавших парижан старомодной внешностью и допотопным оружием [5]), прекратился не сразу. А сколько отрядов задержано было в пути успокоительными телеграммами из Парижа!

Нужно ли говорить о том, какое впечатление производило на буржуазию столицы прибытие все новых и новых отрядов гражданского ополчения провинции? «С этого момента стало ясно, — пишет Токвиль, — что победа останется за нами, ибо мятежники не получали никаких подкреплений, а для нас служила резервом вся Франция» [6]). Ген. Кастеллан заносит 29 июня в свой дневник: «Национальные гвардейцы департаментов продолжают прибывать в Париж; это производит большой моральный эффект на рабочих, которые ясно видят теперь, что если бы они даже оказались победителями, они не смогли бы сделаться хозяевами Франции, как они еще недавно воображали» [7]). Таким же образом расценивает в своей газете поход департаментов на столицу «социалистический» подголосок буржуазии фурьерист Консидеран. «Пусть инсургенты не предаются иллюзиям, пусть не говорят: наше поражение без сомнения ухудшило страдания народа, но наша победа спасла бы его. Эта победа была невозможна. Даже овладев Парижем, восстание не подчинило бы себе Франции. Будучи неприемлемым для городских собственников, оно было неприемлемо и для всей массы земледельцев. Успех инсуррекции в Париже мог бы побудить Национальное Собрание избрать себе другую резиденцию, но национальные гвардейцы департаментов и армия не стали бы колебаться в выборе между двумя правительствами. Париж был бы отрезан, осажден, подвергнут бомбардировке» [8]).

Мы не будем говорить о приеме, который был оказан буржуазным Парижем прибывшим из провинции отрядам вооруженных собственников [9]). Мы не будем говорить о комплиментах, которыми осыпали этих спасителей «цивилизации» от «анархии» Кавеньяк и его достойный товарищ Сенар. Мы напомним лишь одну фразу из обращения Национального Собрания «к французскому народу» от 28 июня — настоящий перл официального лицемерия торжествующей буржуазии:

«Высокий порыв, который со всех концов Франции бросил на Париж тысячи солдат-граждан, энтузиазм коих до сих пор волнует нас, не говорит

---

[1]) См. яркий пример зверской жестокости национальных гвардейцев провинции во время июньских дней—у Жорж-Занд, в предисловии к «Кадио» (цитировано у V. Marouck, Juin 1848, p. 84—85).

[2]) Arch. de la Seine. Vbis 380. Liasse 6. Mairie de Paris. 26 juin 1848. Armand Marrast.

[3]) «Moniteur», 29 juin 1848, p. 1515.

[4]) «Le Courrier francais», 30 juin 1848; «L'Union», 1 juillet 1848, «Moniteur», 30 juin 1848, p. 1521.

[5]) Max. Du Camp, Souvenirs de l'année 1848 (Paris, 1876), p. 295.

[6]) Al. de Tocqueville, Souvenirs, p. 235.

[7]) Journal du maréchal de Castellane, L. IV, p. 87 (Paris 1896).

[8]) «Démocratie pacifique», 30 juin 1848.

[9]) «Их встречают, — сообщал «Journal du Havre», — с признательностью, которая переходит в ликование, с возгласами: «Вы наши спасители, без вас мы бы погибли, передайте вашим братьям, чтобы они явились сюда в еще большем числе». Особенно горячо приветствовала прибывающих из провинции добровольцев «порядка» аристократия Сен-Жерменского предместья, которая чествовала их парадными обедами в своих особняках (Roger Lévy-Guenot, Rouen et le Havre au secours de Paris en juin 184,8 «Bulletin de la Société d'histoire de la Révolution de 1848», Paris, 1918—1919, t. XIV, p. 13).

ля он ясно о том, что при режиме всеобщего прямого голосования величайшим из преступлений является восстание против народного суверенитета»[1]).

2.

Единый собственнический фронт, установившийся в провинции под впечатлением рабочего восстания в Париже, сопровождался, как мы видели, временным сплочением сторонников различных политических направлений вокруг трехцветной республики, как общего представительства интересов всех фракций буржуазии. В частности, лойяльность монархических партий, о которой свидетельствует приведенный нами выше материал, коренилась, как правильно отмечает орлеанист Одилон Барро, в боязни «ослабить дело защиты общества, осложнив ее интересами династического порядка»[2]).

Только с победой «порядка» в Париже легитимисты, орлеанисты, бонапартисты возобновляют свою прерванную работу по подготовке монархической реставрации того или иного типа.

Рассмотрим некоторые, зарегистрированные в документах, факты нарушения единства собственнических рядов во время июньских событий со стороны приверженцев прежних династий, искавших опоры среди разных слоев провинциального населения.

О том, какие опасения возбуждала в этот момент партия легитимистов, свидетельствует следующая телеграмма префекта департ. Вьенны министру внутренних дел от 26 июня: «Следует ли отправлять 300 человек национальных гвардейцев? Мы совершенно лишены войск, а легитимисты очень многочисленны. Я отнесся бы отрицательно к удалению самых активных и самых преданных людей. Отвечайте немедленно»[3]).

Четыре дня спустя тот же префект, в докладе на имя следственной комиссии, вынужден признаться в том, что его опасения оказались неосновательными. Правда, при получении известия о восстании в Париже, легитимисты города Пуатье пришли в движение; однако уже очень скоро выяснилось, что организованные ими многолюдные собрания преследовали вполне благонамеренную цель — «организоваться для отпора возможным нападениям со стороны рабочего класса». В итоге префект считает доказанным, что местные легитимисты не имели никакого отношения к парижским событиям[4]).

Описанный нами случай довольно типичен.

Но вот другой случай — иного типа. 24 июня монархическая газетка «Journal de l'Aisne», выходящая в Лаоне (департ. Aisne), опубликовала статью, в которой черным по белому стояло: «Все, что угодно, исключая республику». Вечером того же дня редактор газетки, некий Leroir, потребовал скорейшего вооружения и скорейшей отправки в Париж местного гражданского ополчения, из'явив желание принять личное участие в походе. Префект, не будучи в состоянии отказать ему, счел нужным поставить его под особое наблюдение начальника отряда[5]).

Более серьезная ситуация сложилась в Кане (деп. Кальвадос), где агитация монархистов разных оттенков приняла накануне июньского восстания весьма широкие размеры. 24-го «лица, хорошо известные своей принадлежностью к партиям орлеанистской и легитимистской, выступили с тре-

[1]) «Moniteur», 29 juin 1848, p. 1516.
[2]) Odilon Barrot, Mémoires posthumes (Paris 1875), t. II, p. 286 — «peut-être craignirent-ils d'affaiblir la défense sociale en la compliquant d'intérêts dynastiques».
[3]) Rapport, t. III, p. 211.
[4]) Ibidem, t. III, p. 117 — 118.
[5]) Rapport, t. III, p. 10 (Laon, le 1 juillet).

бованием немедленной отправки национальной гвардии в Париж». Власти, опасаясь, как бы при таком составе добровольческого отряда он не оказался «новым подкреплением для мятежников», отказались удовлетворить это требование. На этом местные монархисты не успокоились. Воспользовавшись волнением, вызванным парижскими телеграммами, они повели демагогическую агитацию среди «низших слоев рабочего класса», пытаясь поднять их против префекта. Положение приняло угрожающий характер; возникло опасение, что здание префектуры будет атаковано. «Лойяльность огромного большинства национальной гвардии» и меры, принятые военной властью, предупредили столкновение. Но брожение улеглось не сразу [1]).

Виноторговец Жилле из Bray-sur-Somme, в письме на имя Одилона Барро, бьет тревогу по поводу деятельности монархически настроенных представителей старого дворянства департ. Соммы. В качестве иллюстрации он приводит, между прочим, следующий факт. В разгар июньских событий активный легитимист, землевладелец из Sainte-Suzann (16 км от г. Перонна, что в 130 км от Парижа) граф д'Эстурмель обратил на себя общее внимание своим подозрительным поведением. Вопреки своей всегдашней склонности к уединению и покою, он внезапно выехал в Париж, «взяв с собою два небольших ящика, которые несколько человек с трудом могли погрузить и которые скрывали, конечно, значительные ценности» (некий Морган уличен в том, что вручил графу сумму в 800 фр., предназначенную якобы для передачи инсургентам). Из Парижа граф возвратился «лишь после того, как мятеж был подавлен». Автор письма убежден, что эта поездка имела определенную политическую цель. Свое сообщение он заканчивает указанием на необходимость обезвредить подобных людей, которые благодаря своему богатству, «будут серьезным препятствием к процветанию республики» [2]).

О происках монархистов департамента Orne правительственный комиссар последнего Берье-Фонтен сообщает следующие данные: 24 и 25 июня «неизвестные лица обходили окрестные деревни, рассказывая, что республика упразднена и что Генрих V взошел на трон». Легитимисты Алансона (193 км от Парижа), узнав о том, что происходит в столице, 26-го утром самовольно собрали несколько сот национальных гвардейцев на одной из площадей города с явным намерением двинуть их на Париж. Замыслы их были, однако, расстроены известием о поражении инсургентов [3]).

Префект Морбитана А. Гепен, отмечая почти полное отсутствие в департаменте «красных республиканцев» и «наполеонистов», приходит к заключению, что местные орлеанисты и местные легитимисты «готовы были использовать в своих целях июньскую битву». Бывший префект департамента, Лоруа, «глава орлеанистов запада», оказался в момент парижских событий в Бресте, куда прибыл якобы для изучения строения раковин. По мнению Гепена, это невинное занятие только предлог, за которым скрывается нечто другое, — участие в заговоре, который почти открыто организуется в портах, где идет работа по об'единению всех моряков, служивших ранее под начальством принца Жуанвилль (сына короля Луи-Филиппа). Тот же Лоруа сделал попытку уклониться от уплаты 45-сантимного налога. Впрочем, это—«вполне порядочный человек», с которым префект не считает возможным сговориться. Относительно легитимистов Гепен сообщает, что, когда в Морбитане было получено известие о поражении восстания, они об'явили это известие ложным [4]).

---

[1]) Ibidem, t. III, p. 164 (Caen, 26 juin 1848).

[2]) Arch. Nat. C 285. VIII Dossier. 3181. Bray-sur-Somme, 6 juillet 1848.

[3]) Rapport, t. III, p. 90 (Alençon, le 28 juin).

[4]) Rapport, t. III, p. 78 — 79.

О стараниях монархистов двух соседних департаментов Ille-et-Vilaine и Côtes-du-Nord использовать в своих целях июньские события рассказывает мэр округа Saint-Jouan de l'Isle (в 25 км от г. Динана, что в 375 км от Парижа). Мы узнаем, что местные легитимисты — представители бретонского землевладельческого дворянства — не скрывали своего удовлетворения по поводу первых сообщений из Парижа и держали себя так, словно на их улице наступил праздник. Телеграмму о подавлении восстания они встретили с явным раздражением. В сопровождении двух десятков людей, вооруженных охотничьими ружьями и собранных под предлогом большой охоты, они двинулись по направлению к Парижу; однако уже в самом начале похода импровизированный отряд распался, уничтожив предварительно наличные запасы вина [1]).

Некий Gabert, из Марселя, в письме на имя министра юстиции, утверждает, что «легитимисты департаментов были заранее приглашены прибыть в Париж во главе возможно большего числа подручных». В качестве примера он указывает на некоего Giacobi, ярого роялиста, бывшего королевского прокурора, а ныне советника судебной палаты Алжирского округа. Этот человек, прибыв 12 июня из Алжира в сопровождении своего слуги и еще трех лиц, был якобы замечен 23 числа среди инсургентов, занимавших здание Пантеона. К началу июля одно из этих лиц возвратилось домой; прочие остались в Париже в надежде возобновить попытку, подобную той, которая только что сорвалась». «Бог да спасет Францию! Да здравствует республика!» — заканчивает свое сообщение Gabert [2]). Остается добавить, что мы нигде не нашли подтверждения указанных здесь фактов.

Переходим в Руану. 24 июня, в местной легитимистской газете «Impartial de Rouen», можно было прочесть следующие строки: «Сомневаться больше невозможно. Правительство находится в сговоре с мятежом и организует анархию». Установлено, что первые баррикады были воздвигнуты «без того, чтобы кто-либо воспрепятствовал этому»; что национальная гвардия не получала никаких приказов; что тревога была поднята с опозданием на два часа. Кто виноват во всем этом? Правительство. Какова цель такой его политики? Вызвать «внешнее давление», которое дало бы возможность провести законопроект о выкупе государством железных дорог, находящихся в частной эксплоатации. Так рассуждает газета, которая, как и подобает органу крупной буржуазии, не скрывает своего раздражения по поводу этого законопроекта. Исполнительная Комиссия, открыто возглавляющая «анархические замыслы мятежа», должна быть немедленно распущена и предана суду Национального Собрания по обвинению в «оскорблении нации». Отчет о заседании палаты, пересыпанный резкими выпадами по адресу главарей и «трехцветных» и «красных» республиканцев, та же газета заканчивает следующим резюме: «Самое опасное во всем этом заключается в том, что уже насчитывается до трехсот жертв, что восстание принимает угрожающие размеры, что национальная гвардия начинает колебаться и что взоры уже обращаются на провинцию. Нужно, чтобы провинция спасла Париж». Последняя фраза — Il faut que la province sauve Paris — была набрана жирным шрифтом [3]).

Цитированная статья побудила местную власть прибегнуть к репрессиям, впрочем, не очень суровым. Номер «Impartial» от 24 числа был запрещен к продаже, а ее главный редактор — арестован, но после краткого допроса отпущен. Полученные в тот же вечер известия об отставке членов

[1]) Rapport, t. II, p. 275.
[2]) BB[18], 1465a, plag. 1. Marseille, le 19 juillet 1848.
[3]) Bibl. Nat. 2670. «L'Impartial de Rouen», 24 juin 1848.

бованием немедленной отправки национальной гвардии в Париж». Власти, опасаясь, как бы при таком составе добровольческого отряда он не оказался «новым подкреплением для мятежников», отказались удовлетворить это требование. На этом местные монархисты не успокоились. Воспользовавшись волнением, вызванным парижскими телеграммами, они повели демагогическую агитацию среди «низших слоев рабочего класса», пытаясь поднять их против префекта. Положение приняло угрожающий характер; возникло опасение, что здание префектуры будет атаковано. «Лойяльность огромного большинства национальной гвардии» и меры, принятые военной властью, предупредили столкновение. Но брожение улеглось не сразу [1]).

Виноторговец Жилле из Bray-sur-Somme, в письме на имя Одилона Барро, бьет тревогу по поводу деятельности монархически настроенных представителей старого дворянства департ. Соммы. В качестве иллюстрации он приводит, между прочим, следующий факт. В разгар июньских событий активный легитимист, землевладелец из Sainte-Suzann (16 км от г. Перонна, что в 130 км от Парижа) граф д'Эстурмель обратил на себя общее внимание своим подозрительным поведением. Вопреки своей всегдашней склонности к уединению и покою, он внезапно выехал в Париж, «взяв с собою два небольших ящика, которые несколько человек с трудом могли погрузить и которые скрывали, конечно, значительные ценности» (некий Морган уличен в том, что вручил графу сумму в 800 фр., предназначенную якобы для передачи инсургентам). Из Парижа граф возвратился «лишь после того, как мятеж был подавлен». Автор письма убежден, что эта поездка имела определенную политическую цель. Свое сообщение он заканчивает указанием на необходимость обезвредить подобных людей, которые благодаря своему богатству, «будут серьезным препятствием к процветанию республики» [2]).

О происках монархистов департамента Orne правительственный комиссар последнего Берье-Фонтен сообщает следующие данные: 24 и 25 июня «неизвестные лица обходили окрестные деревни, рассказывая, что республика упразднена и что Генрих V взошел на трон». Легитимисты Алансона (193 км от Парижа), узнав о том, что происходит в столице, 26-го утром самовольно собрали несколько сот национальных гвардейцев на одной из площадей города с явным намерением двинуть их на Париж. Замыслы их были, однако, расстроены известием о поражении инсургентов [3]).

Префект Морбитана А. Гепен, отмечая почти полное отсутствие в департаменте «красных республиканцев» и «наполеонистов», приходит к заключению, что местные орлеанисты и местные легитимисты «готовы были использовать в своих целях июньскую битву». Бывший префект департамента, Лоруа, «глава орлеанистов запада», оказался в момент парижских событий в Бресте, куда прибыл якобы для изучения строения раковин. По мнению Гепена, это невинное занятие только предлог, за которым скрывается нечто другое, — участие в заговоре, который почти открыто организуется в портах, где идет работа по об'единению всех моряков, служивших ранее под начальством принца Жуанвилль (сына короля Луи-Филиппа). Тот же Лоруа сделал попытку уклониться от уплаты 45-сантимного налога. Впрочем, это — «вполне порядочный человек», с которым префект не считает возможным сговориться. Относительно легитимистов Гепен сообщает, что, когда в Морбитане было получено известие о поражении восстания, они об'явили это известие ложным [4]).

---

[1]) Ibidem, t. III, p. 164 (Caen, 26 juin 1848).

[2]) Arch. Nat. C 285. VIII Dossier. 3181. Bray-sur-Somme, 6 juillet 1848.

[3]) Rapport, t. III, p. 90 (Alençon, le 28 juin).

[4]) Rapport, t. III, p. 78 — 79.

О стараниях монархистов двух соседних департаментов Ille-et-Vilaine и Côtes-du-Nord использовать в своих целях июньские события рассказывает мэр округа Saint-Jouan de l'Isle (в 25 км от г. Динана, что в 375 км от Парижа). Мы узнаем, что местные легитимисты — представители бретонского землевладельческого дворянства — не скрывали своего удовлетворения по поводу первых сообщений из Парижа и держали себя так, словно на их улице наступил праздник. Телеграмму о подавлении восстания они встретили с явным раздражением. В сопровождении двух десятков людей, вооруженных охотничьими ружьями и собранных под предлогом большой охоты, они двинулись по направлению к Парижу; однако уже в самом начале похода импровизированный отряд распался, уничтожив предварительно наличные запасы вина [1]).

Некий Gabert, из Марселя, в письме на имя министра юстиции, утверждает, что «легитимисты департаментов были заранее приглашены прибыть в Париж во главе возможно большего числа подручных». В качестве примера он указывает на некоего Giacobi, ярого роялиста, бывшего королевского прокурора, а ныне советника судебной палаты Алжирского округа. Этот человек, прибыв 12 июня из Алжира в сопровождении своего слуги и еще трех лиц, был якобы замечен 23 числа среди инсургентов, занимавших здание Пантеона. К началу июля одно из этих лиц возвратилось домой; прочие остались в Париже в надежде возобновить попытку, подобную той, которая только что сорвалась». «Бог да спасет Францию! Да здравствует республика!» — заканчивает свое сообщение Gabert [2]). Остается добавить, что мы нигде не нашли подтверждения указанных здесь фактов.

Переходим в Руану. 24 июня, в местной легитимистской газете «Impartial de Rouen», можно было прочесть следующие строки: «Сомневаться больше невозможно. Правительство находится в сговоре с мятежом и организует анархию». Установлено, что первые баррикады были воздвигнуты «без того, чтобы кто-либо воспрепятствовал этому»; что национальная гвардия не получала никаких приказов; что тревога была поднята с опозданием на два часа. Кто виноват во всем этом? Правительство. Какова цель такой его политики? Вызвать «внешнее давление», которое дало бы возможность провести законопроект о выкупе государством железных дорог, находящихся в частной эксплоатации. Так рассуждает газета, которая, как подобает органу крупной буржуазии, не скрывает своего раздражения по поводу этого законопроекта. Исполнительная Комиссия, открыто возглавляющая «анархические замыслы мятежа», должна быть немедленно распущена и предана суду Национального Собрания по обвинению в «оскорблении нации». Отчет о заседании палаты, пересыпанный резкими выпадами по адресу главарей и «трехцветных» и «красных» республиканцев, та же газета заканчивает следующим резюме: «Самое опасное во всем этом заключается в том, что уже насчитывается до трехсот жертв, что восстание принимает угрожающие размеры, что национальная гвардия начинает колебаться и что взоры уже обращаются на провинцию. Нужно, чтобы провинция спасла Париж». Последняя фраза — Il faut que la province sauve Paris — была набрана жирным шрифтом [3]).

Цитированная статья побудила местную власть прибегнуть к репрессиям, впрочем, не очень суровым. Номер «Impartial» от 24 числа был запрещен к продаже, а ее главный редактор — арестован, но после краткого допроса отпущен. Полученные в тот же вечер известия об отставке членов

[1]) Rapport, t. II, p. 275.
[2]) BB^{18}, 1465a, plag. 1. Marseille, le 19 juillet 1848.
[3]) Bibl. Nat. 2670. «L'Impartial de Rouen», 24 juin 1848.

Исполнительной Комиссии и о вручении Кавеньяку всей полноты власти были приняты названной газетой с полным удовлетворением. Указывая на прибытие в столицу подкреплений из провинции, она приходила к заключению, что «исход борьбы не может больше вызывать сомнений ни в ком: перевес останется на стороне дела порядка и свободы». Дезавуируя свое утреннее выступление, газета заявляла, что теперь существует «только одна партия—партия порядка» [1]).

До сих пор мы говорили только о двух фракциях монархического лагеря — легитимистах и орлеанистах. Но и бонапартистам, агитация которых приняла накануне июньского восстания (в связи с кандидатурой Луи-Наполеона в Национальное Собрание) весьма интенсивный характер [2]), не чужда была мысль использовать парижские события, чтобы нажить себе политический капитал. В нашем распоряжении имеется текст бонапартистской прокламации, которая была расклеена на улицах Шарлевилля (235 км от Парижа) и Мезьера (234 км от Парижа), по одним сведениям, в ночь с 24 на 25 июня, по другим—днем 25 [3]). Перед нами образцовое произведение бонапартистской демагогии, обращенное в первую очередь к населению деп. Арденны.

Целевая установка разбираемого документа — доказать, что республика угнетает все классы и что интересы всех классов требуют ее низвержения. «Что делают наши правители? Они разоряют нас увеличением налогов...; они уничтожают нашу свободу...; они раздают должности своим друзьям, своим креатурам, людям, лишенным энергии...; они приравняли рабочих к каторжникам, которым недостает только цепи; они дают им заработную плату, на которую те с трудом могут просуществовать, если не обрекают их на голодную смерть; они убили нашу торговлю; они обрекли буржуа на необходимость растратить сделанные им на старость сбережения; они ведут торговцев к поголовному банкротству». Нужно сбросить людей, которые считают себя властителями страны «на том основании, что заседают не иначе, как под охраной ста тысяч штыков и ста пушек»; нужно вырвать издыхающую Францию «из когтей этих тигров, упившихся золотом и кровью». Нужно призвать на их место наследника того, кто покрыл Францию «неувядаемой славой», того, «кто своей мудрой политикой сумел объединить все партии», того, кто дал рабочему возможность «купаться в изобилии», с избытком обеспечивая его работой.

Листовка заканчивалась следующим призывом: «Буржуа, рабочие и солдаты, соберемся все сегодня в час дня на площади и провозгласим Луи-Наполеона императором. — Не пройдет и десяти дней, как парижане последуют нашему примеру. Да здравствует император! Да здравствует Луи-Наполеон!».

Имел ли этот документ какой-либо отзвук? Никаких положительных данных на этот счет мы не имеем. Всего вероятнее, что он разделил судьбу летучек, которые были разбросаны тогда же в Шарлевилле с призывом к оружию, в пользу Наполеона, и относительно которых префект сообщает, что они не произвели в городе никакого впечатления (правильнее было бы сказать — не привели ни к каким выступлениям).

Резюмируя рассмотренные выше факты и документы, можно сказать, что за редкими исключениями (в ряде случаев явно раздутыми) все три фракции монархистов в провинции воздержались **во время июньских**

---

[1]) Вечерний выпуск той же газеты.

[2]) См. Robert-Pimienta, La propagande bonapartiste en 1848 (Paris 1911).

[3]) Rapport, t. III, p. 22. Текст прокламации перепечатан в газете «La Réforme», 30 juin 1848.

обытий от активных выступлений против республиканского режима. … правильно учли, что, действуя иначе, они не будут поддержаны ни трудящимися массами, настроенными в своей наиболее активной части в пользу … рижского восстания, ни широкими слоями собственников, об'единившимися … круг трехцветной республики, которая одна могла мобилизовать в тот … мент все силы буржуазного общества на борьбу с «анархией».

3.

Нам уже приходилось не один раз отмечать тот факт, что рвение … ных собственников не уступало в июньские дни рвению собственников … рижских. Новой яркой иллюстрацией этого может служить заявление не… его A. Bachelet, жителя села Vaux (иначе Vaux-Moulin), расположенного в 6 км от Окоерра (168 км от Парижа), главного города деп. Йонны. … бывши в Париж, в качестве национального гвардейца, он жалуется членам … ственной комиссии, что «местная власть парализовала порыв честных … бодных граждан», которые рвались в бой против «анархистов», и оде… … же, чтобы удержать добровольцев на месте, предложив им разойтись … домам на том основании, что «все кончено». Чем об'яснить такое странное поведение префекта и мэра, которые ведь «далеко не анархисты»? Не… … тем, что 3.800 национальных гвардейцев, граждан Оксерра, побоялись, … бы в случае уменьшения их численности город не был разграблен …–300 злоумышленников, которые об этом только и мечтают? «Если … так, — заканчивает Bachelet, — я скажу своим согражданам, что они … очевидно про то, что в окрестностях имеются тысячи поселян, го… … обрушиться на анархистов, если бы последние осмелились пошеве…»[1]).

С этой ставкой на крестьянство, как на верную опору «порядка», мы … встретимся в дальнейшем, когда будем говорить о настроениях буржуа… … после ее июньской победы. Здесь нас интересует позиция, занятая … стьянством во время июньских событий. Мы уже приводили ряд дан… … свидетельствующих о том, что собственнические элементы деревни … деятельное участие в походе на Париж добровольческих отрядов … рдинского ополчения провинции. На это с глубоким удовлетворением указ… … между прочим, специальный сельскохозяйственный журнал буржуазного направления, выходивший в Париже[2]). Картину лойяльности сельских … ственников дополняют сообщения прессы о том, что крестьянство департамента Meuse горячо приветствует отправляемые в Париж воинские части … щедро снабжает их продовольствием, что жители окружающих столицу … ревень «травят скрывшихся инсургентов как диких зверей» и задерживают … всякого подозрительного человека, всякого, «у кого руки пахнут порохом»[3]).

Донесения провинциальных властей с редким единодушием подчеркивают лойяльность основной массы крестьянства в дни восстания. В телеграмме из Ока (681 км от Парижа) от 26 июня префект деп. Жер отмечает, … налог в 45 сантимов, в свое время вызвавший беспорядки, кажется за… … в этот торжественный час», когда «республика может рассчитывать … живые симпатии всех честных людей»[4]). Беспорядки, о которых здесь

[1]) Arch. Nat. C 285. VIII Dossier. 3091. Paris, le 3 juillet 1848: «... Dans ce cas … dirais à mes compatriotes de la ville qu'ils ont donc oublié que dans la banlieue … y a des milliers de villageois tout prêt à tomber sur les annarchistes, s'ils osaient … ger».

[2]) «Le Cultivateur», mai et juin 1848, p. 345.

[3]) «L'Union», 29 juin, 2 juillet 1848.

[4]) Rapport, t. III, p. 210.

глухо упоминается, приняли в этом департаменте характер массового вооруженного сопротивления сельских коммун взиманию ненавистного налога. Не скрывая серьезности этих волнений, которые не ограничились одним департаментом, главный прокурор Ажана отрицает, однако, наличие всякой связи между ними и «парижскими мятежниками» [1]).

В докладе главного прокурора судебного округа Тулузы читаем: «В наших местах человек из народа заботится больше о том, чтобы защитить участок земли, который он поливает своим потом, нежели о том, чтобы завладеть полем соседа. Вот почему восстание 23 июня не вызвало никаких симпатий среди наших деревень, а, наоборот, одно лишь решительное отвращение. Коммунистические теории не имеют здесь никакого успеха и величайшая опасность, которой мог бы подвергнуться в настоящее время человек, живущий в наших селах или проезжающий через них, это прослыть коммунистом» [2]).

Главный прокурор судебного округа Риом пишет следственной комиссии: «Что касается земледельцев Оверни, недоступных политическим волнениям и углубленных в занятия, связанные с земельной собственностью и с материальными интересами, то у них нет иных страстей, кроме ненависти к косвенным налогам и к налогу в 45 сантимов. Врагам республики остается только дернуть за эту струну, чтобы вывести их из состояния покоя и мирной работы. Но и в этом случае они в целом не пошли бы дальше сопротивления и не дали бы себя увлечь на нападение. В этом отношении нет ничего общего между ними и городскими рабочими» [3]).

Главный прокурор судебного округа Нанси доносит 29 июня министру юстиции: «Несмотря на страдания наших деревень, обусловленные увеличением налогов и отсутствием сбыта продуктов, их трудолюбивое и терпеливое население единодушно в своем осуждении гнусного покушения, жертвой которого едва не сделалась республика». Иное дело — города, где «антисоциальные доктрины» насчитывают много сторонников среди рабочего класса, положение которого в виду кризиса весьма плачевно [4]).

Префект деп. Нижней Шаранты, говоря об успехах бонапартизма среди сельского населения, озлобленного 45-сантимным налогом, подчеркивает, что от выражения симпатий к Луи-Бонапарту до действий, до присоединения к парижским анархистам «имеется дистанция, которую они (крестьяне. А. М.) не пройдут и которую они не прошли» [5]).

Факты показывают однако, что в ряде случаев дистанция, отделяющая слова от действий, была пройдена крестьянами. Так было, например, в департаменте Шаранты, сильно затронутом бонапартистской агитацией. 26 июня на воскресной ярмарке в коммуне Mansle округа Ruffec (418 км от Парижа) газетчик выкрикивал парижские новости, добавляя, что «Луи-Наполеон, избранный императором, идет на Париж во главе 40 тысяч человек и, что он переложит 45-сантимный налог на англичан и на экс-короля Луи-Филиппа». Жандарм хотел арестовать газетчика, но за него вступилась толпа, которая разгромила местный жандармский пост [6]). Другой факт. Двести национальных гвардейцев кантона Краван (деп. Ионны), вооруженных ружьями, пиками и косами, были по дороге в Париж задержаны и возвра-

---

[1]) Ibidem, t. III, p. 123 (Agen, 21 juillet).

[2]) Ibidem, t. III, p. 188 (Toulouse, le 15 juillet).

[3]) Rapport, t. III, p. 183: «... mais leurs émotions s'arrêteraient général, à la résistance et ne seraient pas entraînes à l'agression. Il n'y a pas, sous ce rapport, de point de contact entre eux et les ouvriers des villes».

[4]) Arch. Nat. BB[30], 362 (3). Parquet de la Cour d'appel de Nancy.

[5]) Rapport, t. III, p. 36: «Mais de la à agir et à aller rejoindre les anarchistes de Paris, il y a une distance qu'ils ne franchiraient pas et qu'ils n'ont pas franchie».

[6]) Rapport, t. III, p. 34 — 35 (Angoulême, le 2. juillet).

...ны домой из Оксерра, власти которого испугались раздавшихся в рядах ...тих добровольцев «порядка» возгласов: «Да здравствует Луи-Бонапарт! Да здравствует император Наполеон!» [1]).

Не всегда и не везде недовольство крестьян налоговой политикой буржуазной республики толкает их в июньские дни в сторону бонапартизма. ...ы имеем ряд данных, свидетельствующих о том, что в некоторых местах недовольство приняло форму сочувствия революционным рабочим, поднявшим восстание в столице. В департаменте Ло мэр одной из коммун округа Кагор вслух читал крестьянам, с'ехавшимся на ярмарку, выдержки из газеты «Реформа», сопровождая чтение комментариями, в которых он об'являл, что «партия инсургентов была партией честных людей», что «истинные патриоты пали жертвами правительства», что «это правительство прекратило свое существование», и что было бы величайшей глупостью платить ему налоги. Есть основание полагать, что эта агитация встречала сочувствие ...и слушателей (префект хранит по этому поводу многозначительное молчание).

В том же департаменте Ло, в городе Фижак, некий крестьянин, следы которого обнаружить не удалось, выразился следующим образом по поводу Кавеньяка: «Он расстреливал народ в Париже, и за это сам будет скоро расстрелян» [2]).

В департаменте Жер известия о парижских событиях дают в некоторых сельских коммунах повод к разговорам о том, что «песенка богатых спета» [3]).

В департаменте Ньевр 25 июня мэр коммуны Saint Pierre-le-Moutier (... км от города Невер) приказал задержать, обыскать и оставить под стражей некоего де-Буйе, ординарца Кавеньяка, направлявшегося в Альпийскую армию; находившиеся при нем депеши были вскрыты. Отец этого офицера, видимо, местный землевладелец, примчавшись в местечко на выручку сына, также был арестован и брошен в тюрьму, где провел целую ночь на соломе и без пищи, при чем ему было отказано в письменных принадлежностях для составления жалобы» [4]).

В сельской коммуне Routot деп. Эр (152 км. от Парижа) через несколько дней после июньских событий был обнаружен «зажигательный плакат» неизвестного происхождения, расклеенный на улицах [5]).

В департаменте Юры местные газеты отмечали революционное брожение среди крестьян, «в общем честных и трудолюбивых», но в силу своего «невежества и непостоянства» легко поддающихся агитации «анархистов», которые не скупятся ни на «безумные проповеди», ни на «лживые обещания» [6]).

Возникает вопрос, от каких слоев крестьянства исходили приведенные выше и зарегистрированные в документах факты более или менее явного нарушения верности делу «порядка» во время июньских событий [7]). Точный

---

[1]) «Le Représentant du Peuple», 30 juin 1848.

[2]) Rapport, t. III, pp. 66 (Cahors, le 11 juillet).

[3]) Rapport, t. III, p. 124 (Agen, 21 juillet).

[4]) Ibidem, t. III, p. 159. Главн. прокурор судеб. округа Бурж—председателю следственной комиссии.

[5]) Ibidem, t. III, p. 185. Оригинала этого плаката, приложенного к докладу главного прокурора Руана следственной комиссии, нам найти не удалось.

[6]) «L'Union francomtoise», 2 juilet 1848.

[7]) Кроме приведенных здесь фактов, существует ряд данных, свидетельствующих о глухом брожении, царившем в эти дни среди крестьянства некоторых районов, хотя и не вылившемся в какие-либо действия революционного характера. Это брожение хорошо характеризует следующая фраза из письма комиссара полиции Semur префекту департамента Кот-д'Ор: «Завтра ярмарка в Семюре ... Соже; как хорошо было бы иметь возможность сообщить населению деревень хорошую новость» (Robert Schnerb, op. cit., p. 159).

ответ на этот вопрос затрудняется тем, что наши документы почти все говорят о крестьянстве в целом, о сельском населении вообще. Это обстоятельство не дает нам, конечно, права игнорировать значительную социальную дифференциацию французской деревни того времени, о которой свидетельствуют хотя бы отчеты инспекторов земледелия за годы 1843—1847. Что эта дифференциация, в условиях победного шествия капитализма, сопровождалась вымыванием середняка и пролетаризацией бедняка, сопровождалась пауперизацией широких слоев крестьянства, — об этом наши источники говорят в один голос [2]). Не можем мы игнорировать и тот факт, что экономический кризис, разразившийся незадолго до февральской революции, имел своим прямым следствием обнищание масс не только в промышленных центрах, но и в земледельческих районах, из коих больше всего пострадали департаменты с преобладанием мелких парцелл [3]). Нужно ли добавлять, что 45-сантимный налог всей своей тяжестью падал именно на бедняцко-середняцкие массы крестьянства [4]), а не на зажиточную верхушку деревни, а не на крупных землевладельцев капиталистического типа: ведь в подавляющем большинстве арендных договоров уплата налогов ложилась на плечи с'емщиков земли [5]).

Не претендуя здесь на самостоятельное исследование вопроса о положении французской деревни в рассматриваемый период, мы можем и должны, однако, исходить из бесспорного факта капиталистического закабаления и связанного с ним экономического упадка широких слоев тогдашнего крестьянства. О том, что эти слои могли, при известных условиях, пойти за революционными рабочими Парижа в их борьбе против существующего общественного строя, видно, например, из письма мирового судьи, кантона Quérigut председателю гражданского трибунала района Фуа, которое ...

---

[1]) См., напр., данные о Лилльском районе Северного департамента: «Agriculture française, par M. M. les inspecteurs de l'agriculture». Publié d'après les ordres de M. le Ministre de l'agriculture et du commerce. Département du Nord Paris, 18.. p. 29. — До чего доходило в это время дробление крестьянских участков, показывает далеко не единичный пример коммуны Laschy (деп. Марны), где в 1846 г. 2365 парцелл занимали в общей сложности площадь в 832 гектара (Congrès central d'agriculture. Septième session. Du 18 au 29 mars 1850, p. 271).

[2]) По официальным данным бедственное положение мелкого арендатора в деп. Тари напоминает времена Артура Юнга («Agriculture française, par MM. les inspecteurs de l'agriculture». Départ. du Tarn. Paris, 1845, p. 71—73). Относительно деп. Од официальные источники гласят: «Если, благодаря революции наш земледелец не зависит больше от сеньора, он остается, однако, рабом своего жалкого положения. Без денег, без кредита, он не в состоянии выйти за пределы узкого круга своих потребностей; без капитала, без оборотных средств, он не может предпринимать никаких улучшений в сельском хозяйстве. Его контракт вечно висит над его головой, подобно Дамоклову мечу» (Agriculture française... Depart. de l'Aude. Paris, 1847, p. 79 — 80). О растущей пауперизации и пролетаризации сельского населения промышленного Северного департамента, см. отчет о заседании земледельческого общества Дуэ от 9/XI — 1848. (Цитировано у G o s s e z: Le Département du Nord sous a deuxième République. Lille 1904; pp. 197 — 202).

[3]) «Le Courrier français», 3 juillet 1848. Revue hebdomadaire des intérêts des travailleurs.

[4]) О том, каким непосильным бременем являлся в это время для крестьянской бедноты добавочный налог в 45 сантимов, свидетельствует характерная петиция мэра коммуны L'Hospitalet (деп. Арьеж), в которой читаем: «В виду того, что наше село самое бедное во всей Франции, ибо оно не собирает и одного мешка ржи, в виду того, что мы девять месяцев находимся под снегом, мы заявили сборщику, что мы не в состоянии платить даже обычные налоги, не влезая в долги, и что, при всем нашем расположении к республике, мы не можем убивать простых, чтобы раздобыть себе денег...» (P h. M o r é r e, Le Recouvrement des 45 centimes dans l'Ariége, «Bulletin de la Société d'histoire de la Révolution de 1848», Paris, 1924 — 1925, t. XXI, p. 150).

[5]) «La Commune de Paris», 1 mai 1848. J. Labou, De la révolution de févri... «La Sentinelle des Clubs», 7 avril 1848. C. Lacambre: De l'Impôt.

общает о революционном возбуждении, охватившем малоимущее крестьянство этой части деп. Арьеж (в особенности коммуны Mijanés, где расположены рудники) под впечатлением событий 15 мая в Париже [1]). О том же свидетельствует отчет главного прокурора судебного округа Мец, относящийся, правда, к несколько более позднему времени, к маю 1850 года. В этом отчете констатируется, что там, «где собственность сильно раздроблена, мелкие земледельцы обнаруживают явную тенденцию итти сообща с рабочей массой и отходить от людей, преданных делу порядка» [2]).

Основываясь на показаниях этого рода, можно с большой вероятностью предположить, что отмеченные нами случаи проявления сочувствия деревни к парижским инсургентам исходили от «собственников» карликовых парцелл.

Но, как мы уже показали, такие случаи были совершенно единичными. Основная масса французского крестьянства сохранила в июньские дни полную, хотя и не всегда активную, лойяльность по отношению к буржуазной республике, атакованной в Париже восставшими рабочими. Но глубоко ошибается Токвиль, когда он приписывает эту лойяльность тому, что «крестьянин, сам будучи почти везде собственником», не мог не пойти за людьми, у которых он находил бо́льшее понимание или большую собственность» [3]). Это об'яснение верно лишь в отношении зажиточного меньшинства французской деревни. Оно неприменимо к миллионам номинальных собственников, которые, подобно троглодитам, «живут в пещерах, большая часть которых имеет всего одно окошко, другая часть — всего два, а в самом лучшем случае — всего три окошка» [4]). Но для того, чтобы пролетарская революция получила «хор, без которого ее соло во всех крестьянских странах превращается в лебединую песнь» [5]), нужно было, чтобы французский крестьянин расстался «с верой в свой земельный участок», осознал противоположность своих интересов интересам существующего строя, признал в рабочем классе, призванном ниспровергнуть этот строй, своего «естественного союзника и вождя» [6]). Нужно было, чтобы пролетариат повернулся «лицом к деревне» и вырвал ее из-под отравляющего влияния своих классовых врагов. «Что знал упрямый, узколобый крестьянин о пролетариате и буржуазии, о демократически-социальной республике, об организации труда, о вещах, основные условия и причины которых никогда не могли проявиться в тесных пределах его деревни! А когда он в иных местах получил через нечистые каналы буржуазных газет смутное представление о том, вокруг чего шла борьба в Париже, когда буржуа бросил ему великий лозунг против парижских рабочих: ce sont les partageux— это люди, желающие поделить всякую собственность, какою кто-либо владеет, — тогда усилилось его негодование, и возмущение крестьянина не

---

[1]) Ph. Morère, La Révolution de 1848 dans un pays forestier (Bulletin de la Société d'histoire de la Révolution de 1848», Paris 1917—1918, t. XIII, p. 37).

[2]) Arch. Nat. BB[18] 1473a Цитировано у L. Tchernoff; Associations et sociétés secrètes sous la deuxième République 1848—1851 d'aprés des documents inédits (Paris, 1905), p. 260 — «... où la propriété est trés morcelée, les petits cultivateurs ont une tendance prononcée à faire cause commune avec la masse des ouvriers et à abandonner les hommes dévoués à l'ordre».

[3]) Al. de Tocqueville, Oeuvres et correspondance inédites... publiées et précédées d'une notic par Gustave de Beaumot (Paris 1861), p. 216 (письмо от 27/VII-53).

[4]) К. Маркс, Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», «Биб-ка марксиста» под редакцией Д. Рязанова, вып. VII (Гиз, 1926 г.), стр.102.

[5]) Там же, стр. 105.

[6]) Там же, стр. 102.

знало больше границ... «Пусть этот проклятый Париж завтра будет взорван!» — это было еще самое мягкое пожелание» [1])...

В июньские дни основная масса французского крестьянства облегчила буржуазной республике ее победу над революционными рабочими столицы, которые ничего не сделали для того, чтобы привлечь на свою сторону бедняцко-середняцкое большинство деревни. Прежде чем притти к осознанию своих действительных интересов и своих действительных союзников, последнее должно было пережить разочарование в наполеоновском режиме второго издания, который своим установлением обязан был больше всего бонапартистским предрассудкам крестьянства.

4.

Первым чувством, охватившим собственнические классы провинции при известии о разгроме парижского восстания, было чувство нескрываемого удовлетворения. Буржуазная пресса ликовала. Общее настроение хорошо выразила одна марсельская газета: «Дух анархии получил удар, от которого он уже не оправится. В провинции, как и в Париже, партия, которая хотела навязать возмущенной стране режим террора, не посмеет более возобновлять своих бессильных попыток» [2]). «О, лишь бы все было действительно кончено!» — восклицал орган руанской буржуазии: «Ведь опасности, угрожавшие обществу, были ужасны; ведь, мы пережили бурю, которая могла унести свободу, уничтожить цивилизацию, утопить в крови Францию... Но, мы можем твердо сказать, все кончено!» [3]). Не менее определенно высказывалась буржуазия Страсбурга: «Битва, которою враждебные партии угрожали в продолжение четырех месяцев обществу и неизбежная перспектива которой парализовала жизнь нашего социального организма, тормозила торговлю и промышленность, лишала хлеба рабочих, — эта битва теперь дана, и не общество оказалось в ней побежденным» [4]). Биржа, этот чуткий барометр буржуазного общества, всюду и везде реагировала на торжество «порядка» в столице повышением курса государственных бумаг и общим оживлением дел. Так было, между прочим, в Марселе, имущие классы которого пережили собственные июньские дни, почти совпавшие с парижскими [5]).

Но оптимизм не был безоблачным: ликование по поводу разгрома «анархии» сочеталось с беспокойством за будущее. Мысль, что июньские события могут повториться, притом с иным исходом, упорно и долго держится в умах. Заявления о том, что «банда Барбеса, Бланки и других еще не сказала своего последнего слова», что «варвары XIX столетия готовы при первом удобном случае последовать примеру своих кровавых предшественников» [6]), встречаются на каждом шагу.

Типичным является следующий отрывок из частного письма от неизвестного жителя департамента Воклюз, обнаруженный нами в неизданных бумагах следственной комиссии Национального Собрания: «... Мятеж хочет испробовать решительный удар. На этот раз это не бывшие каторжники, а настоящие рабочие, которые массами направляются в Париж с девизом: победить или умереть... Они связаны самыми страшными клятвами. Вы [illegible]

---

[1]) Ф. Энгельс, Из Парижа в Бери (октябрь 1848 г.), «Под Знаменем Марксизма» 1927 г., № 5, стр. 17.

[2]) «Le Semaphore de Marselle», 27 juin 1848.

[3]) «Journal de Rouen», 27 juin 1848.

[4]) «Le Courrier du Bas-Rhin» 30 juin 1848.

[5]) «Gazette du Midi», 10 — 11 juillet 1848.

[6]) Arch. Nat. F [12] 2499 — 2500. Amplepuis (Rhône, le 20 juillet 1848). A. [illegible] fils (письмо министру земледелия и торговли): «La bande des Barbès, Blanqui et autres n'a pas dit son dernier mot, les barbares du 19 siècle sont prêts à première occasion à imiter leurs sanguinaires devanciers non la hache et la loi à la main mais avec l'incendie et le meurtre...».

о чем не догадываетесь у себя в Париже; если вас не беспокоят в течение двух недель, вы уже воображаете, что все в порядке. Мы не знаем, когда взорвется бомба, но будьте уверены, что нет мира, а есть только перемирие»[1]).

При таких настроениях понятна та паника, которая под впечатлением июньских событий надолго охватила имущие классы страны — Парижа и провинции, города и деревни, — и которая своими размерами напомнила «великий страх» (la grande peur) 1789 года. Вот типичная картина, взятая наудачу из донесения префекта деп. Марны от 2 июля. 28 июня здесь распространился слух, будто большая колонна парижских инсургентов ворвалась в город Epernay (137 км от Парижа), который разграблен и предан сожжению. Национальная гвардия Шалона и окрестных деревень тотчас же взялась за оружие. Префект лично отправился в Epernay, где и выяснилось, что слух об инсургентах пущен крестьянами, наткнувшимися на нескольких контрабандистов, которых задержать не удалось[2]). Днем раньше аналогичная паника охватила почти одновременно департаменты Aisne, Уазы, Марны, Соммы[3]). В округе Melle деп. Двух-Севров (391 км. от Парижа) национальные гвардейцы сельских коммун, напуганные появлением в одном из них семи неизвестных, принятых за инсургентов, «каждую ночь совершают обходы ради безопасности жителей и охраны собственности»[4]).

В приморском департаменте Ille-et-Vilaine один ужасный слух сменяется другим: сегодня — десант оружия, завтра — появление английского флота, послезавтра — ночные сборища нескольких сот легитимистов[5]). Генерал Шангарнье пересылает в следственную комиссию пространное анонимное сообщение из департамента Соны-и-Луары о таинственном телеграфе, установленном в Issy-Levêque (320 км от Парижа), который должен якобы связать Париж с Лионом и Марселем[6]). В Лионе в первых числах июля циркулируют фантастические слухи: Кавеньяк убит, 25 тысяч парижских инсургентов прибыли в город, обнаружен склад новеньких гильотин и факелов, предназначенных для поджога города, рабочие местных национальных мастерских завладели городскими укреплениями и т. д., и т. п.[7]). Паника распространилась так далеко, что инсургентов искали в 700 километрах от столицы![8])

Рабочие продолжают рассматриваться как враги, хотя и разбитые, но все еще опасные и далеко не обезвреженные[9]). «Я не могу скрыть от вас, что спокойствие, которым мы пользуемся, скорее кажущееся, чем действительное», — заявляет 30 июня префект Северного департамента в докладе следственной комиссии. Рабочие приписывают республике (читай — буржуазной республике) ответственность за «нужду, которая их угнетает». Необходимо срочно притти на помощь «агонизирующей промышленности» (industrie aux abois). «Ресурсы городов и муниципалитетов, ресурсы обще-

---

[1]) Arch. Nat. C 285. VIII Dossier. 3305. (Sans signature): «Nous ne savons pas quand la bombe éclatera, mais persuadez vous bien qu'il n'y a pas de paix, mais simplement trêve».

[2]) Rapport, t. III, p. 71—72.

[3]) Ibidem, t. III, p. 11.

[4]) Arch. Nat., BB [18] 1465a, plag. 2. Poitiers, le 13 juillet 1848.

[5]) Rapport, t. III, p. 84.

[6]) Arch. Nat. C 285. VIII Dossier. 3306. Issy-Levêque, 12 juillet 1848.

[7]) F. Dutacq, Hirtstoire politique de Lyon pendant la révolution de 1848, p. 431.

[8]) V. Marouck, Join 1848 (Paris 1880), p. 128.

[9]) Конкретный материал (из переписки главных прокуроров с министром юстиции за июль — октябрь 1848 г.), показывающий, об'ектом какого тщательного наблюдения являлся рабочий класс провинции после июньских событий, будет дан в статье, посвященной вопросу о позиции провинциальных рабочих в связи с парижским восстанием.

ственной благотворительности иссякают, и, если труду не будет скоро возвращена его активность, мы окажемся лицом к лицу с населением, раздраженным нуждой, с населением, которое без всякой политической цели грозно поднимается с оружием в руках, чтобы в смертоубийственной борьбе найти передышку своим страданиям» [1]).

Главный прокурор судебного округа Амьен, в докладе от 25 июля, говорит о «перманентной опасности» (danger permanent), которую представляет для общества «класс, который взялся за оружие», «то многочисленное р а б о ч е е н а с е л е н и е, которое сражалось с таким мужеством отчаяния». Правда, «порядок» восторжествовал, но армия, которую он имел против себя, «не уничтожена» (n'est pas dètruite). На свободе осталось немало участников восстания; к ним нужно добавить тех, «которые выжидали исхода борьбы, чтобы высказаться в ту или другую сторону». Нельзя отрицать того, что многие города, как, например, Амьен, «содержат население, в высшей степени склонное к идеям инсуррекции» [2]).

Приведем еще одну цитату — пожалуй наиболее яркую — из доклада заместителя главного прокурора судебного округа Дуэ: «Победа досталась партии порядка и гуманности — это правда; но рабочие, которые читают эти тысячи памфлетов, слушают эти бесчисленные речи, с жадностью поглощают эту духовную пищу; но пролетарии, которые видели, с каким заслуженным презрением были отвергнуты утопии их мнимых друзей, продолжают быть постоянной опасностью для общества (demeurent en péril permanent pour la société)». Единственное средство устранить эту опасность, единственный способ избежать повторения «этой войны варваров», состоит в том, чтобы «просветить массы», для чего необходимо «избавить их от праздности и от нужды», что может быть достигнуто лишь путем восстановления кредита и коммерческих сделок [3]).

К этим показаниям представителей власти добавим показание маршала Бюжо, незадачливого кандидата в диктаторы в дни февраля. 4 июля он писал из своего поместья La Durantie одному своему сослуживцу по Алжиру: «Я считаю, что красная республика разбита на некоторое время, но социалистические идеи остаются в силе, и если против зачинщиков анархии не будут приняты энергичнейшие меры, мы увидим, немного раньше, немного позже, возобновление борьбы». В письме от 23 июля на имя полковника Feray тот же Бюжо рекомендовал следующий способ борьбы с «анархией»: «Неотложной задачей сегодняшнего дня является избавить метрополию от возможно большего количества пролетариев города» (débarrasser la métropole de la plus forte partie possible des prolétaires des villes). Правда, это — неважный материал для колонизации, но выбирать не приходится. Предвидя недовольство арабов притоком «такой массы новых земледельцев», Бюжо подчеркивает необходимость усиления гарнизонов Алжира и с вздохом замечает: «Мы вынуждены грабить в Африке, чтобы не быть ограбленными во Франции» [4])

Поблагодарим г-на маршала за откровенность...

Единственным утешением для июньских победителей, которые по собственному признанию чувствуют себя «как в неприятельской стране» [5]), служит уверенность в лойяльности крестьянства. Если бы не «здравый смысл населения деревень», — откровенно заявляет академик Бланки, известный

---

[1]) Rapport, t. III, p. 89.

[2]) Arch. Nat. BB[16] 1465в, plag. 2. Cour d'appel d'Amiens.

[3]) Rapport, t. III, p. 167.

[4]) Le Maréchal B u g e a u d, d'après sa correspondence intime et des documents inédit, 1784—1849, par la comte d'Ideville (Paris 1882), t. III, p. 361, 368: «Nous sommes condamnés à spolier en Afrique pour n'être par spoliés en France!»

[5]) «Gazette du Midi», 12 juillet 1848: «... la garde nationale et la ligne sont réduites à veiller sous les armes comme en pays ennemi».

экономист, — процветанию и спокойствию страны надолго пришел бы конец[1]). Можно ли сказать, — спрашивает главный прокурор судебного округа Тулузы, — что общество «спасено окончательно» и что ему не придется больше «выдерживать опасных битв»? «Никто не может убаюкивать себя подобной надеждой». К счастью, рядом с опасностями существуют «гарантии окончательной победы». Последние заключаются в том, что «ложные теории», «антисоциальные доктрины», которые делают быстрые успехи среди рабочих масс городов, не затронули «народа в собственном смысле» (peuple proprement dit), населения деревень: последнее остается послушным власти и сохраняет традиционную привязанность «к трем великим идеям цивилизации: религиозному чувству, культу семьи, любви к собственности»[2]).

Не менее определенно высказывается советник судебной палаты Лионского округа Флери-Дюрье в докладе следственной комиссии от 30 июля: «В наших селах антисоциальные доктрины встречают дурной прием... Уважение к семье и к собственности остается здесь незыблемым, более того — оно еще усилилось под влиянием угрожавшей ему опасности... Нет никакого сомнения, что если бы наша деревня получила недостающую ей организацию, она была бы готова силою защищать социальный строй от грозящих ему опасностей... Именно в этой крепкой среде общество обретет свой якорь спасения»[3]).

В таком же духе высказывается главный прокурор округа Нанта Пуарель, который утверждает, что в собственнической деревне всегда можно будет найти «противовес и поддержку» для борьбы с волнующими город «безумными доктринами и страстями»[4]).

Ставка на крестьянина — по сути дела, на крепкого зажиточного кулака — становится в это время в полном смысле слова модной темой. В Париже «Общество поощрения национальной промышленности» — организация, состоящая из предпринимателей и высшей технической интеллигенции — об'являет земледелие «первой среди всех отраслей индустрии», откровенно мотивируя свое утверждение указанием на переживаемый страною «социальный кризис»[5]). В Лионе одна из руководящих буржуазных газет, рекомендуя направить избыточных рабочих на земледельческие работы, доказывает, что «национальная мастерская Франции — это земля», которая не знает безработицы, не знает и стачек и которая вознаграждает довольством, порядком, свободой[6]).

Однако тревожные симптомы были налицо и тут. О том, что лойяльность крестьянства в июньские дни не была стопроцентной, мы говорили выше. Добавим, что официальная картина полного отвращения всего крестьянства к «антисоциальным доктринам», исходящим от городов, оказывается безусловно прикрашенной. Об этом свидетельствует, например, сообщение депутата Debrotonne, от 8 июля, который рассказывает об успешной пропаганде «апостолов коммунизма» в сельских коммунах департамента Aisne[7]). Об этом свидетельствует также доклад главного прокурора судебного округа Бурж, от 1 июля, который сообщает, что некий Мерлен, находящийся в переписке с Кабе, систематически читает крестьянам района

[1]) Blanqui, Des classes ouvriéres en France pendant l'année 1848, Paris 1849, p. 78.

[2]) Rapport, t. III, p. 188.

[3]) Rapport, t. III, p. 102—103: «... c'est dans ce milieu résistant que la société fixera son ancre de salut».

[4]) Ibidem, t. III, p. 172 (Nantes, 11 juillet 1848).

[5]) Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, Paris 1848, p. 660 (заседание 19 июля): «Au milieu de la crise sociale que nous traversons, au moment où le sol industriel tremble sous nos pas»...

[6]) «Gazette de Lyon», 30 juin 1848.

[7]) Arch. Nat. C 285. Liasse: Assemblée nationale. 2837. Debrotonne

Сент-Аман выдержки из сочинений последнего [1]). Игнорировать подобные показания, хотя бы единичные, — мы не в праве...

Порядок! Этот боевой клич Кавеньяка становится боевым кличем всей собственнической Франции. В провинции он звучит так же громко, как и в столице. Вот составленная вскоре после восстания сводка ответов торговых палат на циркуляр министерства земледелия и торговли, от 3 июня. «Восстановление порядка» (le rétablissement de l'ordre), — таково первое условие, которое по единодушному мнению торговых палат может вывести торговлю и промышленность из состояния кризиса. Все другие меры могут иметь лишь подсобное значение, тогда как порядок и только порядок способен поправить дела. «Палаты требуют, чтобы правительство вело ясную и твердую линию, чтобы оно отвергло зловредные доктрины, которые причинили уже столько бедствий, чтобы оно старалось заглушить чувства ненависти и зависти, которые были внушены рабочим, чтобы оно рассеяло их заблуждения, чтобы оно предоставило хозяевам свободно договариваться с рабочими относительно условий труда, чтобы, наконец, были приняты меры предосторожности, которые могли бы помешать возобновлению беспорядков» [2]).

Перед нами целая программа торжествующей буржуазии Парижа и провинции. Хозяйственные организации господствующего класса в один голос требуют от своего политического представительства, — которое именуется правительством Французской республики, — чтобы трупы июньских инсургентов были использованы для увековечения социального и политического господства капитала. В первую очередь должны пасть все ограничения, наложенные на капиталистическую систему в феврале. И вот, та же сводка, в разделе «режим труда», отмечает всеобщее требование: «Отменить декрет, ограничивающий продолжительность рабочего дня» [3]).

Другим всеобщим требованием буржуазных кругов едва ли не всех департаментов становится в этот момент требование чистки всего административного аппарата от проникших в него после февраля республиканско-демократических элементов. Мы не будем касаться всех петиций этого рода, поступавших в следственную комиссию и заключавших в себе, конечно, не мало преувеличений (в роде утверждения, что во главе администрации деп. Воклюз стоят «убежденные коммунисты»), и, конечно, не мало попыток свести личные счеты. Мы не будем сейчас сводить воедино все требования этого рода, выдвигавшиеся провинциальными газетами, с которыми мы еще встретимся в дальнейшем. Мы приведем только один документ, который можно считать типичным. Речь идет о письме, адресованном депутату Друэну де-Люис (будущему министру Второй империи), в котором его просят «от имени нотаблей Фонтенбло» «избавить этот город и весь округ от ига всех администраторов, присланных, начиная с 24 февраля, Ледрю-Ролленом». Своим подозрительным поведением и своими подозрительными связями эти люди «держат в страхе жителей города». Автор письма (подпись которого разобрать не удалось) уверяет, что действует «не как доносчик», а «как человек, который хочет послужить своей стране». Письмо полно конкретных данных (фамилий, адресов и пр.) [4]).

---

[1]) Rapport, t. III, p. 156—157.

[2]) Arch. Nat. F[12] 2499—2500. Relevé des demandes de prêts — et analyse des réponses des chambres à la quatrième question de la circulaire du 3 juin (без даты).

[3]) Т.-е. декрет 2 марта о 10-часовом рабочем дне для Парижа и 11-часовом для провинции (он был отменен 13 сентября).

[4]) Arch. Nat. C 285. VIII Dossier. 3289. Paris, le 9 juillet 1848 (Signature illisible).

Кстати, — о доносах. Они в изобилии посыпались теперь (подписанные и анонимные) из разных концов Франции на имя депутатов, министров, членов следственной комиссии.

О содержании этих доносов можно судить по двум-трем примерам. Некий Faivre, врач из Монфермейля (деп. Сены-и-Уазы), обвиняется в том, что на большом званом обеде у местного кюре, на котором присутствовали отцы города, горячо солидаризировался с июньскими инсургентами и открыто предсказывал новое восстание, которое приведет к торжеству рабочих и к уничтожению всех аристократов, всех богачей, всех собственников [1]).

Старший повар из Ланьи (деп. Сены-и-Марны) обвиняется в том, что высказался за необходимость «отрубить 30.000 голов, начав с г-на Ротшильда», и выразил сожаление по поводу неудачи, постигшей 15 мая Барбеса [2]).

Анонимный донос из городка Moulin-en-Gilbert (деп. Ньевр) требует ареста некоего Мио, бывшего аптекаря, «человека, известного крайностью своих политических взглядов», предполагаемого вождя «тайной организации», которая своими «зажигательными речами» против дворян, священников, собственников, богачей, предпринимателей держит в страхе весь район. Арест должен сопровождаться обыском, который даст вероятно важные результаты [3]).

В доносе из Лиона от 24 августа [4]) внимание властей обращается на неизвестную женщину, живущую под чужим именем и выдающую себя за учительницу, в действительности же занятую организацией местных коммунистов и ведущую активную переписку с Нимом и Парижем.

Особую группу составляют многочисленные жалобы на представителей местной администрации, которые обвиняются в том, что в дни восстания задержали или пытались задержать поход национальной гвардии того или иного района на Париж [5]).

Сколько в этих доносах было верного и сколько ложного, сколько фактов и сколько сплетен? Решить этот вопрос для каждого отдельного случая не так легко. Достоверно лишь то, что следствие, начатое на основании того или иного доноса, сплошь и рядом не давало никаких положительных результатов [6]).

За доносами — ходатайства об обысках и арестах. Последние поступают в таком количестве, что следственная комиссия считает возможным отклонять некоторые из них [7]). Некто Colette-Quenouille из Дьеппа (деп. Нижней Сены), с гордость указывающий на то, что три его сына участвовали в подавлении восстания, требует скорейшего ареста «настоящих, крупных виновников» последних событий, тех представителей власти, которые вызвали их своей преступной халатностью [8]). Некий адвокат из захо-

[1]) Arch. Nat. C 285. VIII Dossier. 3386. Montfermeil, 4 Juillet 1848.

[2]) Ibidem, 3296. Lettre confidntielle. Layng, 12 juillett 1848.

[3]) Ibidem, 3336. Без даты и без подписи.—Речь идет, повидимому, о Жюле Мио, будущем члене Парижской Коммуны.

[4]) Ibidem, 3412. Personnelle et très confidentielle. Lyon, 24 août 1848.

[5]) Ibidem, 3292 (анонимный донос на префекта деп. Крезы). Ibidem, 3303 (анонимный донос на префекта деп. Кот-д'Ор, известного своими «социалистическими и ультрадемагогическими убеждениями»).

[6]) См., напр., расследование поведения префекта деп. Aisne (Rapport, III, 12—18) или расследование поведения префекта и одного из супрефектов деп. Морбиган (Rapport, L. III, p. 80 — 84).

[7]) Arch. Nat. C 285, 2849. Paris, 8 juillet 1848. Paulin Gillon, représentans de la Meuse.

[8]) Ibidem, 3125. Dieppe, le 5 juillet 1848. A Messieurs les président et membres de la Commission, d'enquête sur l'insurrection du 23 juin 1848.

лустного городка Ланьи (деп. Сены-и-Марны) рекомендует такой способ обнаружения скрывшихся инсургентов: «надо опросить честных людей тех кварталов Парижа, которые кишат каннибалами (infectès de cannibales)»; надо провести по всей стране систематическое расследование поведения лиц, оказавшихся в дни восстания вне своего постоянного местожительства [1]).

Жажда репрессий, без которых невозможен «порядок», принимает неслыханные размеры. Адвокат из городка Мирекур (деп. Вогезов) заявляет, что «все средства, да все, хороши и законны в применении к этим жадным до грабежа элементам, в применении к этим неисправимым и неутомимым нарушителям общественного спокойствия» [2]). Мэр сельской коммуны Boux-aux-Bois (деп. Арденн), побывавший в Париже накануне восстания, находит, что рабочие национальных мастерских «не заслуживают никакой пощады». «Франция сочла бы ошибкой со стороны Национального Собрания, если бы последнее не действовало со всей суровостью, которой требует адское поведение всех этих недостойных людей, иначе говоря — всех этих чудовищ» [3]). Маршал Бюжо пишет Тьеру из Бордо: «Время иллюзий и церемоний в обращении с преступниками отошло наконец в прошлое, бандитов не укротить с помощью милосердия... Они совершенно пропащие и потому должны быть отсечены от общественного организма». Если бы Национальное Собрание оказалось неспособным произвести подобную операцию, национальной гвардии Парижа пришлось бы оказать на него некоторое давление, дабы заставить его исполнить свой долг перед страной [4]).

Бюжо рассчитывает на национальную гвардию, другие рассчитывают на армию, третьи — на армию и национальную гвардию, вместе взятые. Буржуазия крупнейших центров провинции (на ряду с буржуазией столицы) объявляет военную силу главным, если не единственным, оплотом «порядка». «Со времени ужасных событий, подвергших опасности французское общество, республика не хочет больше оставаться безоружной перед лицом своих врагов... Национальная гвардия, армия, судебная власть — вот тройной щит, о который всегда разобьются анархические страсти». Так рассуждает буржуазная пресса Марселя [5]). Ей вторит буржуазная пресса Бордо: «Нам кажется, что царство этих каннибалов более невозможно; но мы не думаем, чтобы страна могла предаваться обманчивому спокойствию, чтобы она могла сложить оружие. Новая битва возможна, более того вероятна; именно поэтому мы считаем своим долгом энергично поддерживать военный триумвират (le triumvirat militaire), который правит нами в настоящее время. Имена Кавеньяка, Бедо, Ламорисьера глубоко выразительны: они олицетворяют вооруженный общественный порядок (ils représentent l'ordre public armé)». Пусть Кавеньяк вспомнит «славного Казимира Перье», пусть он последует его примеру, «и он спасет порядок в 1848 году, подобно тому как его предшественник спас порядок в 1831 году» [6]).

В письме из Лиона, полученном в Париже 5 июля, читаем: «Находится ли Кавеньяк на высоте положения? Я надеюсь, что да. Вопреки всем крикам сторонников красной республики, нужно, чтобы он использовал свою диктаторскую власть... Без этого Франция погибла, разорена безвоз-

---

[1]) Arch. Nat. C 285. VIII, Dossier. 3296. Lagny, 12 juillet 1848.

[2]) Ibidem, 3127. Mirecourt, 25 juin 1848. Contal, bâtonnier des avocats: «... tous les moyens, oui tous, sont bons et légitimes envers ces affamés de pillage, ces incorrigibles et infatigables perturbateurs du repos public».

[3]) Arch. Nat., C 284. V Dossier. 2675. Le maire provisoire à Boux-aux-Bois Auguste Louis.

[4]) D. Halévy, Le Courrier de M. Thiers, p. 236.

[5]) «Le Sémaphore de Marseille», 18 juillet 1848.

[6]) Bibl. Nat. L [11] c 163. «Mémorial bordelais», 18 juillet 1848.

ртию. Чувствуется такая потребность в хорошем кормчем, что взоры всех людей порядка обращены на Кавеньяка». Письмо заканчивается утверждением, что, не будь кирасиров 7-го и 10-го полков, «добрые граждане» давно были бы перерезаны в Лионе [1]). 30 июля, значит уже после исключительных мер, проведенных во второй столице Франции, уполномоченный следственной комиссии Национального Собрания Флери-Дюрье приходит к заключению, что Лион с его 80-тысячами рабочих нуждается во «внушительном гарнизоне», что общественное спокойствие в этом городе требует «защиты со стороны вооруженной силы», что недооценка этой истины была бы «опасной иллюзией» [2]).

Автор анонимной записки, адресованной главному прокурору судебного округа Дижон, умоляет последнего принять все меры к тому, чтобы этот город «никогда не оставался без гарнизона»; это тем более необходимо, что местная национальная гвардия не внушает достаточного доверия «друзьям порядка», которые находятся под угрозой «заговора», располагающего тайным складом оружия [3]). Основываясь на этом и других показаниях того же рода, прокурор убеждает правительство обратить наконец свои взоры на Дижон, как на «оперативный центр, избранный агитаторами на линии между Парижем и Лионом». «Военная сила является нашим единственным якорем спасения (la force militaire qui eit notre seul ancre de salut); между тем она так незначительна в Дижоне, что едва достаточна для того, чтобы выдержать борьбу, а было бы так важно предупредить таковую» [4]).

Исходя из того, что «доктрины социалистов сделали почти невероятные успехи», некий Vave из Эпиналя (деп. Вогезов) рекомендует вниманию Национального Собрания следующие три меры: 1) разоружение рабочих, 2) установление строгого надзора за клубами, 3) организация подвижных отрядов национальной гвардии, «всегда готовых во всех коммунах лететь на помощь атакованным пунктам» [5]). Буржуазная пресса Лиона требует «разоружения всего незаконно вооруженного населения». «Пусть избавит нас от порабощения сюртуков блузами, честных людей клубами, и мы всегда будем стоять за республику» [6]). Та же пресса обращает внимание на необходимость более совершенной организации благонамеренной части гражданского ополчения — национальной гвардии сельских коммун, которая могла бы пригодиться на случай восстания в Лионе [7]). Нужно ли говорить о том, что лионские власти не заставили себя просить, что они широко использовали победу «порядка» в столице. За отобранием пушек у предместья Круа-Русс (28 июня) последовали разоружение и роспуск национальной гвардии Лиона (15 — 15 июля), а также ближайших к нему коммун [8]).

Но лионской буржуазии этого мало. Она добивается еще и другого — роспуска национальных мастерских, насчитывавших здесь от 20 до 25 тысяч человек, среди которых, по словам газет, имелось до двух тысяч бывших каторжников. Исходя из того, что именно из национальных мастерских вышла та «армия варваров», которая подняла восстание в Париже, буржу-

[1]) «Le Journal d'un bourgeois de Lyon en 1848», publié et annoté par Justin Godart (Paris 1924), p. 141 — 142.

[2]) Rapport, t. III, p. 102.

[3]) Arch. Nat. BB[30] 360. Liasse 3. Pièce 198. Без даты.

[4]) BB[30] 360. (3). Cour d'appel de Dijon. Dijon, le 10 juillet 1848. Главный прокурор — министру юстиции.

[5]) Arch. Nat. C. 285. VIII Dossier. 3282. Epinal, 1 juillet 1848. L. Vave.

[6]) Gazette se Lion», 12 juillet 1848: Qu'on nous délivre de l'ussevissement des habits par les blouses, et des hommes honnêtes par les clubs, et nous sommes pour toujours à la République».

[7]) «Le Courrier de Lyon», 8 juillet 1848.

[8]) См. F. Dutacq, Histoire politique de Lyon pendant la révolution de 1848, p. 437—477.

азная пресса Лиона требовала, чтобы национальные мастерские последнего были переведены на сдельщину, а затем и вовсе ликвидированы. В самом Лионе должны быть оставлены только «отцы семейств», только «трудолюбивые и честные рабочие»; «бывшие каторжники» должны быть использованы вне города и поставлены под строгий надзор; молодые, физически сильные, холостые рабочие должны быть направлены на сельскохозяйственные работы. Ликвидация национальных мастерских составляет для Лиона «вопрос войны и мира, вопрос жизни и смерти» [1]). Могли ли местные власти — генерал Жемо, главный прокурор Луазон, префект Амбер [2]) — остаться равнодушными к столь ясно выраженному требованию и отказать лионской буржуазии в том, что уже получила буржуазия парижская? 15 июля национальные мастерские Лиона прекратили свое существование [3]). Рабочие, терроризированные колоссальными военными приготовлениями и обескураженные кровавым подавлением парижского восстания, не оказали сколько-нибудь активного сопротивления этой политике ликвидации февральских завоеваний и февральских иллюзий [4]).

О требованиях буржуазии Руана мы узнаем из петиции, адресованной 3 июля Национальному Собранию торговой палатой этого города [5]).

«Коммерсанты и промышленники Руана, — гласит эта петиция, — искренно хотят республики, но они хотят республики разумной и возможной. Вот почему мы всеми силами протестуем против политического курса, который проводился со времени 24 февраля... Долой все эти идеи коммунизма, социализма, неограниченного равенства, которые человеческая природа отвергает как неосуществимые. Пора перестать ежедневно твердить нам о том, что нет больше хозяев, нет больше рабочих, нет больше богатых, нет больше пролетариев, что ассоциация, солидарность, уравнение заработной платы сделают всех нас одинаково счастливыми на земле... Именно этим путем анархия уничтожила в торговле всякое доверие и всякий кредит, вызвала разорение и обнищание всех без исключения классов общества... Именно эти доктрины привели к прискорбным столкновениям, которые погрузили Париж в траур... Мы сами трудящиеся и потому хорошо знаем все, чего рабочие в праве ждать от Февральской революции. Избранники всеобщего голосования, вы знаете лучше чем кто-либо другой разумные и умеренные идеи, которые господствуют в департаментах... Действуйте же в этом направлении, господа, внушите правительству те честные принципы, которые привели вас в палату... Удалите от общественных должностей всех тех лишенных нравственности и неспособных к делам людей, у которых нет других заслуг, кроме самых крайних убеждений... Пусть вместе с республикой нам дадут честные и разумные учреждения, соответствующие неотъемлемым законам, которые бог положил в основу человеческого общежития...»

Читатель согласится, что текст этого документа не нуждается в комментариях. Мы подчеркнем только ярко выраженную в нем тенденцию восстановления дофевральских отношений между капиталом и трудом. Впрочем, ту же тенденцию, даже в еще более резкой форме, мы находим в буржуазной прессе Бордо, которая совершенно недвусмысленно заявляет: «Мы хотим, мы требуем от власти, чтобы она сделала Францию такой же счаст-

[1]) «Gazette de Lyon», 30 juin, 4 juillet 1848.

[2]) Этот ставленник господствующей партии «трехцветных» республиканцев заменил 6 июля «красного» Мартена Бернар.

[3]) F. Duracq, op. cit', p. 447 — 449.

[4]) Вопросом о позиции рабочего класса Лиона и других провинциальных центров во время июньского восстания и непосредственно после его подавления мы займемся в особой статье.

[5]) F^{12}, 2446. Copie d'une pétition adressée à Messieurs les Membres de l'Assemblée Nationale par la Chambre de Commerce de Rouen.

щей, такой же цветущей, такой же великой, какой она была до 24 февраля»[1]). «Существование Франции, судьбы общества, будущность цивилизации, все зависит теперь от линии поведения Национального Собрания». Если оно не проявит достаточно твердости, тогда «все погибло». «Июньские дни окажутся не чем иным, как прологом гораздо более страшных сцен, среди которых погибнет Париж в огне пожарища, ибо зловещее пророчество Инара не замедлит осуществиться, и путешественник, остановившийся на берегах Сены, будет искать то место, на котором некогда возвышалась столица Франции»[2]).

Как избежать этой грозной перспективы? Как восстановить доверие капиталистов и деловую жизнь? Первым условием для этого является «твердая и решительная власть», способная осуществить ряд мер, необходимых для охраны «порядка». «Как только Париж вновь начнет волноваться, тотчас должно быть введено осадное положение во всей его строгости, осадное положение в каждом городе, где анархисты вздумали бы поднять голову и поддержать усилия своих парижских сообщников». Далее, нужны законы о печати, которые оставили бы за последней полную свободу обсуждения политических вопросов, но сурово карали бы «яростные нападки на общество и на его принципы»; это тем более необходимо, что «каждая фраза, написанная Прудоном, Торэ, Леру и другими, очень скоро переходит в ружейный выстрел, который убивает то солдата регулярной армии, то национального гвардейца». Клубы, «в которых подготовляется мятеж», клубы, «которые составляют предмет постоянного страха и постоянного беспокойства для подавляющего большинства населения», клубы должны быть закрыты. Исполнительная Комиссия, исчезновение которой было встречено всеобщим удовлетворением, более не существует. Этого не достаточно. Необходима радикальная чистка аппарата от всех назначенных ею негодных администраторов. Необходимо, чтобы вся администрация, от министра до префекта, была составлена исключительно из лиц, пользующихся доверием со стороны «честной и здоровой части населения» и ненавистью со стороны «известных врагов порядка». Наконец, Национальное Собрание должно быть переизбрано. При этом департаменты должны выставить, «как conditio sine qua non», требование обязательного перенесения его местопребывания за пределы Парижа. Это возрождение старого жирондистского федерализма на новой социальной основе мотивируется следующими соображениями: «Парижская национальная гвардия выказала прекрасный героизм; подавляющее большинство парижских рабочих составляют люди порядка и труда. К несчастью, столица во все времена находилась под игом распущенной и кровожадной черни, которая располагает свои логовища в печально-знаменитых кварталах, где, возбужденная возмутительными проповедями и гнусными писаниями и руководимая тысячами освобожденных или беглых каторжников, она находит подкрепление (всякий раз, как вспыхивает или приближается революция) в бандитах, сбегающихся в Париж со всех концов Франции. Надо покончить с таким положением вещей или надо сказать прости существующему социальному строю»[3]).

Кроме Бордо, жирондистские тенденции оказываются и в других крупных центрах провинции, как, например, Марселе, Тулузе, Ниме, Монпелье, буржуазная пресса которых необходимость перехода к децентрализации и федерализму мотивирует мнимой противоположностью экономических

---

[1]) «Mémorial bordelais», 18 juillet 1848: «Ce que nous voulons, ce que nous demandons au pouvoir, c'est qu'il rende la France aussi heureuse, aussi prospère, aussi grande, qu'elle l'était avant le 24 février».

[2]) «Mémorial bordelais», 28 juin 1848.

[3]) «Mémorial bordelais», 28 juin, 30 juin 1848.

интересов юга и севера Франции. Та же пресса требует двухпалатной системы народного представительства, дабы избежать даже внешнего сходства «с проклятым Конвентом» [1]).

Необходимость идейного разоружения «анархии», во имя которого буржуазная пресса Бордо требует обуздания своеволия печати, становится общепризнанной. В Дижоне католический орган «Зритель» высказывает следующее пожелание: «Дай бог, чтобы ужасные дни июня 1848 года открыли всем французам глаза на плачевные результаты антихристианских и материалистических доктрин» [2]).

«Сделать февраль как бы не бывшим»! Эта тенденция четко выступает в письме некоего Clary-fils из городка Amplepuis (деп. Роны) на имя министра земледелия и торговли [3]). Автор письма — без сомнения, буржуа — стоит за республику, но за такую республику, которая не опиралась бы «на подонки населения». По его словам, «просвещенное и мирное население этого района (близкого к Лиону) единственную гарантию против повторения июньских событий усматривает «в реформе всеобщего голосования». В основу избирательной системы должен быть положен «один из четырех прямых налогов», как это имело место, например, в 1789 году. Доверие восстановится лишь после того, как Национальное Собрание, выработав конституцию и избрав президента, будет обновлено на основе цензовой системы выборов.

5.

Рост реакции, резко обозначившийся в Париже и в провинции после разгрома июньского восстания, уже очень скоро стал вызывать беспокойство среди республиканско-демократических элементов мелкой и средней буржуазии. «Дело порядка восторжествовало, и мы от всей души приветствуем это торжество. Но необходимо принять меры к тому, чтобы реакционные страсти не воспользовались этим успехом для нападения на самые основы республиканского строя». Эта цитата из выходившей в Валансьенне газеты хорошо передает охарактеризованные выше настроения средних слоев буржуазии. Призывая к единению всех классов, та же газета выражает надежду на то, что страна получит «то дополнение к демократическим учреждениям, которое ей было торжественно обещано от лица Национального Собрания» [4]). «Богатые торжествуют, — читаем в дневнике одного лионского демократа, — они требуют, чтобы инсургенты были все расстреляны, либо все отправлены в гиблые места Гвианы. Те, кто в феврале сделали вид, что приемлют республику, теперь не скрывают того, что приняли ее поневоле и что будут рады установлению другого порядка вещей... Если найдется ловкий человек, не пройдет и недели, как республика исчезнет в новой монархии» [5]). В письме из Лиона другой демократ протестует против осадного положения, об'явленного в Париже. «Режим сабли» кажется ему излишним, поскольку «мятеж подавлен», «спокойствие восстановлено», «новая власть учреждена». «Реакция меня пугает, — откровенно заявляет он, — она не только не консолидирует положение, но, наоборот, расшатывает его» [6]). Буржуазно-республиканская пресса Руана клеймит местных легитимистов и местных орлеанистов, «храбрых лишь у себя за столом» (braves du coin du feu), которые в разгар восстания выступили с критикой действий

[1]) «Beilage zu Nr. 41 der Neuen Rheinischen Zeitung», 11 Juli 1848.
[2]) R. Schnerb, op. cit., p. 215.
[3]) Arch. Nat. F^{12} 2499—2500. Amplepuis (Rhône), le 20 juillet 1848.
[4]) «L'Impartial du Nord», 27 juin 1848.
[5]) «Le Journal d'un bourgeois de Lyon en 1848», p. 133.
[6]) Ibidem, p. 139.

Национального Собрания и с требованием о предании суду членов бывшей Исполнительной комиссии. «Мы не хотим, чтобы враждебные (республике, *А. М.*) партии могли воображать, что мы сражались за них, когда мы сражались за порядок. Анархия была побеждена в Париже при криках: да здравствует республика!» [1].

О том, какую тревогу возбуждала в провинции деятельность монархической реакции, — которая на официальном языке именовалась обычно «республиканской реакцией» [2], — свидетельствует письмо некоего Hochart, собственника из маленького бретонского городка Faou (деп. Финистер), на имя председателя следственной комиссии Одилона Барро [3]. Автор рисует жуткую перспективу, которую готовят стране «карлисты», те самые, которые с помощью иностранцев возмутили в июньские дни безработных парижских рабочих. «Англичане и русские хотят сохранения в Европе абсолютизма, они не хотят установления во Франции республики. Они не могут желать Бонапарта, который напомнил бы им войны империи. Они не могут желать младшую линию (Бурбонов. *А. М.*), которая только недавно дала себя прогнать. Вот почему они возлагают свои надежды на старшую линию. С помощью их золота аристократы и священники волнуют рабочих, всякую сволочь, уголовных преступников с тем, чтобы предать Францию огню и мечу, а затем произвести новую реставрацию». «Заговор» куется в Бретани, которая получает оружие из Англии и которая поднимается как один человек. Париж будет разграблен и сожжен, ибо карлисты «предпочитают царствовать на развалинах, нежели в этом городе, который постоянно заставляет дрожать их». Из Парижа «движение перекинется в другие подозрительные города» — Реймс, Брест, Живор, Ним, Монпелье, Кутанс, Нант, Бордо, Лион, Марсель и т. д., которые также будут преданы грабежам и поджогам. После того как буржуазия (читай: республиканская мелкая буржуазия) будет обессилена, появится желанный спаситель в лице Генриха V, который принесет разоренной вконец стране «мир и счастье». Что же делают — «в ожидании этого счастливого момента» — правительство и Национальное Собрание? Они назначают следственную комиссию для обнаружения подстрекателей мятежа, как будто «последний бретонский крестьянин, знающий план карлистов», не может без всякого следствия назвать их! Неужели власти хотят ввергнуть страну в пучину анархии? Не анкеты нужны в такой момент, а действия. «Надо было оставить диктатуру в руках генерала Кавеньяка и ввести во всей Франции осадное положение, чтобы предотвратить таким образом гражданскую войну, которая не замедлит разразиться». Опубликованный в прессе проект конституции далеко не удовлетворителен: должностные лица всякого рода не могут быть депутатами, выборы законодательные, муниципальные и другие не должны производиться слишком часто, власть президента республики должна быть расширена, срок его полномочий увеличен до 6 или 10 лет...

Как и подобает до паники перепуганному мелкому буржуа, Hochart, конечно, грубо извращает положение, произвольно об'единяя своих врагов слева и своих врагов справа в один политический лагерь. Конечно, из своего медвежьего угла он сильно преувеличивает успешность реакционных махинаций монархически-настроенного землевладельческого дворянства Бретани.

---

[1] «Journal de Rouen», 28 juin 1848.

[2] Rapport, t. III, p. 155. Главный прокурор округа Бордо — следственной комиссии: «Il y a maintenant r é a c t i o n r é p u b l i c a i n e».

[3] Arch. Nat. C 285. VIII Dossier. 3190. Le Faou, le 7 juillet 1848. Hochart, propriétaire à Faou (Finistère).

За всем тем усиление активности монархических групп Парижа и провинции после июньских событий не подлежит никакому сомнению. Мы имеем на этот счет достаточно данных документального характера.

Префект деп. Aisne сообщает 1 июля следственной комиссии [1]): «Враги республики, реакционеры, более или менее активные сторонники претендентов, злостно эксплоатируют страдания, переживаемые трудящимися и коммерсантами, для возбуждения граждан против властей... Одним из средств, которое удается лучше всего, является тенденция изображать как коммуниста всякого, кто обнаруживает преданность республиканизму... Сам Кавеньяк, только что показавший пример такого бескорыстия и такой чистой любви к родине и республике, Кавеньяк, этот символ безупречной и возвышенной славы, обвиняется здесь, в группах, в принадлежности к коммунистам».

Префект деп. Вандеи в докладе от 29 июня пишет, что борьба партий здесь не только не ослабевает, но, наоборот, усиливается. «Долгое время их было только две с двумя разными знаменами: белые и синие; теперь к патриотам и к легитимистам следует присоединить партию конституционалистов, иначе регентства, иначе принца Жуанвилля, и партию Луи-Бонапарта, которая заявила о своем существовании довольно неожиданно». Играя на беспокойстве, вызванном июньскими событиями и слухами о войне, монархисты всячески затрудняют консолидацию республики [2]).

Жандармский лейтенант округа Gray (деп. Верхней Соны) в рапорте, препровожденном военному министру 3 июля, сообщает о частых и многолюдных собраниях легитимистов, происходящих то в домах местного духовенства, то в замках местного дворянства. Особую активность развивает духовенство, которое «превращается в политических эмиссаров». В сельской коммуне Vadans на стенах были расклеены два анонимных плаката монархического содержания, которые заканчивались возгласами в честь духовенства, Генриха V, «добрых роялистов» и призывами к свержению республики «и всех тиранов, которые хотят ее» [3]).

«В провинции открыто говорят о возвращении к монархии, — читаем в донесении из Парижа секретного агента Николая I Якова Толстого от 8 сентября.—Вот что мне передает один из моих друзей, англичанин, проживающий в Калэ: «В Калэ республика внушает всем омерзение и все негодуют на то, что кучка негодяев навязала ее нации дураков. Я зондировал почву и, опрашивая многих лиц из всех классов общества, пришел к убеждению, что в этом городе с населением в 22 тысячи человек не найдется и дюжины настоящих республиканцев». Верный слуга царской охранки (III отделения) добавляет, что «такое настроение в северных провинциях гораздо слабее настроения, господствующего в южных и особенно в западных провинциях» [4]).

О характере агитации легитимистов в департаменте Кальвадос (и не только в этом департаменте) можно судить по статье «Призыв к народу», появившейся 12 июля в местном органе этой партии, который носил про-

---

[1]) Rapport, t. III, p. 10.

[2]) Rapport, t. III, p. 116.

[3]) Arch. Nat. BB[30] 359 (3). Ministère de la Guerre. Rapport № 20 adressé au Ministre le 3 juillet 1848. Copie.— Если вернть прокурору республики, следствие установило, что это сообщение поконтся на фактах либо неверных, либо преувеличенных. (Тот же картон, та же связка. Gray, le 3 août 1848, № 210. Районный прокурор— главному прокурору).

([4] Революция 1848 г. Донесения Я. Толстого. Под редакц. и с предисл. Г. Зайделя и С. Красного (Гиз. 1925 г.), стр. 99

кий подзаголовок «Журнала прав и обязанностей нации» [1]). Содержание этой статьи, обратившей на себя внимание властей, сводится к следующему.

Опасения некоторых лиц, «глубоко привязанных к монархическому принципу», что вновь созданное правительство Кавеньяка упрочит республику, совершенно необоснованы. Внутренняя и внешняя обстановка — совокупность географических, этнографических и политических условий страны в сочетании с успехами «социальной анархии» в соседних странах — «позволяет Франции менее чем когда-либо искать вне монархии спокойствия внутри и уважения во-вне». «Каким образом законодатели, которые являются только уполномоченными, только приказчиками народа, смогут приобрести достаточно власти над народом, чтобы держать его в подчинении, в уважении к порядку и собственности? Где найдут они необходимую силу, чтобы одерживать его? Благодаря какому чуду смогут они создать цветущее республиканское правительство в нации, лишенной добродетелей?..» «Римский народ требовал от Нерона и Домициана только хлеба и зрелищ; парижская чернь хочет хлеба, зрелищ и крови... Никогда, как бы ни старались, из принципов революции не выйдет иной политической системы, кроме перманентной анархии». Французская республика «будет последовательно оспариваться двумя непримиримыми партиями,— правящей партией «Националя» и оппозиционной партией «Реформы». Из этого положения необходим выход, которого настойчиво требует провинция. «Восемнадцать лет колебаний и четыре месяца анархии и нужды» глубоко поучительны. «Пример Парижа, этого тирана, некогда столь гордого, а ныне столь жалкого, показывает, что «пора утвердить общественное спокойствие на прочных и испытанных основах». «Наши славные национальные гвардейцы, возвратившись в нашу среду, испустили торжественный возглас: призыв к народу! Вместе с ними мы повторяем: призыв к народу!».

Возникает вопрос, на какой классовой базе и в какого рода районах действуют в этот период в провинции легитимисты, с одной стороны, и орлеанисты — с другой. Агитация легитимистов развертывается, как мы видели, прежде всего и больше всего, в экономически отсталых и чисто-земледельческих департаментах (Вандея, Финистер, Кальвадос, Морбиган), где они опираются, главным образом, на землевладельческое дворянство и связанную с ним часть сельского духовенства. Масс эта партия, по свидетельству прокурора Канского района, за собой не имеет (повидимому, ни в городе, ни в деревне) [2]). Зато, кроме старого дворянства, за легимистами идет, видимо, некоторая часть буржуазии, притом таких крупных торгово-промышленных центров, как Руан или Бордо, к которым следует присоединить Марсель и Тулон [3]). Правда, в больших городах легитимисты, по свидетельству властей, принуждены делить свое влияние с орлеанистами, которые очень сильны, например, в Кане; в целом, однако, сторонники ренегатства, даже среди буржуазии, значительно менее влиятельны, нежели сторонники Генриха V. Наконец, влияние тех и других оспаривается влиянием третьей фракции монархического лагеря — бонапартистами. Пожалуй, именно бонапартистские тенденции имеет в виду главный прокурор судебного округа Дижон. Не называя прямо того или иного претендента, он с горечью констатирует, что «республиканское правительство с каждым днем теряет приобретенные раньше

---

[1]) Arch. Nat. BB[18], 1465в — 1467a. Liasse № 6049. «L'Intérêt public. Journal des droits et des devoirs nationaux». Caen, le 12 juillet 1848. L'appel au peuple.

[2]) Arch. Nat. BB[18] 1474a, plag. 3. Rapport sur l'était moral, et politique de l'arrond-t. de Caen. Caen, 16 juillet 1848: «... si ce parti a pour lui l'influence de la fortune, il obtient peu de sympathie dans les masses».

[3]) Arch. Nat. BB[30], 358 (2). Донесения главного прокурора округа Aix — министру юстиции от 27/VII, 31/VII, 8/VIII 1848.

симпатии», и выражает опасение, как бы население не бросилось «в об'ятия первого попавшегося смельчака, который предложит ему покой и порядок в обмен на урезанные свободы» [1]).

Рассчитанная, как мы видели, на уловление симпатий среди всех классов общества, бонапартистская агитация с еще большим, чем до восстания, успехом продолжает проникать, главным образом, в среду крестьянства. На этом сходятся многочисленные показания провинциальных властей.

Префект деп. Дордонь категорически заявляет, что «Бонапарт не имеет здесь сторонников среди класса граждан, располагающих лошадьми, прислугой и пр.» [2]). Иное дело—мелкое и среднее крестьянство. Главный прокурор судебного округа Бордо сообщает, что земледельцы департаментов Шаранты и Нижней Шаранты, среди которых, по его словам, наблюдается известное довольство и царит отвращение к коммунизму, поворачиваются спиной к республике и «обращают свои надежды в сторону Луи-Наполеона». Об'ясняет он этот поворот в настроениях деревни острым недовольством последней 45-сантимным налогом, которое граничит с возмущением» [3]). Это об'яснение—надо сказать — является типичным. Префект Шаранты добавляет, что «свои теперешние страдания они (крестьяне) приписывают отсутствию вождя», и что «имя Наполеона является в их глазах символом сильной и единой власти» [4]).

Приведем еще мнение прокурора Канского района (деп. Кальвадос): «Престиж славы империи и имени Наполеона очень велик среди сельского населения. Но если культ этих традиций там существует, то планы ниспровержения (республики) в интересах какого-нибудь претендента там не прививаются. Если фамилия Бонапарт получит в наших селах знаки признания, то только в такой законной форме, как волеиз'явление населения через опущенные в избирательную урну бюллетени». А так как «обаяние имени не имеет власти над умами людей, политическое воспитание которых сделало известные успехи», и так как численность и влияние этих людей возрастают с каждым днем, то прокурор считает «укрепление республики», иначе—«правительства равенства и братства», обеспеченным [5]).

Голосование 10 декабря должно было беспощадно разрушить эти иллюзии.



[1]) $3B^{30}$ 360 (3). Cour d'appel de Dijon. Dijon, le 6 juillet 1848: «... il est à craindre, que surexcites par d'incessantes sollicitudes les populations ne s'égarant jusqu'à se jeter à l'occasion dans les bras du premier audacieux qui viendrait leur offir le repos et le calme en échange de nos libertés tronguées».

[2]) Rapport, t. III, p. 39: «... Bonaparte n'a pas ici de partisans dans la classe des citoyens qui peuvement disposer de bidets, de domestiques, etc., etc.».

[3]) Ibidem, t. III, p. 153.

[4]) Ibidem, t. III, p. 35.

[5]) Arch. Nat. BB^{18} 1474a, plag. 3, pièce 102. Rapport sur l'état moral et politique de l'arrond-t de Caen. Caen, 16 juillet 1848.



Эстетика в свете социализма[1]).

И. Веруман.

> Социализм—это наука, примененная ко всем областям человеческой деятельности.
>
> Август Бебель. Будущее общество.

В искусствоведческой литературе последнего времени эстетика третируется как «мертвая собака». Вопросы эстетики будто бы мешают научному, об'ективному расположению и анализу исторического материала. Борьба с нормативной эстетикой, эстетикой абсолютных норм закончилась победой «положительного знания» над «метафизикой». Понятие «красота», если и употребляется, то не иначе как «закавыченное», стыдливо прикрытое добавлением: «так называемая». Этот теоретический предрассудок был бы не так страшен, если бы он захватил только буржуазное искусствоведение, далекое от энциклопедического охвата идеалистического монизма и потерявшее вместе с отказом от «абсолютных норм» и кое-что от его диалектического метода. В лучшем случае — историзм, но бесхребетный, покрывающийся одной релятивистской формулой: «все относительно», в худшем случае — полная теоретическая расслабленность перед фактами. Но и труды искусствоведов, выступающих от имени марксизма, не лишены этого ложного представления о связи исторической и социологической наук об искусстве с проблемами научной эстетики. К чему привел отказ от эстетики искусствоведение, мы видим в превращении этого последнего в регистрирующую факты науку. Так называемой «социологии искусства» грозит такое же вырождение, если она все последовательнее проведет свой принцип: искать только соответствие художественного продукта среде без анализа «художественности», ради сугубой «об'ективности». Требование об'ективности вообще имеет смысл только тогда, когда оно противопоставляется случайным выражениям восторга или порицания, но лишается всякого смысла, когда речь заходит о научном понятии. Понятие лишь постольку научно, поскольку способно логически представить об'ективное движение, но, будучи продуктом **м о е г о** сознания, оно не может не выразить и моего отношения к движению. Если художественный предмет является продуктом особой деятельности, то он не может изучаться без определения этой его особенности. Если существует эстетическая или художественная деятельность, то ее познание этой деятельности будет обязательно эстетическим познанием или не будет вовсе познанием. Как могу я познать художественную идею, не познавая ее, как **х у д о ж е с т в е н н у ю** идею?

Мы собираемся показать, что игнорирование эстетики как науки есть фактический отказ от философии, ибо эстетика, в нашем понимании, является той же материалистической теорией познания в ее применении к определенному роду явлений, охватываемых особой общественной деятельностью.

---

[1]) Печатается в порядке обсуждения. Редакция особо оговаривает свое несогласие с утверждением автора относительно существования неизменного закона природы, выражающегося в эстетическом самопроявлении человека. **Ред.**

I.

Воррингер, буржуазный искуствовед, так раз'ясняет нам, на каких)снованиях строится его отказ от эстетики: «Как только историк пере- ходит от чистой фиксации исторических фактов к интерпретации этих фак- тов, он не соприкасается уже с чистой эмпирией и индукцией... Рабочий процесс состоит теперь в том, чтобы от предшествующего исторического ιатериала заключать к имматериальным предположениям. Это заключение) неизвестном, непознаваемом (Unerkennbare)» [1]... Воррингер отказы- вается от об'ективных эстетических суждений из-за «ограниченности на- шего я». Это — эстетический агностицизм, идущий от Юма и Канта.

Как известно, Кант пытался определить те формы сознания и созерца- ния, которые предшествуют опыту, точнее—содержанию, полученному из внешнего мира. Кант пытался найти тот теоретический предел, на котором можно остановиться и сказать: здесь кончается мое «чистое» (трансценден- тальное) «Я» и начинается мир опыта. Критика Канта должна была высту- пить в роли «пограничного стража философии» как выразился Гейне. Это значило останавливаться на одной форме вещей, да и то в смысле абстракт- ного и пустого предела. И подлинное содержание вещей и подлинное содер- жание суб'екта выпадали из поля зрения.

Стоит однако присмотреться в действительности к тому, что предста- вляет наше сознание, и мы немедленно убеждаемся в предметно-об'ективном характере его, в полной обусловленности его содержания об'ективным, пред- метным миром. А если так, то одна форма сознания остается пустой и не- определенной до тех пор, пока об'ективному анализу не подвергнется именно предметный мир, находящийся за пределами суб'екта. Но, имея дело с человеком, существом особого рода, мы убеждаемся еще в особом харак- тере окружающей человека действительности, представляющей особую, «очеловеченную» природу, т.-е. подвергшуюся воздействию со стороны че- ловека. История человека оказывается историей развития этого об'ектив- ного мира. Можно бы согласиться с Фихте в том, что «не-Я»—ограничи- вающий человека предметный мир, произведен, «положен» — как сказал бы Фихте—суб'ектом—Я», но и сам суб'ект является плодом развития своего собственного материального бытия. Человек и создатель и продукт своего мира вещей. Следует помнить об этой связи суб'екта с об'ектом [2]). Этот противоречивый характер исторического процесса должен быть вскрыт, чтобы избавить себя от опасности метаться от метафизического суб'екти- визма к метафизическому об'ективизму. Именно произведенный человеком мир вещей обогащает и расширяет и логический аппарат и чувственную природу человека, ибо «человек утверждается в предметном мире не только через посредство мышления, а и через посредство всех чувств» [3]).

Различие между предметом искусства и остальным миром вещей прохо- дит вовсе не по линии наличия в искусстве особого элемента—суб'ективно- сти. Следовательно, и здесь отсутствует брешь между «теоретическим» со- знанием и чувственной стороной человеческой природы; вспомним указание Маркса, что человек утверждается в мире и чувствами, что и чувства по- тому претерпевают такие же изменения, как и понятия. Нет поэтому ни- какой необходимости создавать особую теорию познания или особый метод

---

[1] Worringer, Formprobleme der Gotik, S. 2.

[2]) «Так как этот принцип (единство суб'екта и об'екта. *И. В.*) является основным, сопровождающим всякое знание и во всяком знании заключающимся, то очевидно, что этим положением утверждается единство противоположностей в отношении всей действительности и любой ее части» (А. М. Деборин, Людвиг Фейербах, 1923 г., стр. 351).

[3]) Маркс, Подготовительные работы к «Святому семейству», «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса» т. III. стр. 225.

к изучению искусства. Страх перед суб'ективным означает неумение видеть суб'ективное как об'ективную данность и неумение видеть в суб'ективном другую сторону об'ективной действительности.

Устранив суб'ективизм единичных чувств и представлений, мы от единичного переходим к общему и здесь только встречаемся с категорией содержания. Через форму мы познаем содержание, но только через содержание мы приобщаемся к процессу движения. Апологеты абсолютных норм всегда фетишисты формы, а не содержания. Диалектический материализм, эта философия универсального движения, стоит за примат содержания. Видеть в содержании главное значит провозгласить принцип движения «разумом мира». Но, игнорируя форму, мы не знали бы о различных качественно-своеобразных видах движения, мы знали бы только бескачественный, однообразный поток. Формализм — ошибочная теория, хотя диалектический материализм вовсе не игнорирует анализ формы. Формалист Эйхенбаум, считающий вместе с соратником Шкловским, что самый существенный момент в искусстве — это «ощутимость формы», что воспринимательный процесс в искусстве «самоцелен», что главное—это «видение», а не «узнавание» [1])— остается в стороне от д в и ж е н и я художественной формы, остается на позициях кантовского, формального отношения. Через содержание мы постигаем движение бесконечного. «Определить красоту, как выражение бесконечного в конечной форме, — писал Плеханов, — значило поставить на вид, что содержание не есть нечто безразличное в художественном произведении, а, напротив, имеет большую важность» [2]).

Следовательно, не теоретический предел должен стоять в поле зрения исследователя, а содержание. Но так как бескачественного движения нет, то, обладая о п р е д е л е н н ы м качеством, оно выступает и в о п р е д е л е н н о й форме. Исследуя своеобразие формы, мы исследуем и своеобразие содержания, этим самым и качественную определенность движения. В чем своеобразие художественной материи? Основная ее черта логическо-ч у в с т в е н н ы й характер. Поэтому за пределами чувственного, непосредственного отношения эта материя познаваться не может. Никакие априорные схемы не могут покрыть изучение конкретного предмета искусства, вне чувственного отношения это невозможно. Но это не исключает возможности перевода чувств на язык понятий, следовательно, не исключает об'ективного характера познания.

Познавая особый предмет художественной деятельности, мы сталкиваемся с чем-то таким, что носит название красоты. В любом предмете этой деятельности заложено стремление по-своему изобразить действительность, согласно своим понятиям и представлениям о красоте. А если это стремление об'ективировано в нашем предмете познания, то мимо него не пройти, не рискуя при этом потерять... предмет исследования. И если это стремление необходимо связано с художественной деятельностью, то, очевидно, мимо вопроса о красоте никак не пройти.

Но красота—говорят—зависит от вкусов, от формы сознания. Все зависит от того, как я — суб'ект — воспринимаю мир. Изучи мою форму сознания, и ты поймешь, почему мне это, а не то нравится. А представляет ли действительно то, что вызывает во мне переживания, об'ективно-прекрасное, это — вопрос метафизический. Социологи искусства избегают поэтому вопроса о «художественности», об «оценке». Но форма сознания остается только внутренним состоянием материи, только суб'ективным. Исследованию можно подвергнуть уже об'ективированную форму сознания — художественный предмет. Но и сама форма сознания — скажем — художественного со-

[1]) Сб. «Литература»

[2]) Г. В. П л е х а н о в, Соч., т. XVIII, стр. 145.

знания должна быть результатом воздействия на суб'екта определенных об'ективных факторов. Мало того, перед нами — нечто об'ективное, направляющее деятельность человека в определенную сторону и вызывающее определенный род действий и у первобытного охотника, и у античного грека, и в любой общественной среде. Это — закон необходимости эстетического себя проявления человеком, действующий как неизменный закон природы. Но, будучи одной потенцией, этот закон требует существования общества, чтобы стать действительностью и выступить в определенной деятельности, овеществленной, об'ективированной в предмете искусства. Чтобы выступить в таком об'ективированном виде, этот закон нуждается в особой, мыслящей и чувствующей себя природе, т. е. в человеке,— следовательно, немыслим без сознания, особого состояния материи. Что вызывается к жизни деятельностью, существующей благодаря этому закону? Выражение определенных сторон бытия через предмет искусства — продукт художественной деятельности. Эти особые стороны бытия, на особый лад выраженные, вызывают и особое чувство и получают наименование прекрасного—красоты. Красота — эти об'ективированные в предмете искусства особые качества бытия — немыслима без человеческого сознания, с одной стороны, и материальной чувственности человека, представляющей сгусток тончайших энергетических потенций природы — с другой. Благодаря этой особой чувственности человек может привести в связь ограниченные определения сознания с бесконечными возможностями природы, связать в одно воображение (фантазию) и рассудок. Человек — часть природы, сама природа и вдобавок особая природа, определенная природа. «Человек в акте рождения порождает сам себя и, следовательно, человек остается всегда суб'ектом» (Маркс). Но эта особая природа человека развертывается в обществе, в истории изменения социальных форм бытия. Это историческое бытие представляет то социальное содержание, которое, подвергшись действию упомянутого закона, принимает и определенную форму. Вот почему не существует красоты вне конкретной, исторической, художественной формы. Красота не разгуливает по миру без конкретного облачения, без исторической мантии определенного, ограниченного стиля. Меняется социальное содержание, меняется и форма. Но историчность искусства, как социальной деятельности, художественной формы, как социальной формы, преходящесть частных художественных понятий — предполагает наличие закона, дающего определенность движению социального содержания, закона, в пределах которого, и только в пределах которого, определенная деятельность характеризуется как эстетическая или художественная деятельность. Это напоминает нам другой закон природы, действующий в человеческом обществе — закон «необходимости разделения общественного труда в определенных пропорциях». «Измениться в зависимости от различных исторических условий может лишь форма, в которой эти законы проявляются» (Маркс в письме к Кугельману). Но форма изменяется, ведь, вместе с изменением содержания — в каком же отношении стоит изменяющееся содержание к неизменному закону природы? Необходимость разделения труда в определенных пропорциях не уничтожается, меняется только качественная определенность пропорций [1]). Точно также не уничтожается закон необходимости эстетического себя проявления человеком — меняется только качественная определенность социального бытия, а следовательно, и человеческих чувств и сознания — отсюда и форма проявления этого закона. Оба закона выступают в определенных исторических условиях, ибо не существует «общества вообще». Но из этого видно и то, что интересующий нас

---

[1]) См. об этом «Большевик» № 1, 1930 г. (рецензия К. Розенталя).

закон не смог бы выступить в об'ективированном виде через художественную деятельность, как социальную деятельность — без общества. Об этом законе можно сказать только то, что он определяет конкретную деятельность суб'екта, дает особое качество движению этой деятельности, так же как исторические условия дают различное содержание, ставящее подчас и различные, как будто, цели перед искусством. Но как раз потому, что перед нами действие о б е к т и в н о г о закона, мы в предмете искусства видим единство суб'екта и об'екта, об'ективных свойств природы и человеческого сознания. Вот почему наделять «эстетикоспособностью» только предмет искусства или только суб'екта — ошибка, выводящая за границы материалистической диалектики. Отношение поколений к красоте, выраженной в искусстве предыдущих поколений, есть отношение не к форме сознания, а к материальной данности, об'ективированной через сознание и чувства человека. Человек смотрит на мир глазами социального существа и суб'ективно. Об'ективные свойства бытия воспринимаются им как свойства е г о бытия. Но разве не вправе мы говорить об об'ективной природе этого мира, хотя в человеке он является предметом идей, сознания? Разумеется, социальные глаза и чувства не всегда дают возможность видеть и чувствовать об'ективно, следовательно, и воспроизводить истинные отношения бытия. Но об'яснение и этого факта может последовать также в результате анализа социальной действительности суб'екта.

Теперь только мы, вопреки Воррингеру, снимаем «ограниченность нашего я» и, рассматривая историю о п р е д е л е н н о й деятельности, производим анализ особой сущности предмета. Проблема сущности принимает отвлеченный вид, если не рассматривать ее исторически, если не решать ее в процессе общего движения; понятие о предмете является всегда результатом исторического исследования. Только конкретное развитие дает право существовать общим понятиям. Следовательно, выведение общих категорий, в том числе и эстетических, также как и обнаружение общего закона, возможно только при том условии, если теория познания, взятая в ее развитии и в неразрывной связи с реальной человеческой историей, устраняет непроходимые грани между эпохами. «Всякая эпоха,— говорил Гейне,— есть сфинкс, который низвергается в бездну, как только разоблачится его загадка». Присваивая себе уже готовый мир вещей, человек тем самым удостоверяет историчность своей природы, производит себя как исторического человека, т.-е. как продукта всей истории материальной и духовной культуры. Боязнь рассмотреть исторический процесс как единый процесс отвергается самим фактом существования п р о г р е с с и р у ю щ е г о человека. «Жизнь духа,— писал Гегель,— есть круговое движение ступеней, которые с одной стороны существуют друг подле друга, и только — с другой — представляются как прошедшие» [1]).

Итак, «вообще прекрасное» не существует, но существует закон, определяющий особое качество движения художественной (эстетической) деятельности. Если бы нельзя было определить х а р а к т е р эстетической деятельности, то нельзя было бы и познавать ее как о п р е д е л е н н о е орудие в руках общественного человека. Еще никто не оспаривал право Гомера и Байрона занимать место в пределах одной науки о художественной деятельности человека, как ни различны они по содержанию и по форме, по целям и задачам. Если люди философствуют различно, то не так, как белое и сладкое. Так возражал Гегель в своей «истории философии» тем, кто не замечал общего характера философии как науки. Лишь в этом случае понятен практический характер науки об искусстве, помогающей нам на основании анализа всей истории искусства делать выводы и помогать фор-

[1]) «Philosophie d. Geschichte», B. IX, S. 91.

мированию искусства нашего сегодня. В противном случае, какой смысл знать о вещах, которые «никакого содержания и интереса в себе не имеют, кроме того, чтобы иметь о них знание» («als dies, die Kenntnis derselben zu haben») [1]? Научная эстетика должна изучить эту особую форму «освоения мира», как говорил Маркс, как стержень всей истории меняющихся содержаний и форм искусства. Нельзя было бы говорить об искусстве с точки зрения материалистической науки, если бы в основе не лежал материальный субстрат и материальный общий закон, проявляющийся всегда в художественной деятельности человека в различных формах. Благодаря этому некоторые формы искусства, созданные разными классами в развитии человечества, не теряют свое значение, а снимаются диалектически, сохраняя об'ективность движения. Поэтому в поэтической форме «Илиады» содержатся такие об'ективные свойства, которые сохраняют нам значение этого произведения, несмотря на даль времён. Закон определяет движение общего. Единичное же существует на основе общего. В этом смысле непосредственное отношение к понятию «искусство» (а это понятие всегда употребляется, как бы эмпирик ни тыкался носом в конкретную форму, желая видеть лишь различия) перестает быть бессознательным употреблением общего понятия после исторического анализа. Нельзя есть груши, виноград, сливы без того, чтобы не с'едать одновременно и фрукты, хотя понятия «фрукты» в «чистом», логически-профильтрованном виде не существует.

Перед нами, следовательно, задача: определить особенность эстетической деятельности через выявление особой природы художественного предмета. Как мы уже говорили, познавать художественные идеи и формы отнюдь не значит предаваться восторгам или порицаниям. Эстетический или художественный критерий—об'ективен: тождество форм и содержания как двух сторон одного целого. Логическое мышление, демонстрируя единство формы и содержания, обнаруживает эти две стороны через ряд сложных отношений, следовательно, отвлеченно, художественный предмет — с самого начала, непосредственно. Идея, понятие вещи, найденное в логике, как логическое понятие, стоит по ту сторону вещи (фигурирует только в человеческом сознании), хотя состоит в единстве с вещью, следовательно, и тождественно и не тождественно вещи (одна формула тождества идеалистична), тогда как в искусстве это тождество совершенно очевидно и находится об'ективно и за пределами сознания. Идеализм недаром видел в искусстве особое подтверждение формуле тождества, что особенно использовал Шеллинг в натурфилософии. Но не всякая идея поэтому может лечь в основу художественного произведения. Только в том случае содержание принимает художественную форму, когда оно уже само по себе художественно, когда «каждая сторона сама по себе тождественна с другой и поэтому их разница (формы и содержания. *И. В.*) сводится к формальной разнице одного и того же, через что и целое выявляется, как свободное, в котором его стороны себя обнаруживают как адэкватные» [2]). Следовательно. художественное произведение есть особая форма, в которой всё составляющее внешнюю материю и притом особую материю (звуки, цвета, мрамор) пропитано насквозь идейным содержанием. В этом пункте мы и видим классическое состояние художественной формы (в том же смысле, в каком Энгельс говорил о классическом состоянии живой клетки). Это — реальность, достигшая высшей точки проявления своих внутренних возможностей. Шеллинг выразил это так: «единичное-реальное так соответствует своему понятию, что последнее в качестве бесконечного проникает конечное и конкретно

[1]) Hegel, Geschichte d. Philosophie, B. XIII, S. 24.
[2]) Hegel, Aesthetik, X², S. 11.

в нем созерцается» [1]). Под классическим искусством марксизм понимает не абсолютную норму (абсолютную красоту), но совершенно в смысле полного соответствия формы содержанию. В анализе искусства прошлого мы обязаны отличать совершенные формы от несовершенных. Именно об'ективный, познавательный критерий дал право Марксу заявить о классической форме, что она в известном смысле составляет норму и недосягаемый образец. Нам представляется, что «в известном смысле» указывает здесь на исторический, а не абсолютный характер этой нормы. Плеханов писал: «... если нет абсолютного критерия красоты, если все ее критерии относительны, то это еще не значит, что мы лишены всякой об'ективной возможности судить о том, хорошо ли выполнен художественный замысел» [2]) и т. д. Эстетический анализ есть об'ективный анализ с точки зрения материалистической теории познания. Диалектический материализм не покрывается релятивизмом, но изучает об'ективное нечто в его изменчивости, тем паче далека ему теория свободы вкусов и мнений. Маркс писал как-то: «Аргументация Гуго, как и его принцип, позитивна, т.-е. не критична. Он не признает никаких различий. Все, что существует, приобретает в его глазах значение авторитета... В одном месте положительно одно, в другом другое... Подчинись тому, что признается позитивным в твоем приходе» [3]). Это, нам представляется, бьет и тех социологов, которые старательно избегают анализа «художественности», хотя весьма произвольно пользуются терминами «упадок» и «расцвет». Мы это покажем дальше. Отказываясь от эстетических суждений, уподобляются философу, отказавшемуся от всякой философии, чтобы «об'ективно» анализировать историю философии. Не имеющий эстетического суждения не свободен еще от вкусов. Относить красоту к об'ектам мнений, не об'ективных суждений, значило бы вводить в мир нечто такое, существование которого как бы колеблется на грани бытия и небытия.

Отстраним последние, могущие возникнуть, замечания эмпирической социологии искусства по адресу научной эстетики: говорить вообще об эстетической деятельности, вообще об эстетических категориях — не значит ли это останавливаться на весьма, весьма общих понятиях, бессодержательных и скудно-абстрактных? Художественная деятельность проявляется в обществе. Общество состоит из классов. Движением своим общество обязано борьбе классов. Искусство связано с человеческим сознанием и чувствами и проявляется как деятельность классового суб'екта. При чем же тут общие понятия? Ответим на это. То, что искусство проявляется в классовом обществе, принимая на себя роль одного из средств борьбы класса за свое бытие, не снимает вопроса об эстетических категориях. Трудность состоит как раз в том, чтобы суметь за классовыми целями и задачами определенного искусства увидеть проявляющиеся в нем специфические черты особой деятельности, необходимо образующей одну сторону существования общественного человека любой общественной формации. Одним словом, общие истины пусты и бессодержательны, но не лучше этого и эмпиризм, не видящий за различиями общего. Определенность, это — общее в конкретном, единичном. Задача научной эстетики состоит в том, чтобы проследить, как некоторые эстетические категории конкретизируются в частных формах искусства, выражающих определенное классовое сознание. На ряду с «социологией искусства» может существовать, например, такая наука, как «социология философии», но что оказали бы мы об этой науке, если бы в ее задачи входило только определение абсолютных различий и классовой природы каждой философии — без анализа общего харак-

[1]) Schelling, Philosophie der Kunst, V, 1, S. 121.
[2]) Г. В. Плеханов, Соч., т. XIV, стр. 180.
[3]) Маркс, Философский манифест исторической школы права, т. I. стр. 211.

ра философии, а главное, без определения того, насколько об'ективно редставила каждая философия действительное движение материи? Такая наука» была бы карикатурой на науку. Уже само название «социологии скусства» говорит о том, что имеется некоторая общая и особая бщественная деятельность — нельзя же употреблять общее понятие «искусство», если оно за собой не имеет действительного, общего субстрата! аучная эстетика должна помочь социологии и истории искусства: 1) найти рез все единичные, частные, классовые формы проявляющиеся общие черты удожественной (эстетической) деятельности, 2) дать тот критерий, по коому можно определить, насколько об'ективно представляет каждая орма искусства действительное движение бытия, представленного как соиальное бытие. Философия, как общая методология, развивается вместе со семи науками и в свою очередь руководит развитием каждой частной науки. стетика — это философия диалектического материализма в применении к астной науке: социологии и истории искусства [1]).

II.

Итак, существующий общий закон делает необходимым проявление во е времена особых свойств человека через художественную деятельность. ак как человек — общественное существо и развивается, развертывает свои лы в определенных исторических условиях, то закон этот выступает через пределенное социальное содержание и в определенной форме. Но всегда ли тот закон находит все условия для «нормального» — так сказать — обнаужения? Нет. Зависит это от структуры общественной формации, от того, каких общественных условиях развивается человек. От определяющего се человеческие отношения общественного принципа зависит то, в какой иде проявляется закон необходимости эстетического себяпроявления. Что то так, мы попробуем доказать, разобрав такой определяющий принцип акой-нибудь общественной формации. Мы обращаемся к капиталистичекому обществу.

Человек, указывали мы в начале, является и создателем и продуктом воего мира вещей. Создавая вещи в процессе материального производства, н расширяет свою собственную природу, свои понятия и свои чувства, т.-е. азвивает себя как человека. Что представляет собою эксплоатация? Отчуждение того мира вещей, которые созданы мною, которые представляют мою собственную опредмеченную сущность, мои чувства, силы, ставшие ещами. Капитализм превращает мой собственный мир в потусторонний мир. Я лишаюсь возможности видеть в этом мире свой мир и не могу разивать себя как человека. Я обречен на беспрерывное действие, совершая го в угоду чуждой и давящей меня силе. Но культурный процесс—это не олько «поток вещей и процессов труда», как писал об этом Иоффе [2]), ибо щественную роль в этом процессе играет и выделение человеком ступеней ознания. «... Инстинктный человек, дикарь,— писал Ленин,— не выделяет ебя из природы. Сознательный человек выделяет, категории суть ступеньки ыделения, т.-е. познания мира, узловые пункты в сети, помогающие познать и овладевать ею» [3]). Человек, следовательно, в процессе производства, оздействия на природу еще и познает ее. Но этой возможности лишает

[1]) Эту необходимость связи теории и истории подчеркивал уже Август Шлель: «Die Aestetik oder die philosophische Theorie des Schönen und der Kunst ist endlich nichtig in ihrer Beziehung aux die übrigen Untersuchungen über den enschlichen geist; aber für sich allein ist sie darum noch nicht praktisch belehrend. ies wirg sie erst durch ihre Verbindung mit der Geschichte der Künst» (A. W. Schl el, «Ueber dram. Kunst und Litteratur», S. 8).

[2]) См. «Культура и стиль», Гиз, 1925 г.

[3]) «Конспект Науки Логики», стр. 41.

капитализм эксплоатируемого пролетария, этого действительного и непосредственного борца с природой. Но если пролетариат лишен условий человеческого существования, то буржуазия,—по замечанию Маркса,—обладает только подобием человеческого существования. В этом обществе вещь олицетворяет общественные отношения и осуществляет общественные связи между людьми. Тот, кто оказывается под обаянием этой чудесной мощи вещи, развивает в себе чувство чисто-животного практицизма. Наконец, группа людей, оторванная и от труда и от обладания, обречена на состояние, лишенное смысла суб'ективности, лишенное смысла, ибо только отношения к об'ективному миру, только общественные связи формируют человеческое сознание. «Только в коллективности получает индивид средства, дающие ему возможность всестороннего развития своих задатков» (Маркс). Эта группа обречена на пустое самосозерцание, дурную рефлексию [1] и «уравновешивается» грубым практицизмом господствующего в производстве класса. Здесь люди — рабы вещи, здесь подлинный культ вещи, мерило достоинства — грубый утилитаризм... Капитализм представляет в этом отношении шаг назад даже по сравнению с восточным миром, где поклонение абстрактной, потусторонней силе давало хоть некоторое поле действия фантазии и мысли, хотя и в извращенной форме, присущей всякой религии. Но поклонение вещи, протянутая пелена абстрактной всеобщности между человеком и природой в виде потусторонней силы рынка — не устранили религии, придав ей только тот оттенок мелкого торгашества, который в симфонии капитализма служит как бы лейтмотивом. Капитализм — это сплошное, абстрактное движение отвлеченных сущностей: людей (отчужденных от собственных сил и... потребностей) и вещей (элементов товарного крутооборота, а не предметов потребления). Капитализм знает вечное становление, но не бытие. Это нескончаемое «Werden» Шеллинг справедливо считал характерной «новой мифологии» — христианской религии, в которой «бесконечное» лишь для того проявляется в «конечном», чтобы уничтожить (vernichten) это последнее. Религиозное искусство, ведь, требует уничтожения плоти и формы! Деформация является поэтому характерной чертой не только христианской религии, отражающей в себе безразличие к конкретной, человеческой природе, «культ абстрактного человека» (Маркс), но прежде всего общего духа капиталистического бытия. Вот почему искусство дошло постепенно до полного отрицания не только человеческого образа, но и всякой формы... А дуализм вещи и человека — этот наглядный признак отчуждения, в форме ли эксплоатации или принужденного отказа от труда,— это отчуждение поту- и посюстороннего — разве не отражается в метафизическом пространстве барочной живописи, уживающемся с самым грубым натурализмом? Совсем как в жизни, где вещь, если и принадлежит человеку, то лишь в самом непосредственном, эгоистическом обладании, а общественные силы как бы незримы и потусторонни. Можно сказать, что почти все искусство этого общества носит в себе кое-что от этого дуализма! Это, разумеется, проявляется не сразу. До тех пор, пока обмен является только одной стороной бытия, хотя бы и существенной, но не подчиняя себе остальные и не превращаясь в универсальный, всепоглощающий и всеопределяющий принцип, до тех пор власть вещи не делается исключительной. Дальнейшая эволюция торгового капитализма, перерастание его в промышленный капитализм, общество, в котором все отношения принимают характер вещных категорий и, наконец, окончательное вызревание этого господствующего

---

[1]) Флобер так описал настроения буржуазного интеллигента, для которого в жизни осталась только пустота рефлексии: ...«Я вовсе не пользовался жизнью, жизнь воспользовалась мной. Мои мечтания утомляли меня больше, чем трудная работа... Я был спящим хаосом из тысячи плодотворных начал, не знавших, как проявиться, что сделать с собой...» («Фрагменты неопределенного стиля»).

принципа — все это приводит к невероятному, духовному оскудению общества.

Может ли в таком обществе нормально развиваться художественная деятельность, может ли здесь проявиться эта особая сторона человеческой природы, закон необходимого эстетического себяпроявления человеком? Если да, то вопреки, а не благодаря господствующему принципу. «Живя в грязном аду, могут создавать такую красоту!» — говорил Ленин Горькому. Искусство требует такого отношения к вещам, в котором преобладают общественные чувства, а не чувство непосредственного эгоистического обладания. «Чувства, находящиеся в плену грубой практической потребности, обладают только ограниченным смыслом,— писал Маркс.— Частная собственность сделала нас столь тупыми и односторонними, что какой-нибудь предмет является нашим только тогда, когда мы обладаем им, т.-е. он существует как капитал, когда мы потребляем его... Поэтому на место всех физических и духовных чувств стало простое отчуждение этих чувств, чувство обладания» [1]). Но и этого мало. В буржуазном мире существует бог — деньги, это чувственное выражение абстрактных человеческих потребностей. Деньги сводят качество потребности к одному количественному выражению, деньги превращают все, что попадает в сферу их владычества, в чисто-количественные категории. Подобно аристофановскому Плутосу, деньги потеряли бы собственную сущность, если бы стали зрячими, если бы вдруг стали различать качественное богатство мира. Все обладает ценностью, лишь если попадает или обладает способностью попасть в сферу обращения капиталов. Все, что за пределами последней, исключается из мира как негодное. Природа, искусство, даже естественные потребности — презираются и отвергаются. «То, что в еврейской религии находится в абстракции—презрение к теории, искусству, истории, человеку как самоцели — то является действительно осознанной точкой зрения, добродетелью денежного человека» [2]). Сводя все к количеству, деньги нивелируют личность, устанавливая равенство там, где, казалось бы, природой приложены все усилия, чтобы подчеркнуть различие и своеобразие. «Род человеческий вообще — вещь довольно однообразная», — восклицает Гетевский Вертер. Онорэ Бальзак красочно представил понятия своего класса: — быть «дельным» и «трезвым» человеком, значит «ничем не восхищаться, ни п р о и з в е д е н и я м и и с к у с с т в а (Разрядка моя. *И. В.*), ни благородными деяниями и двигателем всего делать личный расчет» («Эжени Гранде»).

Плеханов указывал на один существенный признак художественных идей: только идеи, способствующие сближению между людьми, могут принять художественную форму. Это вытекает из самой природы искусства, как продукта социальных отношений и средства влияний на людей. Но типичнобуржуазное сознание, взятое так сказать в своей «чистоте», исключает возможность перехода в художественное сознание. Как мы видели, денежные отношения делают все в мире абстрактным и качественно-безразличным, тогда как художественное творчество требует выявления качественного своеобразия полных, всесторонне-развитых чувств. Кроме того, буржуазное сознание насквозь эгоистично и плоско. Поэтому только протест определенных, социальных групп против буржуазных отношений вызывал к жизни художественную форму. Апологетическое искусство буржуазии обладает всегда сомнительными художественными достоинствами. Разумеется, мы говорим о буржуазии, вполне осуществившей все цели своего бытия, о «чистом», принципиально «завершенном» типе буржуазии. «Если романтические, художественные произведения много выигрывали благодаря восстанию их

---

[1]) Маркс, Подготовительные работы и т. д., «Архив» т. III, стр. 256.
[2]) Маркс, т. I, ст. «К еврейскому вопросу».

авторов против буржуа, — писал Плеханов, — то, с другой стороны, они не мало теряли вследствие практической бессодержательности этого восстания»[1]). Именно в том, что романтики отрицали буржуазную действительность, неодобрительно отражая ее, но ища «идеалы», заключается эстетическая сила их произведений, также как слабость их — в неспособности, в силу социальных воззрений, найти в самой действительности силы отрицания, отсюда мистика, область несбыточного. «Литературный портрет буржуазии не внушает презрения»[2]). Что может быть вдохновляющего в отцах Гранде Бальзака, и Бувара и Пекюше Флобера? Недаром Бальзак считал художников — людьми «особенно жестокими по отношению к буржуа»[3]).

Итак, господствующий принцип этой общественной формации приводит к дуализму: по ту сторону — общественные силы, по эту сторону — грубое существование, как в религии: по ту сторону дух, по сю сторону — плоть. Отсюда абстрактные идеи, абстрактная игра фантазии на ряду с циничной, необузданной чувственностью. Вспомним Рокероля в романе «Титан» Жан-Поля! Но абстрактные идеи не могут найти себе форму. Только конкретная цель, идея, имеющая реальные основания в действительности, способна принять чувственную оболочку и стать художественной формой. Далее, все отношения в этом обществе принимают вещный характер и воспитывают дух практицизма и вульгарного утилитаризма. Но такое отношение к вещам убивает искусство, этот продукт общественных связей, требующий отношений к себе как к о б щ е с т в е н н о м у продукту. Единственное, что остается — это выступить в роли служанки вкусов и прихотей мецената, а то и хуже — торгаша, рынка. Но это убивает искусство, требующее отсутствия связанности, искренности, силы, внутренней потребности, а не внешнего «заказа». Как говорил Жан-Жак Руссо: «слишком трудно мыслить благородно, когда мыслишь только для того, чтобы иметь возможность жить». Наконец, деньги нивелируют все, делают все абстрактным, лишают мир его качественного своеобразия. Само искусство становится абстрактной потребностью, а не органической, действительной. «Чувственное выражение отчужденной человеческой жизни» кладет свою печать на все виды деятельности. Но это убивает искусство, требующее развития всех чувств разностороннего человека; своеобразие и качественность — понятия, необходимо сопутствующие художественной форме...

Повторяем, наглядным этот общий упадок становится в пору полного торжества принципа капиталистического бытия, следовательно, в эпоху зрелого, развитого капитализма. Как раз тогда, когда буржуазия становится вполне «классом для себя», теряя и остатки прогрессивных устремлений. Общество — слишком сложный организм, чтобы искусство могло совсем исчезнуть. Положение разных классов, разных общественных групп делает всегда возможным протест против этого всепоглощающего принципа. Он-то и вливает большей частью кровь в жилы. Но это не может остановить общего упадка, «кризиса безобразия», как говорил Плеханов. Закон эстетического себяпроявления человеком в этих условиях выступает в уродливой оболочке. Эстетическое отношение к миру вырождается, с одной стороны, в анемичное эстетство, с другой — в иронию. «Но в праве ли философы, наталкиваясь на таких людей... считать иронию основной чертой в характере Провидения?» — спрашивал Бальзак. Воистину — вправе! Немецкие романтики — полуфилософы, полупоэты — перевели это на язык «эстетики». В отношении к поэзии этот вывод в устах Фридриха Шлегеля гласил так: «самые уродливые продукты поэзии имеют свою цену... если только они оригинальны».

---

[1]) Г. В. П л е х а н о в, Соч., т. XIV, стр. 143.
[2]) Там же, стр. 105.
[3]) «Цезарь Бирото», стр. 152.

В таком свете представляется нам господствующий принцип этой общественной формации. Подвергая такой критике капитализм, мы, очевидно, этивопоставляли ему нечто другое. Познать нечто можно, только выходя его пределы — учил Гегель. А, выступая за пределы одного нечто, мы избежно вступаем в пределы другого. Что же это за «другое»? Какой учный метод позволяет нам обращаться к «идеалам»? С точки зрения кого «идеала» подвергает марксизм такой критике капитализм?

«Всеобщий индивид,— писал Гегель в «Феноменологии духа»,— сазнающий дух должен быть рассмотрен в его образовании». Последовательй историзм — важнейшее завоевание философии Гегеля — унаследован марксизмом. Метод, применяемый марксизмом, этим и обусловлен. «Капитал» едставляет не теорию капитализма вообще, но такую теорию, которая казывает капитализм как историческую, общественную ступень, переходную к новому общественному образованию. Критика противоречий капитализма есть в то же время анализ материальных предпосылок нового общеа. Быть экономистом в собственном смысле слова означало для Маркса, ежде всего, утверждать категории политической экономии, как нерушие, но это означало и неспособность критиковать «великолепие крупной буржуазии». Положительный принцип марксизма лежит пределами политической экономии, за пределами буржуазного общества. Общая задача марксизма состоит в том, обы показать социализм, как естественный продукт капиталистического производства. «Намеки на высшее у низших животных могут быть поняты лько в том случае, когда это высшее уже известно» («К критике политономии»). Следовательно, научная критика капиталистического бытия возможна без теоретического построения определенного социального тройства, без определения главных и характерных свойств последнего. всем необязательно, чтобы этот новый принцип лежал окончательно развернутый перед глазами исследователя. «На основании того, что есть и что живает свой век он (новейший материализм) умеет судить о том, что ановится» [1]).

Это касается абсолютно всех сторон жизни. Теория фетишизма в томе «Капитала» представляет собою критику не только производственных ношений буржуазного общества, но и идеологических. Марксизм рассматривает общество, как органическое образование, все отдельные формы оявления которого взаимопроникают друг друга, образуя неразрывное инство. «Таким образом мораль, религия, метафизика и прочие виды еологии и соответствующие им формы сознания утрачивают свою видимую мостоятельность. У них вовсе нет истории, у них нет развития: только ди, развивающие свое материальное производство и свои материальные ошения, изменяют в этой своей деятельности также свое мышление и одукты своего мышления» [2]). Весь комплекс производственных и идеологических форм, образующих единое буржуазное бытие, мы вправе поэтому двергнуть критике с точки зрения другого бытия, другого высшего принципа — нового общественного образования — социализма. Социализм (коммунизм) и диалектический материализм неразрывны, и оба являются единым результатом всего хода человеческой истории и мысли. «Философия истории Гегеля, в которой развитие духа совершается по восходящей прямой — от низшего к высшему — потеряла смысл в реальной истории, но сохранила значение как стимул к обоснованию исторического критерия, без которого езло бы само понятие исторического прогресса, как прогресса. После о как социализм наукой и жизнью доказан, нет надобности бояться

[1]) Плеханов, Соч., т. VII, стр. 147.

[2]) К. Маркс и Ф. Энгельс о Л. Фейербахе, «Архив», т. I, стр. 216.

«предвосхищения выводов» и слепо бродить по человеческой истории. Социализм становится той теоретической вышкой, с которой обозревается весь путь развития. Что такое социализм? Это — реальная форма многостороннего человеческого бытия. Социализм — конкретный, универсальный и высший принцип марксистской «философии истории» как в гегелевской «Философии истории» — дух, пришедший к самосознанию. В теоретическом разрезе, социализм есть универсальная система категорий, соответствующих на сегодняшний день самой сложной и высокой форме бытия и самым полным и содержательным понятиям, разработанным в сфере каждой науки, взятых в связи с этой конкретной формой человеческого бытия. Эта связь наук с социализмом еще не завершена, но в этом и состоит критическая роль марксизма в наше время. Проблема г е н е р а л ь н о г о п л а н а к этому подводит вплотную. Социализм — осуществленная философия, а не пребывающая в абстрактных сферах «чистой» мысли и там разрешающаяся — помогает нам в новом свете рассматривать и историю философии, возвратив ей было утерянный абстрактностью смысл и значение. Социализм должен произвести критику всех форм человеческого себяпроявления. Только такого рода «философия истории» может показать предмет исследования во всей его многосторонности. Р а с с м а т р и в а т ь п р е д м е т с т о ч к и з р е н и я ф и л о с о ф и и, е с л и т о л ь к о н е о с т а в а т ь с я в л о н е с п и р и т у а л и с т и ч е с к о г о и д е а л и з м а, з н а ч и т р а с с м а т р и в а т ь е г о с т о ч к и з р е н и я с о ц и а л и з м а.

Может ли эстетика, как и искусство, служить исключением? Мы не боимся преувеличения, если скажем, что «Капитал» Маркса содержит «отступления», которые можно истолковать только как желание подвергнуть капитализм даже эстетической критике ¹). Эстетическое отношение проявляется ведь не только к предметам искусства, но и к вещам, тем более — к людям! С какой точки зрения подходил Маркс к критике буржуазных отношений? С точки зрения социалистического пролетариата, с точки зрения социалистического... идеала. Это слово нас не пугает. «У Маркса и Энгельса был идеал, и очень определенный идеал,— писал Плеханов,— подчинение необходимости — свободе, слепых экономических сил — силе человеческого разума. Исходя из этого идеала, они и направляли свою деятельность» ²). Но это — идеал не пустого долженствования, а ближайший пункт действительного движения. В наши дни говорить об этом было бы смешно, если бы не некоторые обстоятельства, вынуждающие нас останавливаться на этом. Мы утверждаем, что, только исходя из совершенно противоположной капитализму формы бытия, Маркс смог подвергнуть критике все стороны буржуазного бытия и, прежде всего, политическую экономию. Маркс в действительности буржуазного общества не видел условий для подлинно человеческого развития. Экономисты, чтобы оправдать существующий порядок должны были представлять себе нормальным того человека, которого они перед собой имели. «Они... делают из человека, притом из и з у р о д о в а н н о г о ч е л о в е к а (подчеркнуто мной. *И. В.*) сущность» (Маркс). Уродливого буржуа, это «честное сознание», чувствующее себя как животное в своей среде, как определил героя «духовного царства животных» Гегель («das geistige Tierreich»), специалиста, превратившего одну свою способность в выражение всей своей сущности и, наконец, пролетария, этого пария

¹) Чего стоит, напр., следующее замечание Маркса: «Если они (язычники. *И. В.*) оправдывали рабство одних, то как средство для полного человеческого развития других. Но для того, чтобы проповедывать рабство масс для превращения немногих грубых и полуобразованных выскочек в «выдающихся прядильщиков», «крупных колбасников», «влиятельных торговцев ваксой», для этого им (язычникам. *И. В*) недоставало специфически христианских чувств» («Капитал», т. I, стр. 387).

²) Г. В. П л е х а н о в, Соч., т. VII, стр. 260.

общества, для которого все созданные им блага — абстракции,— этих людей экономист — в собственном смысле хотел увековечить и потому считал ненаучным критиковать их бытие.

«Социализм, — писал Маркс, — истинное решение спора между существованием и сущностью, между об'ективированием, опредмечиванием и самоутверждением, между свободой и необходимостью, между индивидом и родом» [1]). Мы уже видели, как осуществленное и овеществленное единство человека и природы в индустрии, процесс, имеющий результатом вещь,— отчуждается в процессе эксплоатации пролетариата буржуазией. Социализм характеризуется не только осознанным единством, уничтожением мнимых граней между человеком и природой, но и всамделишним устранением материального отчуждения. Только поэтому социализм и становится царством свободы. Шеллингу представлялся в истории и природе разрыв между необходимостью и свободой, об'ективностью и суб'ективностью, действием и знанием [2]). Единство только в идее бога, а вследствие конечного характера человеческой практики, идея эта — за пределами знания — об'ект веры. Только искусство, полагал Шеллинг, является тем источником знания, в котором действительно осуществлено единство бесконечного и конечного. Спиритуалистический характер идеалистической философии мешал Шеллингу это единство духовного и материального найти в самой жизни, но в природе искусства он правильно отметил счастливое разрешение этих противоположностей. И об'ективный, эстетический критерий — результат применения материалистической теории познания к художественной деятельности — дает нам возможность в художественной форме вскрывать целый ряд общих категорий, с которыми имеет дело и общая теория познания: свободы и необходимости, необходимости и случайности, об'ективного и суб'ективного, бесконечного и конечного и т. д. — и вдобавок не в абстрактном их противопоставлении друг другу, а в неразрывном единстве, подобно тому как социализм — реальная форма бытия — представляет решение этих противоположностей во всех сторонах жизни. Вот почему искусство, взятое как род познания, получает значительное место в материалистической философии, основной целью которой является достижение полного единства логической формы своего восприятия действительности с самой действительностью. Все категории, применяемые эстетикой, проявляются во всех формах человеческой деятельности во всей истории человека и, прежде всего, в индустрии. Значение эстетики в истории развития диалектики скорее увеличивается, чем уменьшается с точки зрения материалистической философии. Проблемы эстетики оказываются проблемами всей многосторонней, человеческой истории и могут поэтому найти свое решение только в суб'екте, синтезирующем в процессе познания весь исторический процесс, чтобы оказалось возможным применить к об'екту изучения все последние выводы теории познания.

Человеком, применяющим сегодня научный метод к истории искусства и эстетической мысли, может быть только человек в его движении к социализму. Выносить суждения полные и об'ективные может только человек, ставший на точку зрения пролетариата, на точку зрения социализма. «Правильная оценка Толстого, — писал Ленин, — ... возможна лишь с точки зрения социал-демократического (писано в 1910 г. *И. В.*) пролетариата... В его наследстве есть то, что не отошло в прошлое, что принадлежит будущему. Это наследство берет и над этим наследством работает российский пролетариат». «Точка зрения» найдена, только таким путем устраняется релятивизм.

[1]) «Архив», т. III, стр. 252.

[2]) Schelling, Vorlesungen über die Methode des academischen Studium, S. 314.

III.

Когда принцип капиталистического бытия сумел развернуться во всей своей силе? Разумеется, в самый зрелый период существования. Именно этот период в лице пролетариата выдвигает самого последовательного и беспощадного врага господствующего принципа. Каково отношение марксизма к принципу буржуазного бытия, мы уже видели. В таком же свете рассматривает марксизм буржуазную культуру, особенно зрелого периода капитализма. «Ежели все дело в нашей буржуазной культуре, — писал Ленин в полемике со Струве, — значит не может быть иных залогов будущего, кроме как в «антиподе» этой буржуазии, потому что он один окончательно «дифференцирован» от этой «мещанской культуры», окончательно и бесповоротно враждебен ей» [1]). Для Ленина капитализм был прогрессивным исторически только потому, что «создает условия для уничтожения несамостоятельности»; только поэтому капитализм имеет «всемирно-историческое значение» и для него «законны все жертвы» [2]). Но Ленин отмечал духовное оскудение жизни, полное вырождение идеологических явлений буржуазной культуры. Касаясь этого последнего периода развития капитализма, Ленин говорил об искусстве: «Почему надо преклоняться перед новым, как перед богом, которому надо покориться, только потому, что «это ново»?... Здесь много художественного лицемерия и, конечно, бессознательного почтения к художественной моде, господствующей на Западе. Мы — хорошие революционеры, но мы чувствуем себя почему-то обязанными доказать, что мы тоже стоим на «высоте современной культуры». Я же имею смелость заявить себя «варваром» [3]). Ленин имел все основания заключить слово «варвар» в кавычки. Без кавычек он писал о цивилизованном варваре: «Цивилизованные народы попали себя в положение варваров... Куда ни кинь, на каждом шагу встречаешь задачи, которые человечество вполне в состоянии разрешить немедленно — мешает капитализм. Он накопил груды богатства и сделал людей рабами этого богатства» [4]). Вот к чему привел человечество прогресс техники на капиталистической основе — к физической и духовной нищете огромной массы людей. Могло ли искусство избегнуть той участи, которая выпала на долю всей культуры? Нет. Капитализм особенно резко подчеркивал контраст между уровнем экономического развития общества и духовным регрессом во всех областях. Здесь особенно сказалось «неодинаковое отношение развития материального производства, например, к художественному» (Маркс). «Беспристрастие, конечно, необходимо во всех литературных суждениях, — писал Плеханов в согласии с Марксом, — однако оно еще не обязывает нас к признанию той мысли, что успехи поэзии всегда идут рядом с успехами жизни и образованности. Нет, далеко еще не всегда... Так, напр., колоссальное развитие западно-европейской экономической жизни, определив взаимные отношения между классом производителей и классом присвоителей общественного богатства, привело во 2-й половине XIX века к духовному упадку буржуазии и всех тех искусств и наук, в которых выражаются нравственные понятия и общественные стремления этого класса. Во Франции конца XVIII столетия буржуазия выступила еще как класс, исполненный умственной и нравственной энергии, но это обстоятельство не помешало поэзии, созданной ею в то время, пойти назад сравнительно с тем, чем она была прежде, когда менее развита была общественная жизнь» [5]). Буржуазия всегда бедна на художественную форму, когда достигает «полного самосозна-

[1]) Ленин, Соч., т. II, стр. 15.

[2]) Там же, стр. 47, 58.

[3]) К. Цеткин, Воспоминания о Ленине, журн. «Коммунист» за 1924 г., № 27, стр. 11.

[4]) Ленин, Соч., т. XII, ч. 2, стр. 247.

[5]) Г. В. Плеханов, Соч., т. V, стр. 325.

ния». Чтобы передать силу и величие своего времени, французская буржуазия должна была обращаться к прошлому. Виктор Гюго не сумел в «Бруте» Давида увидеть пафоса, принесенного революцией, несмотря на пыльные исторические костюмы — на то он реакционер-монархист. Но он был прав, отметив прозаическую скудность сухих линий и форм в искусстве победившей буржуазии — даже этого творческого периода! Что же говорить о том периоде, когда господами положения стали Цезари Бирото, гениально изображеные Бальзаком,— эти герои торгашеской добродетели? [1]). Чтобы убедиться в этом дальнейшем упадке всех искусств, надо только применить категории теории познания к особой природе эстетической материи; чтобы сформулировать закон диспропорциональности в развитии искусства и экономики в определенных общественных формациях, Маркс должен был произвести об'ективный анализ природы художественного производства.

Обратимся теперь к сочинениям некоторых искусствоведов.

«Как мы должны понимать упадок в искусстве,—спрашивает тов. Маца в недавно выпущенной книге «Искусство эпохи зрелого капитализма на Западе». — На основании каких признаков можем мы установить упадочный характер того или иного явления?» Тов. Маца отвечает на это так: «Нам кажется бесспорным, что в искании ответа на этот вопрос исходным пунктом должна быть не формальная сторона явлений и не философская оценка скрытых в данном явлении идей (разрядка моя. *И. В.)*, а расшифровка социальной значимости данного художественного направления и произведений в присущей им социальной динамике» [2]).

Философскую оценку тов. Маца противопоставляет расшифровке социальной значимости. Требование Плеханова искать соответствие формы содержанию, действительности — понятию о ней, этот об'ективный эстетико-философский критерий, определяющий высоту художественной формы и помогающий таким образом распознавать социальную направленность произведения, этот критерий отвергается как ненаучный. Философия противопоставляется социологии. Нужна не философия, а «убедительный язык социологии» [3]). К чему это приводит т. Маца?—Тов. Маца переоценивает ценности. Импрессионизм он выдвигает как «кульминационный пункт» развития, «хотя в марксистской литературе... импрессионизм фигурирует как конец развития, как явно «упадочное» направление» [4]). Что же заставляет признавать в этом направлении кульминационный пункт, несмотря на суб'ективизм, «случайную самовольность», т.-е. художественный произвол, признаваемые в этом искусстве тов. Маца? Оказывается: «Мы... имеем... полное развертывание классовой сущности, полное откровенное раскрытие идеологической природы стоящего в зените своего развития класса. Говорить категорическим образом об упадке можно только с точки зрения надисторических, абсолютных требований, и то только (!) по отношению к формам выявления самоутверждения класса (Разрядка моя. *И. В.)* Да, сенсуализм, суб'ективизм, крайний индивидуализм — все это далеко не может быть идеалом человеческих отношений к действительности, но дело не в этом (Разрядка моя. *И. В.*)».

В чем же дело? — спрашиваем мы уже тревожно. Оказывается, во-первых, в том, что все это — «психические последствия её (буржуазии

[1]) Они, эти Цезари, теперь заняты мыслями о том, «из чего (бы) сделать пробки и какого цвета заказать афиши». «Говорите после этого, — замечает еще Бальзак», — «что торговля лишена поэзии!»

[2]) Указ. соч., стр. 26.

[3]) Там же, стр. 28.

[4]) Там же, стр. 20

Н. В.) материальных отношений». (Но перестает ли дурное быть дурным оттого, что имеет свою причину?). Во-вторых, «...еще в том, что буржуазия в этом периоде своего исторического бытия, посредством утверждения своего индивидуализма, суб'ективизма и сенсуализма в искусстве... не отрицает, а утверждает действительность» [1]).

Итак, в свете «чистой» социологии «надисторические, абсолютные требования» отброшены, а посему хорош даже суб'ективизм, если только он не отрицает, а «утверждает» действительность. Вспомним Маркса о Гуго: «все, что существует, приобретает в его глазах значение авторитета»! Капиталист хорош с социологической точки зрения, если только он «жизнерадостно» утверждает свое бытие. Никакой философской критики суб'ективизма, если он собою «доволен». Но с каких это пор марксизм стал оценивать буржуазию по тому, как она себя «ощущает», а не по той об'ективной роли, которую она играет в обществе и которую оценить можно только с точки зрения пролетариата? Откуда в марксизме этот «об'ективизм», оправдывающий... суб'ективизм или во всяком случае боящийся дать ему должную оценку? Говорил Маркс об условиях, «наиболее достойных и адэкватных человеческой природе» [2]), условий, которых он не видел ни для одного класса в капиталистическом обществе? И не отличают ли эти «надисторические абсолютные требования» Маркса от подлинно-экономистов, для которых марксова критика всего буржуазного бытия была «ненаучной»? Не напоминает ли, наконец, «чистый» социологизм буржуазную позитивную социологию, которая также избегает «философской оценки, скрытых в явлениях идей» и неспособна познать об'ективное движение общественной материи?

Импрессионизм—направление, характеризующее распад общественных связей, предвещающее и окончательный распад личности — на что и указывал Плеханов — признается кульминационным пунктом в развитии живописи, когда буржуазная жизнь стала «богатой, многогранной, отношение суб'екта к об'екту стало более «близким», «интимным», «чувственным» [3]). Мы показали, что буржуазная жизнь, наоборот, односторонняя и потому в одной части буржуазии создает грубое, животно-практическое отношение к вещам, а в другой — оторванной от труда буржуазной интеллигенции — абстрактное отношение к вещам, хотя уже в «теоретическом» смысле: бытие теряет свою устойчивость, все колеблется в атмосфере большого города, свет — абстрактная всеобщность — с'едает предмет, а человек, этот достойнейший об'ект изображения, теряет всякий интерес в глазах художника.

Удивительно ли после этого, что Сезанн, Ван-Гог, Матисс, «дикие» — признаются тов. Маца несущими «идеи, связанные с ростом промышленных отношений с научно-уравновешенной и рационалистической установкой, присущей к крупной буржуазии, буржуазной интеллигенции» [4]). В чем нашел тов. Маца научную уравновешенность у «диких», у Матисса, у больного Ван-Гога? «В рационалистическом и позитивном понимании жизни, в форме конструктивной ясности построения, в форме стремления к синтезу, к широкому охвату и в форме более об'ективного отношения к явлениям действительности» [5]). Деформированные тела, цвет, ставший одной краской, «конструктивная ясность», представляющая выродившийся схематизм (Плеханов: «Чепуху в кубе») — неужели все это говорит об об'ективном отношении к миру? Мы полагаем, что в работах, напр., итальянских художников Воз-

[1]) Там же, стр. 28.
[2]) «Капитал», т. III, ч. 2, стр. 291.
[3]) Указ. соч., стр. 24.
[4]) Там же, стр. 20.
[5]) Там же, стр. 28.

ния». Чтобы передать силу и величие своего времени, французская буржуазия должна была обращаться к прошлому. Виктор Гюго не сумел в «Бруте» Давида увидеть пафоса, принесенного революцией, несмотря на пыльные исторические костюмы — на то он реакционер-монархист. Но он был прав, отметив прозаическую скудность сухих линий и форм в искусстве победившей буржуазии — даже этого творческого периода! Что же говорить о том периоде, когда господами положения стали Цезари Бирото, гениально изображеные Бальзаком,— эти герои торгашеской добродетели? [1]. Чтобы убедиться в этом дальнейшем упадке всех искусств, надо только применить категории теории познания к особой природе эстетической материи; чтобы сформулировать закон диспропорциональности в развитии искусства и экономики в определенных общественных формациях, Маркс должен был произвести об'ективный анализ природы художественного производства.

Обратимся теперь к сочинениям некоторых искусствоведов.

«Как мы должны понимать упадок в искусстве,—спрашивает тов. Маца в недавно выпущенной книге «Искусство эпохи зрелого капитализма на Западе». — На основании каких признаков можем мы установить упадочный характер того или иного явления?» Тов. Маца отвечает на это так: «Нам кажется бесспорным, что в искании ответа на этот вопрос исходным пунктом должна быть не формальная сторона явлений и не философская оценка скрытых в данном явлении идей (разрядка моя *И. В.*), а расшифровка социальной значимости данного художественного направления и произведений в присущей им социальной динамике» [2]).

Философскую оценку тов. Маца противопоставляет расшифровке социальной значимости. Требование Плеханова искать соответствие формы содержанию, действительности — понятию о ней, этот об'ективный эстетико-философский критерий, определяющий высоту художественной формы и помогающий таким образом распознавать социальную направленность произведения, этот критерий отвергается как ненаучный. Философия противопоставляется социологии. Нужна не философия, а «убедительный язык социологии» [3]). К чему это приводит т. Маца?—Тов. Маца переоценивает ценности. Импрессионизм он выдвигает как «кульминационный пункт» развития, «хотя в марксистской литературе... импрессионизм фигурирует как конец развития, как явно «упадочное» направление» [4]). Что же заставляет признавать в этом направлении кульминационный пункт, несмотря на суб'ективизм, «случайную самовольность», т.-е. художественный произвол, признаваемые в этом искусстве тов. Маца? Оказывается: «Мы... имеем... полное развертывание классовой сущности, полное откровенное раскрытие идеологической природы стоящего в зените своего развития класса. Говорить категорическим образом об упадке можно только с точки зрения надисторических, абсолютных требований, и то только (!) по отношению к формам выявления самоутверждения класса (Разрядка моя. *И. В.*) Да, сенсуализм, суб'ективизм, крайний индивидуализм — все это далеко не может быть идеалом человеческих отношений к действительности, но дело не в этом (Разрядка моя. *И. В.*)».

В чем же дело? — спрашиваем мы уже тревожно. Оказывается, во-первых, в том, что все это — «психические последствия её (буржуазии

[1]) Они, эти Цезари, теперь заняты мыслями о том, «из чего (бы) сделать пробки и какого цвета заказать афиши». «Говорите после этого, — замечает едко Бальзак», — «что торговля лишена поэзии!»

[2]) Указ. соч., стр. 26.

[3]) Там же, стр. 28.

[4]) Там же, стр. 20

И. В.) материальных отношений». (Но перестает ли дурное быть дурным оттого, что имеет свою причину?). Во-вторых, «...еще в том, что буржуазия в этом периоде своего исторического бытия, посредством утверждения своего индивидуализма, суб'ективизма и сенсуализма в искусстве... не отрицает, а утверждает действительность» [1]).

Итак, в свете «чистой» социологии «надисторические, абсолютные требования» отброшены, а посему хорош даже суб'ективизм, если только он не отрицает, а «утверждает» действительность. Вспомним Маркса о Гуго: «все, что существует, приобретает в его глазах значение авторитета»! Капиталист хорош с социологической точки зрения, если только он «жизнерадостно» утверждает свое бытие. Никакой философской критики суб'ективизма, если он собою «доволен». Но с каких это пор марксизм стал оценивать буржуазию по тому, как она себя «ощущает», а не по той об'ективной роли, которую она играет в обществе и которую оценить можно только с точки зрения пролетариата? Откуда в марксизме этот «об'ективизм», оправдывающий... суб'ективизм или во всяком случае боящийся дать ему должную оценку? Говорил Маркс об условиях, «наиболее достойных и адэкватных человеческой природе» [2]), условий, которых он не видел ни для одного класса в капиталистическом обществе? И не отличают ли эти «надисторические абсолютные требования» Маркса от подлинно-экономистов, для которых марксова критика всего буржуазного бытия была «ненаучной»? Не напоминает ли, наконец, «чистый» социологизм буржуазную позитивную социологию, которая также избегает «философской оценки, скрытых в явлениях идей» и неспособна познать об'ективное движение общественной материи?

Импрессионизм—направление, характеризующее распад общественных связей, предвещающее и окончательный распад личности — на что и указывал Плеханов — признается кульминационным пунктом в развитии живописи, когда буржуазная жизнь стала «богатой, многогранной, отношение суб'екта к об'екту стало более «близким», «интимным», «чувственным» [3]). Мы показали, что буржуазная жизнь, наоборот, односторонняя и поэтому в одной части буржуазии создает грубое, животно-практическое отношение к вещам, а в другой — оторванной от труда буржуазной интеллигенции — абстрактное отношение к вещам, хотя уже в «теоретическом» смысле: бытие теряет свою устойчивость, все колеблется в атмосфере большого города, свет — абстрактная всеобщность — с'едает предмет, а человек, этот достойнейший об'ект изображения, теряет всякий интерес в глазах художника.

Удивительно ли после этого, что Сезанн, Ван-Гог, Матисс, «дикие» — признаются тов. Маца несущими «идеи, связанные с ростом промышленных отношений с научно-уравновешенной и рационалистической установкой, присущающей к крупной буржуазии, буржуазной интеллигенции» [4]). В чем нашел тов. Маца научную уравновешенность у «диких», у Матисса, у больного Ван-Гога? «В рационалистическом и позитивном понимании жизни, в форме конструктивной ясности построения, в форме стремления к синтезу, к широкому охвату и в форме более об'ективного отношения к явлениям действительности» [5]). Деформированные тела, цвет, ставший одной краской, «конструктивная ясность», представляющая выродившийся схематизм (Плеханов: «Чепуху в кубе») — неужели все это говорит об об'ективном отношении к миру? Мы полагаем, что в работах, напр., итальянских художников Воз-

[1]) Там же, стр. 28.
[2]) «Капитал», т. III, ч. 2, стр. 291.
[3]) Указ. соч., стр. 24.
[4]) Там же, стр. 20.
[5]) Там же, стр. 28.

рождения этой об'ективности и ясности неизмеримо больше. «Как мало общего имеет его (пролетариата. *И. В.)* нерасположение к современному искусству с антихудожественной тенденцией, — писал Меринг, — показывает его восторженное отношение к классикам, у которых нет никакого следа классового сознания (очевидно, в смысле пролетарского сознания. *И. В.*), но есть тот жизнерадостный элемент, которого он не находит в современном искусстве» [1]).

С одной стороны, отказ от философии ведет к релятивизму. Всякое направление может оказаться своим «кульминационным пунктом», если только оно само не отказывается от себя. С такой точки зрения следует вообще отказаться от терминов «упадок», «расцвет» и согласиться с другим буржуазным искусствоведом Вельфлином, заявляющим: «слово «классическое» не означает никакого суждения, ибо существует классичность и барокко. Барокко или современное искусство ни упадок, ни расцвет классического, но совершенно другое искусство («eine generall andere Kunst») [2]) Иоффе в книге «Культура и стиль» применил это положение к истории культуры, изобразив ход истории в виде беспрерывной игры вкусов и мнений: «элементы культуры господствующих классов называются высшими по сравнению с элементами низовых социальных групп. Революция опрокидывает эту вертикаль» [3]). Формула «все относительно» оказывается весьма эластичной...

С другой стороны, отказ от философской критики буржуазного быти и всех форм его проявления приводит к излишней почтительности перед искусством «зрелого Запада». Так, признание «научной уравновешенности» крупной буржуазии в противовес стихийности мелкой буржуазии идет значительно дальше у Федорова-Давыдова, превращаясь буквально в панегирик в честь элементов «научности» и «организованности» капитализма. Он пишет: «методы машинного производства и потребности этого производства, во-первых, придают необычайное значение аналитическому методу разложения сложных комплексов вещей и явлений на их первичные элементы и силы, а во-вторых, выдвигают на первый план вопросы организации труда (Разрядка моя. *И. В.)*... Выдвигаются дисциплины психотехники и научной организации труда (тейлоризм, фордизм, НОТ)... Растет применение аппаратуры... Кооперация и разделение труда... Аналогичное наблюдаем и живописи» (Разрядка моя. *И. В.)* [4]). Разумеется, тов. Маца не сделал бы такого поспешного вывода, но некоторые из его положений говорят о том же. Понимая цели и задачи искусства в духе плоской теории иллюзионизма (теория, по которой искусство создает иллюзию жизни (Vertäuschung). Конрада Ланге, Федоров-Давыдов советует художникам перейти от «отображения вещей» к «делению вещей», от «художественных иллюзий» к «реальным предметам», к «искусству вне искусства». «Эстетика содержания, — пишет он, — идеалистическая эстетика» [5]). Самоизжитие искусства в капиталистическом обществе Федоров-Давыдов выводит из «непрерывной борьбы техники и эстетики». Федоров-Давыдов не видит, что об'яснять явления искусства непосредственно экономикой нельзя, что ответ заключен в своеобразии общественных, классовых отношений, что в действительности в этом обществе существует противоречие между эстетикой и определенными людьми, в руках которых техника принимает, отрицающий эстетику характер. Федоров-Давыдов советует пролетариату

[1]) Меринг, Мировая литература и пролетариат, стр. 17.
[2]) Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, S. 8.
[3]) «Культура и стиль», стр. 22.
[4]) Русское искусство промышленного капитализма, изд. 1929 г., стр. 221.
[5]) Там же, стр. 166.

«ростки нового художественного ощущения» искать в «недрах техники». кто возглавляет эту технику при капитализме? Как же рассматривать : технику без «культурно-идеологической области»?

Отказ от философии оказался симпатией... к философии практическ духа буржуазности. Федоров-Давыдов жалуется на то, что «живопись вооб была видом искусства, имевшим минимум материально-практического з чения». На его стороне — сочувствие любого американского янки, делови Мы не хотим множить примеры, говорящие о том, что в современном иск ствоведении в СССР неблагополучно. Во всяком случае, связь буржуазн искусствоведов типа Воррингера, Вёльфлина, Ланге, Вундта, старательно : бегающих эстетики «как системы философских понятий» (Вундт) с цити ванными искусствоведами в этом вопросе. (отказа от философии) — о видна. На этом же пути стоят и марксисты-искусствоведы (Маца, Михайло В наши дни, когда вопрос о том, что следует наследовать от культуры п шлого для построения социалистической культуры, приобретает особое зн чение — критика должна быть особенно четкой и ясной.

* * *

Мы нашли в пролетариате того исторического суб'екта, который че последние выводы теории познания — социализм — рассматривает весь ку. турный процесс не ради него самого, но для приведения всего, что созда человечеством, в связь с той реальной формой бытия, которая воздвигае на наших глазах «Философия истории» пролетариата имеет в этом смы глубо-практический характер. Вопрос об искусстве нашего сегодня и наш завтра не может не упираться в проблему «культурного наследства». Ис рически этот вопрос должен быть поставлен таким образом: какие сторо человеческой деятельности, в каких конкретных исторических услови в какой определенной общественной формации проявились и как проявил Где именно и как определенная общественная деятельность сумела разв нуть все свои возможности, полностью реализовать себя. Какие условия с собствуют появлению такой художественной формы, которая выражает м симальное соответствие внешней материи внутренней идее. Каков харак тех общественных идей, которые носят в себе возможность появления в ; дожественной форме. На эти вопросы — вернее: на один этот расчлененн вопрос — сумеет ответить наука об искусстве только в том случае, е история предмета сольется с теорией предмета, эмпирическая история с м ксистской социологией, а эта последняя с философией в том ее пониман в каком она существует в теории диалектического материализма.

Мы показали, что господствующий принцип капитализма убивает и в вращает искусство. Искусство в этом обществе все более отрицается. Э самоотрицание искусства сопровождается и «эстетикой» отрицания, теор гибели искусства, представляющей всегда апологетику утилитаризма и пр тицизма. Прозаизм абстрактного буржуазного права дополняется не ме ным прозаизмом непосредственного обладания, фетиша вещи.

Социализм представляет новые возможности для развития искусст Социализм возвращает мир вещей человеку. Рефлектирующему рассуд места не остается. Труд перестает быть формой принуждения, станов потребностью и получая утраченные при капитализме элементы творчеств игры. Труд становится «свободной игрой физических и интеллектуальн сил» (Маркс). Потребности переключаются в сферу более тонких, социаль осмысленных чувств. Недаром, культурный рост пролетариата в наш стране сопровождается все углубляющимся интересом к искусству! Соц лизм возвращает человеческой действительности то качественное своеоб зие, которое обнажает чувственное богатство форм материального ми Умение глядеть на мир всеми присущими человеку чувствами, следователь

чувственно-цельное восприятие мира приведет к тому, что основные тенденции эстетического и всякого иного рода творческого акта окажутся сопряженными. Социализм, наконец, возвращает человека природе, устранив контраст города и деревни. Здесь материя — мир начинает, по выражению Маркса, «улыбаться» освобожденному человеку! По мере приближения к этой ближайшей исторической цели, должны крепнуть условия для продолжения лучшей поры развития искусства. Грубая «вещная» практика с единственной целью обладания давала простор лишь болезненным извращениям фантазии, убивая нормальную склонность к обобщениям. Искусство также нуждается в известной степени обобщения, хотя бы чувственного порядка; если искусство в этом смысле может быть приравнено к философии, т.-е. к роду обобщающего мышления, то именно социализм предоставит широкую возможность охватывать всю действительность, уничтожив одностороннюю специализацию. Искусство развитого капитализма, являющееся скорее отрицанием собственного понятия, вновь отрицается и оказывается на высшей ступени. Вот почему мы указывали, что категории, применяемые научной эстетикой, приобретают особый смысл с точки зрения той формы бытия, в которой эти категории оказываются осуществленными во всех сторонах жизни. Поэтому мы и полагаем, социализм предоставляет такие возможности для развития искусства, каких человеческая история еще не знала.

В этом месте нас могут прервать: у нас пока переходный период, а мы капитализму противопоставляли законченный социализм. Не значит ли это шагать через слишком широкие рвы?

Теория, по которой переходный период является пустотой или в лучшем случае перевариванием старой культуры, пролетарская культура — абстракция, эта теория не находит себе больше места перед фактами, ее опровергающими. Но все еще распространен метод противопоставления понятия «социалистическое» — понятию «пролетарское», хотя и делается это прикрыто. Представляют себе дело так: пролетариату приходится еще насаждать города и вообще развиваться в условиях города, отсюда — черты урбанизма, кроме того пролетариат строит культуру в условиях классовой борьбы. А так как социализм представляет полное отрицание и урбанизма и классов, то социалистическая культура — нечто совсем иное, чем пролетарская. Подробнее такой взгляд рисует себе движение примерно так: некоторая часть переходного периода оказывается ростом урбанистическо-пролетарской культуры, затем где-то там начнется «рассасывание» этой культуры и тогда уже рядом восхождение в подлинно-социалистической. Очевидно, эти люди представляют себе социализм только в духе некоего возвышенного благодушия (немецкое «Wohlgemüthlichkeit»)! Это весьма искусственное построение совершает большую ошибку, изображая так исторический процесс. На деле рост пролетарской культуры представляет собственно рост социалистической культуры. Социалистическая по содержанию культура принимает в переходный период форму пролетарской культуры. Все планы строящего социализм пролетариата содержат в себе с самого начала преодоление урбанизма, уничтожение контраста между городом и деревней, уничтожение классов. И если пролетарская культура действительно носит в себе черты уничтожения, «злости» в переходный период, благодаря условиям классовой борьбы, то это отнюдь не исключает и выковывания положительных — социалистических элементов культуры. Это, собственно, — один процесс, в котором обе стороны неразрывно связаны. Пролетарская культура по содержанию — социалистическая и по форме — пролетарская, поскольку пролетариат возглавляет этот процесс. Но уже пролетариат, как класс, в переходный период противоречив. С одной стороны, пролетариат уже и не пролетариат. В самом деле, пролетариат в переходный период обладает средствами производства, тогда как понятие пролетариатства исключает

ское обладание. Но обладает пролетариат средствами производства не чере частных лиц, как буржуазия, но только как класс в целом. Здесь форм обладания вполне социалистическая. Но, с другой стороны пролетариат еще пролетариат, поскольку только он является непосредствен ным созидателем материального богатства общества и в этом смысле, еще противопоставлен другим классам; полный социализм окончательно устрани даже разделение на умственный и физический труды. Таким образом, поня тие пролетариатства в переходный период принимает сразу после захват власти этот противоречивый характер. Противоречие и в данном случа выражает общий прогресс общества, постоянно указывая на две сторон процесса: самоизживание себя пролетариатом как класса и все-таки само утверждение в целях правильного направления процесса. То же противоречи свойственно и культуре пролетариата, в которой пролетарская форма носи в себе социалистическое содержание и имеет поэтому в историческом смысл и общечеловеческое значение.

Вот почему мы позволим себе рассматривать и искусство с точки зре ния «полного» социализма, с точки зрения осуществленного идеала. И есл в экономике мы переходим к конструированию генерального плана то не большей смелостью это окажется и в искусстве. Мы полагаем, чт задача науки об искусстве к этому и сводится. Разумеется, всегд следует иметь в виду и ближайшие звенья, но это не исключает необходи мости вести полную, развернутую критику.

Выносить суждения может об'ективно в наши дни только социалисти ческий пролетариат, обладающий своей философией, которую не покрыт одной «чистой» социологией. Естественным и законным наследником клас сического искусства, как и всего лучшего в истории культуры, является по этому пролетариат. Исторический и эстетический релятивизм чужды мар ксизму — мировоззрению пролетариата. Страх к обобщениям, к эстетик как науке, проявляется в суб'ективизме и эмпиризме. Ищется формально соответствие художественного продукта определенной среде (только бы най ти «достаточное основание»!), но игнорируется исследование сущности са мого предмета, который должен отражать какие-то свойства бытия н только суб'ективно, но и об'ективно — в противном случа нам нечего наследовать от прошлых форм искусства. Боязнь выносить эсте тические оценки, принимающая «форму сентиментальности» (Гегель), ничег общего с материалистической теорией познания иметь не может. Тольк борьба с художественным эмпиризмом и эстетическим релятивизмом помо жет пролетариату утвердить свои вкусы в искусстве и одновременно воспи тать их.





Проблемы эволюционного учения[1]).

И. Агол.

1. Дарвинизм и ламаркизм.

Проблема передачи по наследственности приобретенных признаков. Исторические и физиологические закономерности. Внутренние и внешние факторы изменчивости и эволюции. Проблема целесообразности.

Основным пунктом разногласий между современными дарвинистами (неодарвинистами) и современными ламаркистами (неоламаркистами) является вопрос об унаследовании приобретенных признаков. Мы говорим о «современных дарвинистах», ибо сам Дарвин, как известно, допускал возможность наследственной передачи приобретенного при жизни признака. Точно так же мы говорим и о «неоламаркистах», ибо учение современных ламаркистов также во многом отличается от учения самого Ламарка. Неодарвинист считает не выдерживающим критики не только положительное решение проблемы унаследования приобретенных признаков, но даже и одну лишь постановку этой проблемы. Ибо признак никакого отношения к наследственности не имеет: наследуется не признак, а зачаток.

Не следует смешивать, как это обыкновенно делается, проблему унаследования приобретенных признаков с вопросом о влиянии среды на наследственную изменчивость организма. Это две совершенно различные проблемы. Положительное решение вопроса о влиянии среды на наследственную изменчивость никем в настоящее время не оспаривается и ни у кого не вызывает никаких сомнений, особенно после блестящих работ Моллера. Среда может вызвать не только ненаследственные изменения, но и наследственные. В первом случае потомство ничем не будет отличаться от первоначальной родительской формы, во втором случае потомство будет отличаться от своих родителей.

Влияние среды на организм с точки зрения передачи этого влияния по наследственности может быть представлено трояким образом (рис. 1). Во-первых, можно допустить, что среда изменяет только соматические клетки, не задевая половых. Наследственную передачу подобных изменений приходится об'яснять допущением индукции или воздействия со стороны соматических клеток на половые. В данном случае мы будем говорить о так называемой соматической индукции. (Рис. 1 А). Примером соматической индукции могла бы служить передача потомству результатов упражнения, если бы подобная наследственность имела место. Упражнение усиливает мышцу, которая передает это усиление в соответствующее место зародышевого вещества, в результате чего получается потомство с адэкватным

---

[1]) Две главы из подготовленной к печати книги, выходящей в скором времени в издании Комм. Академии.

изменением мышцы. В данном случае дети были бы похожи на изменившихся под влиянием среды родителей, и мы имели бы действительную передачу по наследственности приобретенного признака. Во-вторых, этот же самый эффект можно считать результатом одновременного и адэкватного воздействия среды и на соматические и на половые клетки. В этом случае мы будем иметь, так называемую параллельную индукцию, которая будет отличаться от соматической тем, что в данном случае воздействия среды идут непосредственно и на половые и на соматические клетки, а не только на последние (Рис. 1, В). И в этом случае дети также должны быть похожи на изменившихся родителей. Наконец, в-третьих, воздействие среды идет только на половые клетки, совершенно не задевая соматических клеток. Такое воздействие не изменит родителей, но изменит потомство (Рис. 1, С). Потомство будет отличаться от своих родителей. В данном случае никакой передачи признаков по наследственности нет, ибо родители никаких новых признаков не приобретают. Из всех этих трех возможностей только последняя возможность является общепризнанной и не вызывает никаких сомнений. Влияния среды на половые клетки никем не отрицаются.

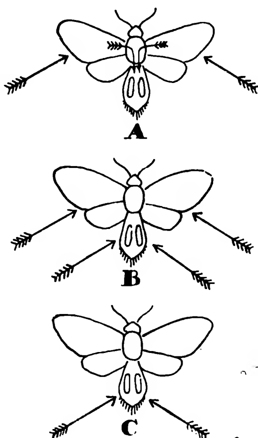


Рис. 1. Схематическое изображение: А — соматические индукции, В—параллельные индукции, С—воздействия среды только на зародышевые клетки. (По Циглеру из Платэ).

Только соматическая индукция и есть типичный случай передачи потомству приобретенных при жизни признаков. Допуская соматическую индукцию, мы должны допустить, что каждая частица при малейшем ее изменении выделяет какие-то специфические реактивы или специфические импульсы, способные избирательно действовать на определенную, чрезвычайно малую часть хромосомы. Конкретно, если, например, под влиянием внешней среды укоротится какой-нибудь палец, то это укорочение пальца должно вызвать в организме такие процессы, которые отражались бы изменением соответствующей хромосомы и исключительно в том ее месте, которым определяются признаки именно этого пальца, а не другого. При этом, изменение обязательно должно итти в сторону укорочения пальца, а не удлинения или утолщения его, и должно быть по размерам соответственно такое же, какое имело место в изменившемся пальце родителя. Такое допущение логически приводит к изначальной целесообразности, к чуду.

Параллельная индукция представляет собою такое же мистическое построение, как и соматическое. Ибо только чудом можно об'яснить параллельное, адэкватное изменение огромного множества готовых дифференциро-

ванных соматических клеток, с одной стороны, и наследственного содержания единственной недифференцированной зародышевой клетки — с другой. Современная генетика категорически отрицает возможность соматической и параллельной индукции.

Но существуют ли какие-нибудь экспериментальные данные в пользу той или иной точки зрения на вопрос об унаследовании приобретенных признаков? Несмотря на большое число предпринятых опытов для положительного решения этой проблемы, в настоящее время мы все же не имеем ни одного факта, который бы действительно говорил об унаследовании по типу соматической или параллельной индукции.

Остановимся на нескольких основных опытах из их огромной серии. Из всех этих опытов мы считаем решающими те, которые пытались путем пересадки половых элементов из одной особи в другую кастрированную особь, обладающую некоторыми другими признаками, доказать влияние соматических признаков второй особи на потомство, происшедшее от пересаженных из первой особи половых клеток. В этом отношении особенного внимания заслуживают опыты Клата (1919) над непарным шелкопрядом (Lymantria dispar). Нашумевшие в свое время опыты Магнуса над кроликами и Гетри над курами в настоящее время взяты под сомнение и даже опровергаются опытами Дэвенпорта, Шульца и, в особенности, Кальтенбаха (над утками). Клат пересаживал гонады желтых и нормальных гусениц непарного шелкопряда в черных гусениц. Выведенные таким образом черные самки бабочек с «желтыми» или «нормальными» половыми железами были скрещены с нормальными, неоперированными самцами. Если соматическая индукция могла бы иметь место, то тело бабочки, развившейся из гусеницы черного цвета, должно было бы воздействовать на пересаженные половые клетки и хотя бы в некоторой степени повлиять на потомство гусениц; но из 400 гусениц, полученных Клатом от этого скрещивания, ни одна не оказалась черной. Это показывает, что тело никакого влияния на пересаженные яичники не оказало. Другими словами, опыт Клата говорит против соматической индукции.

Особенно много нашумели в свое время опыты Каммерера, которые в течение ряда лет считались самыми лучшими и вернейшими доказательствами соматической индукции. Каммерер воспитывал пятнистых саламандр (Salamandra maculosa) на желтом и черном грунте. Саламандры, воспитанные на черном фоне, сами чернели и передавали эту, вновь приобретенную, окраску своему потомству. То же самое случилось и с саламандрами, выросшими на желтом грунте: они сами пожелтели и передали новую окраску своим детям.

Гербст (1919, 1924) повторил опыты П. Каммерера над саламандрами, уточнив и несколько видоизменив методику последнего. Он воспитывал на черном и желтом грунтах не взрослых саламандр, а их личинок. Из личинок, выросших на черном фоне, действительно развились более черные саламандры, воспитанные же на желтом грунте дали более желтых саламандр. Однако дальнейшее развитие этих саламандр, несмотря на их дальнейшее пребывание на соответствующем фоне, дало возврат к нормальной окраске. На основании этих опытов Гербст приходит к выводу, что полученное саламандрой изменение окраски в личиночном состоянии не только не наследственно, но после превращения личинки в зрелую саламандру сглаживается, и саламандра принимает свою нормальную окраску, независимо от того, на каком грунте она будет в дальнейшем воспитываться. Очевидно, опыты Каммерера производились на недостаточно выверенном в генетическом отношении материале, и потому и результаты, полученные им, не могут быть убедительны.

Другие опыты Каммерера, имевшие в свое время огромную известность, в настоящий момент также взяты под сомнение и ни в коем случае не могут считаться убедительными. Мы имеем в виду опыты его над жабой-повитухой (Alytes obstetricans). Каммерер рядом искусственных мер заставлял указанных жаб откладывать яйца не на сушу, как это бывает с обыкновенной жабой-повитухой, а в воду. Этот измененный инстинкт, по утверждениям Каммерера, передавался потомству, которое, уже без всяких воздействий на него, откладывало яйца прямо в воду. Наследственный, измененный инстинкт, по Каммереру, не ограничивался одной самкой. И самец жабы-повитухи, обыкновенно вынашивающий на своих ногах яйца, откладываемые самкой в виде шнура на суше, в новых условиях теряет этот инстинкт и возвращается к способу размножения прочих европейских жаб, т.е. отказывается от вынашивания яиц. Этот измененный инстинкт у самца также наследственен. Даже изменяется также и способ оплодотворения, в связи с чем у самцов на пальце развивается мозоль, как у остальных самцов европейских лягушек и жаб. Эта мозоль также передается потомству.

Эти опыты Каммерера вызвали целый ряд нападок на него со стороны крупного генетика Бэтсона, нападок, набрасывающих тень на научную добросовестность Каммерера. Бэтсон высказывал определенное сомнение в правильности сообщаемых Каммерером данных. Он также отказывался признавать приведенные Каммерером рисунки мозолистых образований на пальцах у самцов жабы-повитухи за рисунки настоящих мозолей в виду необычного местоположения последних. Суровой оценки подверглись эти опыты и со стороны другого крупного современного биолога Э. Баура. Последний обвинял Каммерера в том, что он умалчивает о многих чрезвычайно важных обстоятельствах опыта. Баур склоняется видеть в результатах, полученных Каммерером, «простую ошибку исследователя».

Эти опыты оказались для Каммерера роковыми. В августовской книжке за 1926 г. американского журнала «Nature» появилась статья проф. Нобля, в которой последний заявляет, что им был исследован экземпляр самца жабы-повитухи, хранящийся в Венском биологическом институте. При чем оказалось, что на том месте, где расположена «мозоль», вспрыснута тушь, которая должна была произвести ложное впечатление черной окраски в районе мозоли. Это сообщение произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Каммерер не выдержал и застрелился. В своем посмертном письме он категорически отрицает свое участие в этой фальсификации, говорит, что не знает, кому это понадобилось «улучшить» его музейный препарат, но что дальше жить не может, так как не хочет и не может быть свидетелем того, как рушится работа всей его жизни.

Отметая подозрение в научной недобропорядочности П. Каммерера и считая его жертвой недопустимой травли, мы тем не менее все-таки должны сказать, что его опыты, которые в большинстве случаев производились без учета современных генетических данных, без достаточной генетической проверки подопытного материала, в настоящее время не могут убедить ни одного биолога, серьезно занимающегося вопросами наследственности. Они в лучшем случае устарели, как устарели многие другие опыты, например, опыты Броун Секара над морскими свинками, Пикте—над бабочками и т. п. Не оправдались также и опыты академика И. П. Павлова по наследованию условных рефлексов у мышей. Павлов должен был признать, что он был введен в заблуждение неопытным своим учеником: никакой наследственной передачи условных рефлексов отметить не удается.

До Августа Вейсмана вопрос о наследственной передаче приобретенных свойств ни у кого не вызывал сомнений. Все биологи и философы, в том числе и самые крупные, были убеждены, что признак, приоб-

ретенный родителем, в той или иной мере передается детям по наследственности. Рассуждения Дарвина о влиянии упражнений на наследственную изменчивость организма, есть не что иное, как признание передачи по наследственности приобретенных признаков. Вейсман первый не только высказал сомнение по поводу положительного решения этого вопроса, но и подверг его уничтожающей критике как с точки зрения теоретической, так и экспериментальной.

В этом отношении особенного внимания прежде всего заслуживает учение Вейсмана о зародышевом пути. Не организм в целом вырабатывает каждую отдельную клетку, как, например, представляла себе процесс образования зародышевых клеток дарвиновская «временная гипотеза» наследственности (пангенезис), а каждая клетка, в том числе и зародышевая, происходит от предыдущей клетки путем деления. У очень многих организмов удалось подметить обособление полового зачатка на довольно ранней стадии развития дробящегося оплодотворенного яйца, при чем этот обособленный зачаток сохраняет свое сравнительно изолированное положение среди других клеток организма. Случай чрезвычайно раннего обособления половых клеток был описан Бовери в 1891 году у лошадиной аскариды (Ascaris megalocehala). Уже на стадии двуклеточного деления оплодотворенного яйца аскариды можно отличить переднюю клетку, из которой произойдет вся эктодерма (внешний слой) и заднюю клетку, которая, дав от себя начало клеткам, образующим прочие зачатки, превратится в половые клетки. Первая клетка при дальнейшем дроблении делится продольно, вторая — поперечно, так что проследить дальнейшую судьбу каждой из них не трудно. Как известно, ядро клетки состоит из лининового скелета, «одетого» в хроматиновое вещество. Так вот, по наблюдениям Бовери, клетки зародышевого пути, из которых развиваются половые клетки, сохраняют целиком весь свой хроматин, клетки же соматические на стадии двух, четырех и т. д. клеток отбрасывают часть хроматина, расположенного на периферии хромосом, а в дальнейшем делении участвуют только срединные части хромосом. Развитие соматических и половых клеток у аскариды идет следующим путем. Первая клетка зачаткового пути при дальнейшем делении дает вторую соматическую клетку (S_2) и вторую зачатковую (P_2), при чем и эта соматическая клетка при дальнейшем делении снова теряет часть хроматина, зачатковая же сохраняет его целиком. Вторая зачатковая клетка снова делится на третью соматическую клетку (S_3) и третью зачатковую (P_3). Последняя производит четвертую соматическую (S_4) и четвертую клетку зачаткового пути (P_4). Наконец, четвертая зачатковая клетка образует две первичных половых клетки g_1 и g_2, которые и образуют половой зачаток. Схематически этот процесс развития половых клеток может быть представлен следующим образом (см. рис. 2).

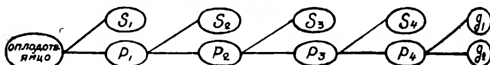


Рис. 2. Схематическое изображение зародышевого пути у лошадиной аскариды.

На этой схеме клетки зачаткового пути обозначены буквой P с соответствующей цифрой, соматические клетки обозначены буквой S, половые—буквой G. Как видно из схемы, непрерывная связь имеется только между клетками зачаткового пути, из которых впоследствии развиваются половые клетки. Последние после оплодотворения снова дают такой же непрерывный ряд, который снова приводит к отщеплению соматических клеток и образованию

половых. Таким образом, устанавливается непрерывность зародышевых клеток из поколения в поколение, в то время как соматические клетки погибают каждый раз вместе со смертью индивидуума, представляющего эти клетки. Сома есть как бы футляр, в котором хранятся половые клетки.

Зародышевый путь в настоящее время открыт у многих самых разнообразных животных: у сенокосцев (Фаусек и Шимкевич), у паразитических веслоногих ракообразных (Шимкевич и Педашенко), у костистых рыб (Jungersen и Eigenmann), у млекопитающих (Рубашкин и Fuss). Это явление обычно также у многих червей, насекомых, паукообразных, моллюсков и др.

Какое значение имеют все эти данные для разрешения проблемы унаследования приобретенных признаков?

Для того, чтобы лучше уяснить себе это значение, разберем какой-нибудь конкретный случай. Возьмем хотя бы случай, полученный недавно автором этой книги. Желтоглазый самец мухи дрозофилы был скрещен с красноглазой самкой, у которой половые хромосомы (Х-хромосомы) были сцеплены. Наследственная передача признаков при таком скрещивании, как правило, идет от отца к сыновьям, от матери — к дочерям. Другими словами, сыновья всегда похожи на отца, а дочери — на мать. Но в нашем опыте получилось нечто неожиданное: сыновья оказались все с белыми глазами, т.е. они оказались непохожими ни на отца, ни на мать. Дочери же все пошли в мать—они все были с красными глазами. Признак белоглазости оказался весьма стойким. Мы провели восемь поколений и никаких исключений или возвратов к желтоглазости не получили. Все эти данные с несомненностью свидетельствуют о том, что мы имеем дело с вновь возникшей мутацией. Необычайное здесь заключается в том, что мутантом оказалась не одна особь, как это обыкновенно бывает при возникновении новой мутации, а все сыновья, происшедшие от желтоглазого самца и красноглазой самки со сцепленными половыми хромосомами. Другими словами, все половые клетки желтоглазого самца несли ген не желтоглазости, как был у отца, а белоглазости, т.е. фенотип отца не соответствовал в этом отношении его же наследственному генотипу. Как могло все это получиться? Допустить, что у желтоглазого самца одновременно произошло огромное количество одинаковых мутаций абсолютно во всех половых клетках, — совершенно невозможно. Необходимо допустить, что в данном случае произошла одна мутация на чрезвычайно ранней стадии эмбрионального развития желтоглазого самца, когда его первая половая клетка только отделилась от соматических клеток, и именно в этой единичной половой клетке. Дальнейшее эмбриональное развитие привело к тому, что половые клетки, получающиеся от деления этой первичной половой клетки, все будут содержать ген белоглазости в то время, как соматические клетки, образующиеся от деления первичных соматических клеток, будут содержать ген желтоглазости. В результате такого развития и получилось то, что мы видели: желтоглазая муха с «белоглазыми» половыми клетками. Мы получили у дрозофилы естественным путем то, что искусственно путем пересадки яичников добивались получить для выяснения проблемы унаследования приобретенных признаков у курицы — Гетри, Дэвенпорт, Шульц, у кроликов — Магнус, у уток — Кальтенбах, у непарного шелкопряда—Клат. Наши данные вполне подтверждают изложенные выше работы Клата, а также более старые работы Кэстля и Филипса на кроликах (1909). Никакого влияния соматических клеток на половые клетки данной особи обнаружить не удается.

Все приведенные данные показывают, что говорить о фенотипе, как о реализованном генотипе половых клеток мы можем только в смысле связи во времени, но не в пространстве, т.е. исторически, но не физиологически. В нашем опыте генотип половых клеток у желто-

глазого самца имел ген белоглазости. Реализовался этот ген только в потомстве, а у нашего самца он никак не был реализован, а находился скрытым под его «соматическим футляром». Желтоглазый самец реализовал только то из генотипа своих родителей, что получил в соматических клетках, а не половых. Генотип половых клеток никогда не реализуется в данном организме, он выявляется только в потомстве и то постольку, поскольку переходит в соматические клетки. Откуда следует, что генетическая связь между фенотипом и генотипом половых клеток, которая одна только и имеет значение при наследственности, есть связь историческая.

Эта генетическая связь между соматическими и половыми клетками, т.-е. связь в смысле выявления одних и тех же признаков, само собой понятно, не исключает физиологической связи и взаимодействия между ними в каждом конкретном организме. Между любыми органами организма существует физиологическая связь. Организм есть целостность, живое единство, но не об этой связи говорим мы в генетике. От того, например, что между легкими и сердцем имеется довольно тесная физиологическая связь, никто не скажет, что от этой связи легкое может превратиться в сердце или, наоборот, сердце в легкое. Между тем, признания чего-то подобного требуют от нас, когда на основании физиологической связи между сомой и зародышевыми клетками хотят насильно установить и генетическую связь между ними.

Если генетическая связь между сомой и половыми клетками действительно имела бы место, то мы должны были бы ожидать, что при пересадке одних частей какого-нибудь организма в другой организм сросшиеся части будут влиять на наследственное содержание друг друга. Но этого никогда не бывает. Когда черенок какого-нибудь фруктового дерева прививается к другому дереву, то признаки плодов привившейся ветки не изменяются от тесной связи с новым деревом и от несомненного физиологического воздействия с его стороны. То же самое относится и к трансплантациям у животных. Гаррисон сращивал части молодых головастиков болотной и лесной лягушки. Эти головастики отличаются друг от друга как по цвету, так и по другим признакам. Несмотря на несомненную физиологическую связь между сросшимися частями различных лягушек, каждая часть сохраняет все свои особенности вплоть до взрослого состояния.

Нет никакого сомнения в том, что все части организма находятся в тесной анатомической, физиологической и т. п. связи между собою. Но, рассматривая эти связи, мы стоим за пределами генетики и находимся в области анатомии, физиологии и др. Подобные связи мы устанавливаем не только между половыми и соматическими клетками, но и между каждыми из них в отдельности, с любой частью, любой тканью и органами животного и растения.

Современная генетика различает два генотипа — генотип половых клеток и генотип соматических клеток, которые хотя в подавляющем числе случаев, вследствие краткости пути от родителей к детям, совпадают, но тем не менее принципиально должны быть обязательно различимы [1]). В нашем случае ненаследственный генотип соматических клеток был «желтоглазым», в то время как наследственный генотип половых клеток той же мухи был «белоглазый». Из этого мы можем сделать следующий вывод: фенотип есть реализованный генотип соматических клеток. Характеристику фенотипа надо

[1]) Точнее говоря, генотипов в каждом организме столько, сколько в нем имеется клеток, ибо каждая клетка обладает своим набором хромосом, стало быть, генов, которые могут мутировать независимо от генов остальных клеток и дать генотип, отличный от генотипов других клеток.

искать не в генотипе половых клеток его носителя, а в генотипе особивших от клеток зародышевого пути и развившихся независимо от них соматич ских клеток. Все изменения, которые произойдут в этом соматическом і нотипе на всем пути его жизни, найдут свое отражение в ф е н о т и п е орі низма. Но эти изменения никакого генетического влияния на генотип пол ых клеток не окажут.

Мы повторяем—разобранные факты с несомненностью свидетельствуі о том, что генотип половых клеток никогда не может проявиться у свое носителя. Больше того, мы можем даже сказать, что генотип половых кл ток, вообще, не имеет своего фенотипа, он не проявляется самостоятельн О нем мы можем судить приблизительно по следующему поколению и то і генотипу отщепившихся от него во время эмбрионального развития соматич ских клеток. Никакого генетического влияния на фенотип он не оказывае хотя находится в физиологической связи со всеми частями организма, ста быть, и с соматическими клетками. Связь между соматическим генотипом генотипом половых клеток можно сравнить со связью между современн человеком и криматами. Генетическое развитие того и другого не завис дут от друга, хотя оба они происходят от одного и того же корня. Изм нение корня могло повести к соответствующему адэкватному изменени обеих ветвей, изменение же на каком-нибудь участке одной из ветвей і отражается на другой ветви.

Смешивание ламаркизмом физиологических и исторических закон мерностей происходит и по другой линии. Настаивая на соматическ индукции и отвергая дарвиновское учение о естественном отборе, ламаркиз и здесь смешивает две различные вещи, — изменчивость и эволюцию. Эволк ция организмов есть проблема исторического характера, а не физиологич ского, хотя физиологические процессы несомненно играют роль в эволюци организмов. Одна изменчивость и даже наследственная изменчивость не ест еще эволюция. Наследственная изменчивость сама по себе есть проблем генетики и включается в эволюционное учение только через учение о ест ственном отборе.

Остановимся на нескольких конкретных примерах, которые помогу нам более четко выяснить разницу между физиологическими и историч скими закономерностями. Возьмем окраску и форму крыла у бабочки Ка. лимы, удивительно совпадающие с окраской и формой листьев. Физиологич скому исследованию подлежит вопрос о том, какие внутренние процесс привели к подобной организации крыла у бабочки. Проблема же эволюци лежит в другой плоскости. Она ищет ответа на совершенно другой вопро а именно, на вопрос, почему крылья бабочки по своей окраске и форме с впадают с окраской и формой листьев. Несомненно, что на процесс образ вания подобных крыльев огромное влияние в числе других факторов сред оказал глаз хищника — птицы. Но как влиял этот глаз? Очевидно, мы здес имеем дело не с физиологическим, не непосредственным влиянием. Форм и окраска крыльев сохранилась именно потому, что глаз хищника не заме чал или плохо замечал их, в противном случае бабочки, обладающие им были бы просто с'едены. Отбор этих форм, их выживание стали воз можны именно потому, что непосредственной связи между глазом хищник и бабочки не существовало. Развитие формы и окраски крыльев бабочк находится в тесной связи и зависимости от развития глаз хищника, от раз вития формы и окраски листьев, скрывающих бабочку, но эта связь и зави симость совершенно иная, чем связь и зависимость, существующие, например между лучами солнца и нашим зрением.

Другой пример. Хоботок шмеля удивительно приспособлен к медонос ным частям клевера. Другие насекомые не могут достать этого меда. На во

прос, как у шмеля образовался подобный хоботок, может последовать два принципиально различных ответа. Один ответ может гласить: стенки цветка клевера своим постоянным давлением на хоботок шмеля, пытавшегося проникнуть в глубь чашечки за медом, приспособили хоботок к себе, придали ему соответствующую форму. Эти постоянные соматические изменения (изменения хоботка) индуцировались в половые клетки и закреплялись в потомстве. Здесь мы будем иметь чисто-физиологическое об'яснение процесса. Но тогда совершенно не понятно, почему подобный хоботок выработался только у шмеля, ведь несомненно, что и другие насекомые неоднократно пытались проникнуть своими хоботками в нектарник клевера за нектаром. Другое об'яснение будет историческое. Оно гласит: совершенно независимо от развития медоносных частей клевера среди множества других форм хоботка шмеля случайно возникла мутация хоботка, лучше других подходившая к форме нектарника клевера. Естественный отбор подхватил эту мутацию, уничтожил все остальные формы, как менее приспособленные. Связь между развитием хоботка шмеля и развитием нектарника клевера и при этом об'яснении несомненная, но связь не непосредственная, не физиологическая, а историческая. Хоботок шмеля изменялся совершенно не потому, что на него давили стенки цветка клевера. Его изменение шло по его собственным закономерностям и определялось его наследственным генотипом. Но клевер кормил не всякого шмеля с любым хоботком. Подавляющее большинство шмелей гибло из-за отсутствия пищи, оставались только те из них, у кого хоботок мог так или иначе проникнуть в глубь цветка и достать мед. То же самое должно сказать и о развитии цветка клевера. Изменение цветка шло по своим собственным закономерностям и определялось наследственным генотипом клевера. Но шмель опылял не всякий цветок, а только тот, кто его кормил, т.-е. тот, у кого нектарник был лучше всего приспособлен к его хоботку. Клевер с другой, менее приспособленной к хоботку шмелей формой медоносных частей оставался неопыленным и выводился из строя, он погибал для эволюционного процесса.

С точки зрения занимающего нас вопроса о физиологических и исторических закономерностях чрезвычайно интересна эволюция рабочих пчел. Известно, что рабочая пчела снабжена специальными приспособлениями для сбора меда и пыльцы с цветов. Физиологическое об'яснение происхождения этих приспособлений будет приблизительно заключаться в следующем: постоянная работа вызывает изменение лапки у рабочей пчелы. Это соматическое изменение физиологическим путем передается в половые клетки, что ведет к стойкому закреплению его в потомстве. Но подобное физиологическое об'яснение развития лапок рабочей пчелы не выдерживает критики, ибо, как известно, рабочие пчелы не способны размножаться и, стало быть, о передаче потомству приобретенных ими при жизни признаков не может быть и речи. Размножается матка и трутни, но эти пчелы никогда не упражняют своих лапок, по крайней мере, в том направлении, в каком их упражняют рабочие пчелы, так как они не занимаются сбором ни меда, ни пыльцы. Эволюция приспособительных органов рабочей пчелы несомненно зависит от развития формы и строения кормящих их цветов. Но эта связь и зависимость опять-таки не непосредственная, не физиологическая. Решающую роль здесь играет отбор, при чем отбор не бесплодных рабочих пчел, снабженных приспособительными органами для сбора меда и пыльцы, а плодовитых пчел без этих приспособительных органов, но способных давать в потомстве рабочих пчел, снабженных аппаратом для сбора меда и пыльцы.

Вопрос о физиологических и исторических закономерностях вплотную подводит нас к проблеме внутренних и внешних факторов изменчивости, —

с одной стороны, и эволюции — с другой, к проблеме, играющей огромну роль в споре между дарвинистами и ламаркистами. Хотя разрешение эт проблемы, собственно говоря, вытекает из всего хода предыдущего наше изложения, мы тем не менее в виду важности ее несколько заострим на н наше внимание. Начнем с проблемы внутренних и внешних факторов изме чивости организмов.

Каждый организм представляет собой сложившуюся в течение огро ного исторического периода живую систему со своими своеобразными закон мерностями. Какие операции мы ни произвели бы, например, над икринк лягушки, мы можем в лучшем случае убить эту икринку, но не измени ее настолько, чтобы из нее вместо лягушки развилось какое-нибудь друг животное. Признаки организма заранее определены наследственными зача тками, передающимися от отца к детям. Даже больше того, не только пр знаки, но и характер изменчивости этих признаков такж в значительной степени определяется состоянием наследственного генотип т.-е. внутренними закономерностями самой системы, а не внешними, кот рым в процессе изменчивости принадлежит только роль провоцирующе фактора. Организм — не воск, из которого «всесильная обстановка» може лепить что ей угодно. Любая мутация, т.-е. любое наследственное изменени может быть, п р и н ц и п и а л ь н о говоря, вызвано большим количеств самых разнообразных внешних факторов. Определенное изменение окраск глаз у дрозофилы, например, изменение ее обычных красных глаз на бель наблюдалось десятки раз в самых различных условиях, т.-е. одно и то ж изменение наблюдалось под влиянием различных воздействий различны сред. Стало быть, не внешняя среда определяла это наследственное измене ние, ибо в противном случае мы каждый раз под влиянием другой внешне среды должны были бы получить д р у г у ю мутацию, — а внутренние зак номерности, управляющие процессами наследственности дрозофилы. Одн и то же внешнее влияние может вызвать у различных организмов различн наследственные изменения. Рентгенизуя дрозофил, мы получаем в одно опыте, в одной и той же банке у разных мух различные мутации: у одно мухи может оказаться измененной окраска глаз, у другой — их форм у третьей произойдет изменение крыльев, у четвертой — щетинок, у пятой — брюшка и т. д. С т а л о б ы т ь, с п е ц и ф и ч е с к и м д л я п р о ц е с с о изменчивости я в л я е т с я н е с р е д а, а с а м а ж и в а я с и с т е м ее н а с л е д с т в е н н о е с о д е р ж а н и е. Внешние факторы, воздейству на организм, несомненно могут его изменить, но характер вызванного изм изменения зависит не от них, а от внутренних закономерностей самого орга низма.

Другое дело, — э в о л ю ц и о н н ы й процесс. Здесь внешние фактор выступают на первый план в качестве основных определителей процесс Направление эволюции органического мира дает не изменчивость, а есте ственный отбор, т.-е. вся совокупность внешних условий, в которых обитае изменяющийся органический мир. Одна и та же мутация в разных условия может иметь различное значение. В одних условиях она может оказатьс превосходно приспособленной и вытеснить всех соперников, конкурирующи с ней в борьбе за существование, в других условиях она может оказатьс совершенно беспомощной, неприспособленной и вытесненной другими. Эво люция в том и другом случае пойдет по различным путям. Бескрылые на секомые не в состоянии выдержать конкуренцию крылатых в условиях жизн на материке, они не могут угнаться за своими соперниками ни в смысле до бывания себе пищи, ни в смысле ухода от преследования врага, и они не избежно должны погибнуть. Другое дело в условиях жизни на острове. По стоянные ветры заносят далеко в море тех насекомых, которые держатс

в воздухе и в этом отношении крылатые подвержены несравненно большей опасности для жизни, чем бескрылые и не в состоянии выдержать их конкуренцию в жизненной борьбе. В результате крылатые насекомые, как менее приспособленные в данных условиях и уступают свое место бескрылым. Таким образом, основным рычагом, дающим направление эволюционного процесса, является среда, внешние условия, а не изменчивость сама по себе. Конечно, для того, чтобы была эволюция, необходим изменяющийся органический мир, но изменчивость сама по себе не есть еще эволюция, она становится ею только под влиянием отбора.

Ламаркизм в первом случае, а именно в процессах изменчивости, недооценивает роли внутренних факторов, выпячивая роль среды в качестве направляющего и определяющего фактора. Во втором случае, в эволюционном процессе, он, наоборот, недооценивает роли среды, сводя эволюцию, собственно говоря, к простой изменчивости.

Игнорируя или ограничивая роль естественного отбора в эволюционном процессе, ламаркизм, хочет он этого или не хочет, неизбежно вынужден стать на телеологическую точку зрения в об'яснении процессов развития. И здесь грани между механо- и психоламаркизмом стираются. И в самом деле, если допустить, что в организме имеются целесообразные приспособления, возникшие не в результате естественного отбора, а как непосредственная реакция организма на внешние воздействия, то этим самым мы утверждаем, что организм есть система, реагирующая на внешние влияния так, как ему выгоднее всего в этих условиях реагировать. Другими словами, это означает, что целесообразность имманентна организму. И с этой точки зрения целесообразность перестает быть проблемой эволюции, а трактуется как проблема жизни вообще, как основное неотделимое свойство живого. Целесообразность из проблемы отношения (организма к среде) превращается, как у психоламаркситов и виталистов, в проблему живого без всякого отношения этого живого к окружающим условиям. Факт целесообразности в данной интерпретации не только остается фактом, нуждающимся в об'яснении, но в то же время является и самооб'яснением. В этом отношении ламаркизм и витализм говорят на одном языке. И Дриш трактует целесообразность, как непознаваемую специфическую закономерность жизненного процесса, неотделимую от него, как, например, неотделимо движение от материи. Приспособления или реакции организмов целесообразны сами по себе, вне всякой зависимости от чего-либо внешнего, а не становятся такими в зависимости от окружающих условий. Но это уже форменная телеология.

II.

Дарвинизм и генетика.

Учение Иогансена о чистых линиях и о популяциях. Вариационная статистика в применении к биологии. Свободное скрещивание и его роль в эволюционном процессе. Накопление генов. Изоляция и ее роль в видообразовании. Геногеография. Центры максимальной концентрации генов. Генетическая диффузия. Полезные и вредные мутации. Мутации в естественных и лабораторных условиях. Эволюция одинаковых фенотипов при различных генотипах.

Генетика сыграла огромную роль в разоблачении несостоятельного, наивного ламаркизма. Она шла в первых рядах этой борьбы, и каждое ее новое открытие было тяжелым ударом по нему. В настоящее время можно считать теоретический спор между ламаркистами и дарвинистами законченным и далеко не в пользу первых, хотя ламаркистские положения все еще продолжают отстаиваться рядом ученых, главным образом, не специалистов в области генетики — палеонтологов. Хотя размежевание по линии ламар-

кизма и дарвинизма не совпадает с размежеванием по линии витализма и материализма, тем не менее необходимо подчеркнуть очень характерный, отнюдь не случайный, факт — современная биология не знает ни одного виталиста, который стоял бы на дарвиновской точке зрения, все они ламаркисты. Поэтому преодоление ламаркизма и есть отчасти преодоление витализма. Поскольку современная генетика ведет борьбу против ламаркизма, поскольку она отстаивает дарвинизм, постольку помимо всего прочего, хочет ли она этого или не хочет, она ведет борьбу за материализм в биологии, против витализма. Само собой разумеется, что роль и значение генетики не исчерпывается ее преодолением ламаркизма и новым обоснованием дарвинизма. Основное значение генетики лежит в другой плоскости, плоскости учения о наследственности и изменчивости, а не эволюции, хотя значение ее и в этой области огромно. Но нас в данном случае интересует не основное значение генетики, а ее роль в обосновании эволюционного учения Дарвина. Посмотрим, что внесла она нового, положительного в это учение.

Вторичное открытие законов Менделя (1900 год) было переломным моментом в истории эволюционного учения. Отсутствие твердой почвы под ногами при разрешении вопроса о наследственности нередко приводило к засорению эволюционного учения не только не проверенным, но и просто неверным материалом, взятым на веру подчас из самых недоброкачественных источников. Не было твердого метода, по которому можно было бы проверять материал. Все это приводило не только к отягощению теории излишним балластом, но и нередко к ее искажению. Дарвинизм незаметно фактически был заменен ламаркизмом. Говорили от имени дарвинизма, излагая по сути дела ламаркизм. Первым крупным этапом в развитии эволюционного учения надо считать работы датского ботаника Иогансена по чистым линиям, вариационной статистике, фенотипе и генотипе. До Иогансена одним из основных законов наследственности считался так называемый закон регрессии Гальтона, выведенный им из массового обследования особей одного вида по какому-либо признаку. Гальтон собрал статистические данные о росте 204 пар родителей и 928 их взрослых детей. Он вывел среднее роста обоих родителей каждой семьи, а также среднее роста детей каждой семьи. Гальтон получил следующую зависимость между ростом родителей и их потомков:

Средний рост родителей в английских дюймах	64,5	65,5	66,5	67,5	*68,5*	69,5	70,5	71,5	72,5
Средний рост потомков в тех же единицах измерения	65,8	66,7	67,2	67,6	*68,3*	68,5	69,5	69,9	72,2

Если принять среднюю величину родителей (68,5) и детей (68,3) за нормальный рост, то отклонения от этого роста в % % выразятся в следующих цифрах:

Уклонения от среднего роста в процентах	у родителей	— 6	— 4,5	— 3,0	— 1,5	0	+ 1,5	+ 3,0	+ 4,5	+ 5,0
	у детей	— 4	— 2,5	— 1,5	— 1,0	0	+ 1,0	+ 1,5	+ 2,0	+ 5,5

Эти цифры показывают, что родительские уклонения от нормы хотя не полностью, но в некоторой степени всегда передаются по наследственности. Например, вместо родительских уклонений — 6, — 4,5, — 3 и т. д. мы соответственно получаем уклонение у детей — 4, — 2,5, — 1,5 и т. д. Отсюда Гальтон и вывел свой закон регрессии, гласящий, что родительские уклонения от средней величины частью передаются потомству (это и есть

гальтоновская регрессия или степень наследственности от родителей) и частью исчезают (возврат к прежней величине). Величина регрессии или степень наследственности каждый раз выводится статистически. Например, для нашего случая она равна $\frac{2}{3}$. Это и есть так называемая цифра наследственности. Эта цифра показывает, что степень наследования детей от родителей не полная, она всегда меньше единицы. Остальную часть они получают от более далеких предков. Гальтон вычислил, что каждый индивидуум получает от своих родителей половину всех своих признаков, от обоих дедов и обеих бабок — одну четверть, от 4 прадедов и 4 прабабок — одну восьмую и т. д. Наследственность каждой особи таким образом может быть выражена следующим рядом цифр, сумма которых стремится к единице:

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}+\frac{1}{64}\cdot$$

Это и есть установленный Гальтоном второй закон наследственности — закон наследования признаков от предков (law of ancestral inheritance). Впоследствии Пирсон несколько видоизменил количественное выражение этого закона, оставив, однако, целиком и полностью принципиальную установку Гальтона. Приступив к проверке закона Гальтона и Пирсона, Иогансен прежде всего отбросил их формально-абстрактный подход к биологическим явлениям. Можно и должно разрабатывать массовые биологические явления, явления наследственности при помощи математики, — говорит Иогансен, — но мы не можем превратить учение о наследственности в математическую дисциплину. Основной недостаток работы Гальтона заключался в том, что его биометрические исследования производились не на однородном в наследственном отношении материале, что неизбежно должно было привести к неправильным выводам. Иогансен первый показал наследственную неоднородность популяций, т. е. групп особей вида, территориально связанных между собою. Эти особи могут быть совершенно похожи друг на друга, но их наследственное содержание может оказаться не идентичным. Мы знаем, что наследственное содержание двух одинаковых по внешности организмов, например, высоких горохов, может оказаться не одинаковым. Гомозиготный высокий горох будет содержать 2 доминантных гена «высокого роста», гетерозиготный по росту горох, хотя по внешнему виду не будет отличаться от гомозиготного, тем не менее по наследственному своему содержанию будет другой. Он будет содержать один ген «высокого роста», а другой — «низкого». Мы знаем много признаков, очень сходных между собою, определяющихся различными генами. Одна и та же окраска перьев у курицы не всегда есть результат воздействия одних и тех же генов. Таким образом, абстрактно-статистический подход к организму без учета его наследственного конкретного содержания приводит к пустым формулам, чрезвычайно далеким от отражения действительности. Статистические исследования, даже безукоризненно правильные, не могут еще считаться генетическими исследованиями. При изучении наследственности надо исходить не из популяций, а из чистых линий, т. е. из выверенного, наследственно однородного материала.

В каждом организме мы должны отличать его фенотип, его признаки, его внешнее проявление от его наследственного содержания, от его генотипа. Популяция хотя и может обыкновенно по внешности фенотипически казаться однородной, тем не менее она состоит из особей, имеющих различные генотипы. Поэтому при статистическом анализе генетических явлений нельзя валить в одну кучу всех особей популяции, а предварительно необходимо произвести тщательное генетическое исследование изучаемого материала. Только в этом случае вариационная статистика может играть роль полез-

ного метода исследования. Задавая природе какой-нибудь вопрос и ни в ней самой ответа на него, мы не можем руководствоваться случайно попавшим в наши руки материалом. Материал должен быть подобран соответственно задаче и цели, которые мы себе ставим данным конкретным исследованием. Ибо природе нет никакого дела до тех вопросов, которые у нас могут возникнуть к ней, она нам сама ответов не дает, мы эти ответы берем у нее сами, вмешиваясь активно в ее течение, изменяя ее.

Иогансен на целом ряде различных организмов показал, что отбор не в силах отклонить в ту или другую сторону среднюю величину чистой линии. Отбор вообще никакой силы не имеет в пределах чистой линии. Отбирая однородный генотипический материал по тому или иному его отклонению в фенотипе, мы всегда в следующем поколении имеем возврат к родительским формам. Иогансен отбирал в чистой линии фасоли самые крупные и самые мелкие семена, высеивал их отдельно и в том и в другом случае неизменно получал возврат к среднему весу изучаемой линии. Другое дело популяция. Здесь отбор играет чрезвычайно важную роль. В генотипически разнородном материале ему есть где развернуться, у него есть что выбирать, что отсевать. Из всей массы чистых линий отбор будет выбирать отдельные линии, более приспособленные к окружающим условиям, отметая менее приспособленные и тем самым перемещая в ту или иную сторону среднюю линию популяции.

Исследования Иогансена показали, что то, что мы называем видом, не представляет собою однородного материала в наследственном отношении, а смесь, «популяцию» внешне сходных типов, но внутренне различных по своим наследственным данным. Иогансен производил свои опыты на одном из видов садового боба (Phaseolis vulgaris). Ему удалось всю массу бобов, над которой он работал, разбить на девятнадцать групп, из которых каждая отличалась от другой своим определенным средним весом, неизменно передающимся по наследству. Внутри каждой группы (по терминологии Иогансена чистой линии) также отмечались до определенного предела уклонения в ту или другую сторону от среднего веса, но эти уклонения не удерживались в потомстве: средний вес нового поколения не отличался от среднего веса предыдущего поколения независимо от того, брались ли для скрещивания самые легкие или самые тяжелые экземпляры в группе. Это наглядно показывает следующая таблица из Иогансена, в которой он описывает изменчивость веса семян в отдельных чистых линиях фасоли, которую он получил в своих опытах 1902 года (см. таблицу на стр. 194).

Отсюда Иогансен делает вывод, что каждая чистая линия представляет собой один наследственный тип — генотип, отличающийся от типа других чистых линий своим характерным «набором» генов. Различные внешние проявления одного и того же генотипа, т.-е. индивидуальные отклонения в чистой линии, находятся в зависимости от различных условий, в которых живут отдельные носители данного генотипа, но эти внешние проявления не передаются потомству по наследственности. Все попытки изменить средний вес бобов одной линии при скрещивании между собой самых тяжелых или самых легких экземпляров из них неизменно кончались неудачей. Это ненаследственное, внешнее проявление генотипа Иогансен называет фенотипом.

Исследования Иогансена имеют большое принципиальное значение. Учение о чистых линиях точно определило границы отбора. И в этом отношении оно несомненно является новым словом в эволюционной теории. Оно разбило наивную веру в передачу индивидуальных признаков по наследственности, в возможность смещения средней величины чистой линии путем отбора личных признаков, полученных организмом под воздействием среды. Отбор в пределах чистой линии не имеет никакого эволюционного значения, ибо

ТАБЛИЦА

веса семян в чистых линиях фасоли в опытах Иогансена (1902)

10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	Итого
Линия A	—	—	—	—	—	2	5	9	14	21	*22*	24	23	17	6	2	145
„ B	—	—	—	1	6	19	32	66	88	100	*90*	50	19	1	3	—	475
„ C	—	—	—	—	—	5	14	50	76	58	44	29	5	1	—	—	282
„ Д	—	—	—	5	2	9	21	38	*68*	77	62	22	3	—	—	—	302
„ E	—	—	—	4	1	12	29	*62*	65	57	19	6	—	—	—	—	255
„ F	—	—	—	2	8	21	46	*74*	46	28	14	1	1	—	—	—	241
„ G	—	—	3	9	28	51	111	*174*	101	44	6	—	1	5	—	—	533
„ H	—	—	1	6	20	60	106	*114*	75	33	3	—	—	—	—	—	418
„ J	—	1	2	14	38	104	172	179	140	53	9	—	—	—	—	—	712
„ K	—	—	1	2	6	31	55	55	28	6	4	—	—	—	—	—	188
„ L	—	—	1	5	15	37	88	76	33	13	4	1	—	—	—	—	273
„ M	—	—	4	9	26	56	82	76	32	9	1	—	—	—	—	—	295
„ N	1	3	11	22	29	72	120	69	23	5	2	—	—	—	—	—	357
„ O	4	4	5	19	69	*69*	44	5	—	—	—	—	—	—	—	—	219
„ P	—	—	—	3	1	1	35	27	13	3	4	2	—	—	—	—	106
„ Q	—	—	1	2	7	16	44	93	80	52	10	—	—	—	—	—	305
„ R	—	—	—	2	3	12	17	27	19	3	—	—	—	—	—	—	83
„ S	—	—	1	2	3	8	27	47	37	30	4	—	—	—	—	—	159
„ T	—	—	—	—	1	6	20	37	39	30	8	—	—	—	—	—	141
Всего...	5	8	30	107	263	608	1.068	1.278	977	622	306	135	52	24	9	2	5.494

выживание более приспособленного в линии не обеспечивает наследственного закрепления более выгодных свойств в потомстве. В следующем поколении всегда будет возврат к прежнему типу. Отбор свою созидательную работу может совершить только в популяции, т.-е. в совокупности организмов с различным генотипическим содержанием.

Исследования Иогансена[1]), произведенные в начале нашего столетия, были проверены над самыми различными животными и растениями, и мы не знаем ни одного отклонения от установленной Иогансеном закономерности.

Своим учением о чистых линиях Иогансен дал биологии новый плодотворный метод. Он точно указал, над каким материалом можно экспериментировать, чтобы иметь какой-нибудь научный успех, и какой материал не годится для эксперимента. Можно прямо сказать, что вся современная генетика получила такой невиданный размах именно благодаря новым путям исследования, указанным Иогансеном. Проблема изменчивости, проблема отбора, проблема унаследования приобретенных признаков под новым углом зрения получили более глубокое, более дифференцированное содержание. Точно так же и вариационная статистика, освобожденная от метафизического формализма Гальтона, Пирсона и др. биометриков, превратилась в плодотворный метод изучения множественных или массовых явлений наследственности.

Огромная заслуга Иогансена заключается также в том, что он первый отграничил понятие «признак» или «фен» от понятия «зачаток» или «ген». Это разграничение понятий сыграло огромную роль для самой генетики и не меньшую роль для дальнейшего развития эволюционной теории. Оно сдвинуло дарвинизм с мертвой точки и указало ему дальнейшие пути развития. Оно позволило дать удовлетворительное об'яснение многим фактам, казавшимся раньше непонятными, противоречащими эволюционной теории и нередко заставлявшие сторонников дарвинизма, да и самого Дарвина, искать ответы на «проклятые вопросы» там, где этих ответов по существу и не могло быть.

[1]) Johansen, Elemente der exaten Erblichkeitslehre, 3-te Auflage, Jena 1926.

Дарвин, сначала довольно неодобрительно отзывавшийся об эвол ционной теории своего предшественника Ж. Ламарка, к концу сво жизни стал относиться к ней более доброжелательно. Такая перемена взглядах Дарвина в значительной степени об'ясняется попыткой преод леть некоторые затруднения, выявившиеся в результате дискуссии по п воду его теории. Дарвин первоначально считал, что материал, с котор имеет дело естественный отбор, доставляется случайными личными изм нениями отдельных организмов. Каждое такое единичное изменение подхв тывается отбором и в зависимости от степени его приспособленности сохр няется для жизни или уничтожается. Многие критики дарвинизма особен возражали против приписываемой Дарвином именно этой единичной и менчивости огромной роли в процессе эволюции. Сам Дарвин все бол и более склонялся считать возражения по этой линии в основном правильн ми. Особенно убедительной ему показалась критика инженера Дженкин который простыми арифметическими вычислениями показал, что случайн возникшие единичные изменения, даже самые полезные для их обладател не могут сохраниться при наличии свободного скрещивания, а неизбежн должны поглотиться и раствориться в море нормальных особей вида. Св бодное скрещивание нивелирует отдельные уклонения, которые-де таки образом теряют всякое значение для отбора. Эта критика заставила Да вина несколько изменить свою первоначальную точку зрения на значени единичных изменений в эволюционном процессе, и он стал приписывать в большую и большую роль в процессе эволюции массовым отклонениям А так как массовые изменения, всегда возникающие под влиянием внешни воздействий, являются соматическими, а не наследственными изменениям то, допуская их роль в эволюционном процессе, Дарвин тем самым ст новился на точку зрения соматической индукции, т.-е. склонялся к ламар кистской интерпретации эволюционного процесса, интерпретации, отверга шейся им самим в начале его научной деятельности. Кажущаяся очевидност «поглощающего влияния свободного скрещивания» в пределах вида вынужд ло не только Дарвина, но и многих других теоретиков биологии скл няться в сторону ламаркизма.

Современная генетика дает нам ключ к разрешению некоторых тру ностей, стоявших перед Дарвином в этом вопросе. Основная трудность Да вина заключалась в том, что старая биология рассматривала «смешение кр ви» при скрещивании как действительное «смешение», как действительно органическое растворение одной крови в другой. «Смешение крови» д старых биологов было не образное выражение, а реальный факт. Вот поче му, когда они говорили о растворении новых наследственных изменений пр свободном скрещивании, они имели в виду действительное растворение, ре альное уничтожение этих изменений. Современная генетика учит нас, чт никакого растворения гена в буквальном смысле нет. Новая мутация дей ствительно поглощается видом при свободном скрещивании, но не раство ряется, а остается в нем в скрытом, гетерозиготном состоянии довольн продолжительное время, переходя из поколения в поколение в виде опреде ленного наследственного генотипа. Каждый вид насыщен такими рецессивны ми мутациями, возникающими у той или другой особи в разное время, н быстро поглощающимися при свободном скрещивании. Таким образом, в ка ждом виде с течением времени накопляется значительное количество скры тых генов. Вероятность встречи двух одинаковых генов при скрещивани повышается с накоплением повторных генов внутри вида. Время делает свое Чем больше мутаций возникает в виде, тем имеется большая вероятност появления повторных мутаций и встречи их между собой при скрещивании То тут, то там начинают появляться гомозиготные формы. И если при этом естественный отбор их не уничтожит, они начинают появляться все чаще

и чаще и производят впечатление массового возникновения мутаций. Чем старше вид, тем он более насыщен скрытыми генами, тем он скорее начинает распадаться на части.

Таким образом, современная генетика дает простое решение задачи, ставившей Дарвина в тупик. Вместе с тем она также показывает, что распространенное мнение о лябильности молодых видов, у которых новые признаки якобы еще не устоялись, не оформились, и об устойчивости старых видов, благодаря достаточному оформлению и закреплению их признаков, не выдерживает критики. Генетический анализ показывает нам совершенно противоположное: чем старше вид, тем больше он становится внешне наследственно изменчив и, стало быть, тем больший материал доставляет он естественному отбору. Процесс видообразования становится возможным и неизбежным только после длительной подготовки, после накопления достаточного количества скрытых генов. Возникший новый ген обыкновенно не сразу подпадает под действие отбора, ибо он внешне ничем не проявляется и находится в скрытом, гетерозиготном состоянии.

Бóльшая вероятность возникновения гомозитных форм по какому-нибудь ранее поглощенному видом гену находится в зависимости не только от возраста вида, но и от его численности. Чем количественно меньше вид, тем больше шансов встречи друг с другом поглощенных генов при скрещивании, хотя, с другой стороны, чем малочисленнее вид, тем меньше он содержит мутаций, тем меньше вероятность их повторности. Оба эти момента уравновешивают друг друга и создают одинаковые преимущества для дальнейшего развития как для многочисленного, так и для малочисленного вида. Но одно обстоятельство может изменить это соотношение условий в пользу малочисленного сообщества. Таким обстоятельством является изоляция. Под влиянием тех или других причин вид может распасться на отдельные изолированные сообщества В этом случае частота возникновения мутаций не уменьшается вследствие того, что не уменьшилась и общая численность вида. Но зато вследствие изолированного положения отдельных групп несомненно затруднится свобода скрещивания. Скрытые в отдельных группах гены станут здесь скорее выявляться, вследствие чего эти изолированные группы начнут чем дальше, тем больше расходиться между собою не только по своему наследственному генотипическому содержанию, но и по фенотипу.

Мы знаем несколько видов изоляции: физиологическую, географическую и др. Физиологическая изоляция может быть разного рода. Затруднения для свободного скрещивания могут возникнуть вследствие, например, несовпадения периодов размножения у разных групп вида, территориально даже не разобщенных. Например, весенний и осенний нерест у разных групп нашего сельдя приводит к изоляции этих групп друг от друга. К подобного рода изоляции приводит и сезонный диморфизм некоторых различных растений. В е т т ш т е й н, например, сделал следующее интересное наблюдение. Некоторые виды горечанки (Gentiana), погремка (Alectorophus) имеют две формы, у которых время цветения не совпадает. Одна цветет до сенокоса, другая после него. Близкие виды, растущие в таких местах, где нет сенокоса, встречаются в виде одной формы, цветущей в обычное время. Вмешательство человека, производящего сенокос, разбило мономорфные формы на диморфные, изолировало одну форму от другой, что содействовало выявлению скрытых в генотипе генов и расщеплению вида.

Особенно важную роль в процессах видообразования играет географическая изоляция. Изучение этого вида изоляции выдвигает потребность в установлении новой специальной отрасли биологических знаний, долженствующей иметь крупное теоретическое и практическое значение. Мы имеем в виду г е н о г е о г р а ф и ю. Изучение закономерностей распределения генов по поверхности земли не укладывается в рамки физиологии, ибо речь в дан-

ном случае идет не о внутренних физиологических закономерностях организмов. Геногеографию нельзя смешивать также и с отбором, ибо отбор действует на признак, а не на ген. Она имеет свои собственные специфические задачи. Она должна ответить на вопрос, под давлением каких причин происходит распространение различных генов по различным группам организмов, рассеянным на земной поверхности, к каким последствиям это распространение приводит, какую роль оно играет в процессе эволюции, что практически сулит нам эта намечающаяся отрасль знания и т. п. Пространственная изоляция, с одной стороны, и постоянный процесс возникновения мутаций в условиях свободного скрещивания — с другой, приводит к различной концентрации различных генов в обособленных различными географическими пунктами группах вида. Географическое распространение генов является результатом длительного исторического процесса. История животного и растительного царства записана не только в глубоких пластах земли, чему нас учит палеонтология, но и в путях распространения тех или иных генов, в местах их различных концентраций, в геногеографии. В работах профессора А. С. Серебровского[1]) по геногеографии домашних кур можно найти чрезвычайно много интересных данных, показывающих, как изучение географического распространения отдельных генов приводит к раскрытию путей эволюции их обладателей. То же самое находим мы и в работах академика Н. И. Вавилова по отношению к культурным растениям. Приведем несколько примеров. В своей статье о геногеографии и генофонде с.-х. животных СССР проф. А. С. Серебровский пишет: «О масштабе (во времени) происходящих изменений в геногеографии можно судить по следующим примерам. Минувшим летом (1928 г.), производя обследование кур на границе Азербайджана, мы встретили селение, поразившее нас тем, что один очень незначительный признак встречался здесь у 30% птиц в то время, как во всем остальном районе был гораздо реже. Мы стали доискиваться возможных причин этого своеобразия, захватившего в меньшей степени и другие признаки. Но и племя, и язык жителей были те же, что и в соседних деревнях; быт, климат и пр. тоже были одинаковы. Но, наконец, на наши упорные вопросы о том, что история этой деревни должна была иметь своеобразный характер, нам ответили с некоторым удивлением, что действительно по старинному преданию деревня эта была основана выходцами из Персии и только лет 200 тому назад заселилась тем же племенем, как и соседние деревни». Этот пример показывает, как на основании изучения в геногеографии нам удается вскрыть и пути эволюции изучаемого об'екта.

Еще более поучительный случай приводит тот же А. С. Серебровский в той же статье. Речь идет о курах аварского племени горного Дагестана. Около 20% этих кур имеют здесь стручковый гребень—цифра чрезвычайно высокая. «Переехав через речку Аварское Койсу,—пишет А. С. Серебровский,—мы покинули аварское племя, и сейчас же стручковый гребень исчез почти совершенно. Тогда нам осталось не ясным, играла ли в этом роль племенная граница или трудно проходимая река. В 1928 г. мы направились к аварцам с юга, идя вверх по р. Самур. На протяжении 200 километров мы прошли ряд племен (кюринцы, рутульцы, цахурцы). Вначале стручковый гребень встречался у 8% кур, у цахурцев поднялся несколько выше и наконец после последнего перехода мы попали в две аварские деревушки Баш-Мухач и Кусур. Оторванные хребтом от остального массива племени,

[1]) А. С. Серебровский. Генетический анализ популяции домашних кур горцев Дагестана (К проблеме геногеографии), «Журнал экспериментальной биологии», серия А, т. III, вып. 1—2 и 3—4.

Его же. Геногеография и генофонд с.-х. животных СССР, «Научное Слово», № 9, 1928.

изменившие уже несколько свой язык (в Кусуре) или вовсе забывшие его (Мухач), эти горцы показали нам кур, у которых стручковый гребень был в количестве 50%! Несмотря на то, что конечно никто не мог вести здесь специальный отбор по стручковому гребню (отличить его, например, от розовидного гребня достаточно трудно), несмотря на все перипетии истории, аварская курица сохранила свои признаки даже там, где стал забываться язык племени. Сколько же времени сохраняется это своеобразие? Первые сведения об аварских князьях, имевших пребывание примерно там же, где и сейчас живет племя, относятся к VIII веку. Не может быть сомнений в том, что запертое в глубине гор, окруженное иными племенами, оно сидело здесь и раньше, может быть, и еще 1000 лет. И на протяжении тысячелетий река Аварское Койсу служила границей, на одном берегу которой стручковый гребень имел концентрацию 11% и выше, а на другом — падал до нуля! И та печать своеобразия, которую мы сейчас замечаем на концентрациях генов кур в отдельных аулах, есть таким образом печать веков и тысячелетий».

Эти и многие другие факты, приводимые современной генетикой, показывают, какой могучий дифференцирующий внутривидовой, а стало быть и межвидовой фактор представляет собою географическая изоляция.

Изучение геногеографии показывает, что внутри вида происходят постоянные процессы, распределяющие и изменяющие состав его генов. Основным распределяющим фактором является так называемая генетическая диффузия, т. е. всасывание отдельных генов в основной массив и медленное равномерное распределение их по всему району. Пока диффузия не привела к равномерному распределению генов, мы всегда можем найти некоторый центр с максимальной концентрацией данных генов, от которого по концентрическим кругам отходят районы со все меньшей и меньшей концентрацией. Подобный центр концентрации гена стручкового гребня у кур мы уже видели в Аварском округе Дагестана. Другим примером может послужить центр концентрации генов—укрупнителей яиц у кур в Ливенском районе (бывш. Орловской губернии), от которого концентрическими кругами отходят области, где куры содержат гены, дающие яйца все меньших и меньших размеров. Нахождение и изучение центров концентрации генов имеет не только теоретическое, но и крупное практическое значение. «В Ливенском центре у нас имеется запас (огромный) ценнейших генов, использовать который мы должны не путем заготовок в этом районе битой птицы, а путем об'явления этого района «генетическим заповедником» и развоза оттуда этих ценных генов во все те районы, где они смогут быть утилизированы» [1]).

К процессам, изменяющим состав генов в данном районе, относятся мутационный процесс и отбор. Мутации у отдельных особей возникают случайно. В этом отношении Дарвин совершенно прав, когда утверждает, что естественный отбор основывается на случайных наследственных изменениях отдельных индивидуумов. Но по отношению к популяциям, к большим группам организмов, к виду мутационный процесс перестает уже быть случайностью, он переходит в необходимость. Подобно тому, как каждое случайное опускание письма без указания адреса в почтовый ящик в массовом масштабе создает определенную закономерность (количество писем без указания адреса, опущенных в почтовый ящик в больших городах при прочих равных условиях, пропорционально количеству населения), подобно этому в определенный отрезок времени определенный процент генов должен претерпеть мутации. Так отдельные случайные мутационные изменения отдельных индивиду-

---

[1]) А. С. Серебровский, Геногеография и генофонд с.-х. животных СССР, стр. 22.

ций в массовом масштабе перерастают в закономерный своеобразный, специфический процесс мутационной изменчивости коллектива.

Существует мнение, что возникшие и возникающие в лабораторных условиях изменения генов представляют собою болезненный процесс. Мотивом для подобного суждения служит то обстоятельство, что число вредных для организмов мутаций чрезвычайно велико сравнительно с незначительным количеством нейтральных, не говоря уже о полезных. Исходя из этого, некоторые и предполагают, что мутации не играют роли в эволюционном процессе и что эволюция в естественных условиях должна базироваться на чем-то «более здоровом», «более естественном». Подобная постановка вопроса не выдерживает критики. Любой организм представляет собою чрезвычайно тонкий, сотнями тысячелетий сложившийся механизм, более или менее хорошо и стойко приспособленный к окружающим его условиям. Вывести этот механизм из «нормального» состояния, «испортить» его гораздо легче, чем «исправить», тем более, что процесс изменчивости идет стихийно, слепо. Кроме того, далеко не всегда можно в лабораторных условиях судить о полезности, бесполезности или вредности того или иного признака. Как оценить мутацию, лишившую дрозофилу крыльев? Должны ли мы считать ее полезной или вредной? В лабораторных условиях мы этот вопрос решить не можем. Попади эта бескрылая муха на какой-нибудь остров—и мы должны будем сказать, что «бескрылость» несомненно полезный для мухи признак, ибо затрудняет ветрам относить ее в море. На материке же эта мутация несомненно окажется менее приспособленной, чем мухи, снабженные крыльями, и неизбежно будет отметена отбором. Да кроме того мы не всегда можем судить о полезности или вредности того или иного изменения гена еще и потому, что не всякий ген имеет морфологическое выражение. Мы знаем довольно много генов, имеющих чрезвычайно важное значение для организма, но ничем не проявляющихся морфологически. Таковы, например, гены, определяющие холодостойкость или, наоборот, слабую устойчивость в холодном климате некоторых злаков, гены, определяющие природный иммунитет различных организмов к различным инфекциям, и т. п. В лабораторных условиях вновь возникшие, ничем морфологически не выраженные, гены могут вообще остаться незамеченными в то время, как в природных условиях они могут играть чрезвычайно важную, а то даже и решающую роль.

Но, несмотря на все это, несомненно, однако, что число вредных мутаций возникает несравненно больше полезных. Одних леталей, т. е. генов, убивающих организм, у дрозофилы уже известно несколько сотен. Число их с каждым днем все возрастает. Мутационный процесс, изменяя закономерности слагавшейся миллионами лет живой системы, в чрезвычайно редких случаях может направить ее течение в лучшую для организма сторону. Обыкновенно же он неизбежно должен привести к ухудшению организма.

Этим между прочим об'ясняется и тот факт, что доминантные мутации встречаются гораздо реже рецессивных. Доминантная мутация в отличие от рецессивной сразу подпадает под действие естественного отбора, она всегда «на виду», гетерозиготное состояние не может задержать ее проявление и она не в состоянии накопляться и обыкновенно очень скоро уничтожается отбором, ибо полезные мутации чрезвычайно редки. В случае же ее полезности она сравнительно быстро вытеснит конкурирующую с ней рецессивную форму.

В естественных условиях мутации попадаются нам на глаза довольно редко. Этот факт также послужил для некоторых исходной точкой критики учения о мутационной изменчивости. Эти критики считают, что мутационный процесс есть результат воздействия искусственных условий, в которых находится подопытный организм. В естественной обстановке, мол, условия

другие, они менее резко влияют на организм, менее его «ломают», поэтому де нельзя придавать наследственным изменениям, получаемым в лабораторных условиях, какое-либо значение для эволюционного процесса: это просто аномалии, вызванные условиями жизни, не встречающиеся в естественных условиях. Настоящий процесс видообразования идет другими, неведомыми нам путями.

Эта точка зрения также не выдерживает критики. Сразу подметить и уловить какую-нибудь вновь возникшую мутацию в естественных условиях несомненно труднее, чем в лаборатории, ибо она теряется среди огромного населения. Процессы поглощения, всасывания, диффузии, о которых мы говорили выше, скрывают эту мутацию от наших глаз, и только после долгого процесса внутренней перестройки популяции эти мутации в гомозиготной форме то тут, то там будут вспыхивать на поверхности, производя впечатление внезапной массовой изменчивости. То, что мы в естественных условиях редко можем заметить вновь возникшие мутации, совсем не говорит за то, что эти мутации не возникают. Современная генетика показывает нам, как они возникают и по каким путям они проходят до того, как овладеют видом.

Перейдем ко второму фактору, изменяющему состав генов в популяции, к естественному отбору. Естественный отбор действует не на генотип, а на его внешнее проявление—на фенотип. Стало быть, под влиянием этого фактора эволюции происходит отбор организмов не по их генотипам, а фенотипам. А это вносит некоторый корректив в прежние наши представления о самом отборе. Само собой разумеется, что наше убеждение в том, что эволюция организмов происходит под влиянием отбора и что эта эволюция и есть эволюция наследственного генотипа, остается в силе и по сей день. Но современная генетика утверждает, что отбор по фенотипам не всегда соответствует отбору по генотипам, ибо один и тот же признак может определяться различными генами. Дарвиновский отбор никогда не имеет дела с генотипом, ибо генотип всегда вовне проявляется только в форме фенотипа. Мы уже знаем, что многие однородные признаки могут являться результатом действия различных генов. Одна и та же окраска оперения у кур может быть вызвана различными генами. Белые глаза у дрозофилы вызываются геном white. Но тот же белый цвет глаз у дрозофилы может быть вызван совокупным действием двух других генов—гена apricot и гена vermilion. Ген eyeless, лишающий дрозофилу ее глаз, может быть подавлен совокупным действием других генов, и тогда муха будет иметь нормальные глаза. Из этого следует, что одно и то же фенотипическое проявление нормальных глаз может быть вызвано совершенно различным генотипическим содержанием. В одном случае нормальные глаза будут определяться геном «нормальных глаз», в другом совокупным действием гена «безглазости» (eyeless) и некоторых других определенных генов. Естественный отбор в одном и другом случае будет действовать одинаково. Ему совершенно безразлично, какой генотип лежит в основании того или иного признака. Ему важен **признак** и в зависимости от конкретных условий будет его отбирать или уничтожать. Из этого следует, что **по одному и тому же признаку могут отбираться совершенно различные генотипы.** Мы думаем, что если проанализировать так называемые параллельные мутации у различных изолированных групп одного и того же вида с точки зрения их генотипа, то навряд ли мы всегда найдем у них одно и то же наследственное содержание. Этой проблеме современная генетика уделяет мало внимания, несмотря на ее чрезвычайную важность при разрешении некоторых основных вопросов наследственной изменчивости (гомологичные ряды и др.). Еще меньшее основание имеем мы ждать нахождение идентичных изменений в генотипах разных видов, родов, семейств и др. при одной и той же направленности путей эволюции их фенотипов. По данным академика

Н. И. Вавилова, с продвижением к северу сокращают период вегетации такие различные растения, как пшеница, рожь, овес, ячмень, горох, чечевица, вика, мак, лен, рыжик, горчица, сурепка, рапс. Предположить, что при этом мы у всех этих растений имеем одно и то же качественное состояние генотипа, прямо-таки невозможно. Ортогенез, говорящий об определенной направленности путей изменчивости, не различает этих двух не всегда совпадающих процессов: процесса эволюции фенотипа и процесса эволюции генотипа.

Противники отбора в своей критике дарвинизма очень часто указывают на мелкие, незначительные изменения организмов, не могущие иметь серьезного значения в борьбе за существование и тем не менее сохраняющие. В непрерывной борьбе за существование, указывают они, каждому организму угрожают такие серьезные опасности, что ничтожные преимущества, которые представляют многие признаки, не могли играть роли в этой борьбе: мелкие усовершенствования не могли закрепиться при помощи отбора. Эти факты действительно являлись долгое время существенным затруднением для дарвиновской теории эволюции. Но в настоящее время генетика дала решение и этой проблемы. Свободное скрещивание и процессы поглощения об'ясняют и это на первый взгляд непонятное явление. Ни одна мутация, даже самая ничтожная, если она не уничтожена отбором, не теряется видом. Все мутации всасываются видом, как вода губкой, и как бы малы они ни были по своему значению через целый ряд поколений выбьются наружу и распространятся по всему виду, если этому не воспрепятствует отбор. То же самое должно сказать и о мутациях, не являющихся для их обладателя ни полезными, ни вредными. Они также не теряются для вида. Они накопляются поколениями веками и в конце концов выявляются.

Другой процесс, способствующий сохранению нейтральных и нередко даже вредных признаков, есть процесс соотносительной изменчивости. Один и тот же ген обыкновенно воздействует на значительное количество признаков. Это так называемое плейотропное действие гена может различным образом отразиться на различных признаках, на которые воздействует этот ген. От одного и того же воздействия одни признаки могут оказаться полезными, другие—менее полезными, а третьи—совсем не полезными и даже вредными. И если полезный признак окажется в данных условиях для отбора решающим, его обладатель сохранится, но вместе с тем сохранятся и другие признаки, вызванные тем же геном, т.-е. в данном случае и бесполезные, и даже вредные.

К тем же результатам приводит также и так называемое сцепление генов, т.-е. близкое расположение генов друг от друга в одной и той же хромосоме, чем исключается или, вернее, делается практически мало вероятным отрыв их друг от друга. Таковы, например, у дрозофилы гены yellow (желтое тело) и scute (редукция), лежащие рядышком на самом левом конце половой хромосомы и практически никогда не отрывающиеся друг от друга.

Дарвинизм, благодаря успехам генетики, поднят на высшую ступень. Несмотря на «сокрушительные» и «смертельные» удары, «наносимые» ему почти ежедневно всякими виталистическими и ламаркистскими учениями, он в наши дни стоит так непоколебимо и крепко, как до этого никогда не стоял.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

GEORG V.-BELOW. Die Entstehung der Soziologie. (Георг ф.-Белов. Возникновение социологии). Посмертное издание Отмара Шпанна. (Deutsche Beiträge zur Wirtschafts- und Gesellschaftslehre, т. 7). Иена 1928. VIII + 42 стр.

В октябре 1927 г. умер выдающийся консервативный историк Г. ф.-Белов. Рецензируемая работа, опубликованная после смерти автора Отмаром Шпанном, представляет собою фрагмент, в котором Белов развивает дальше точку зрения, уже не раз излагавшуюся им прежде: так, напр., в 1926 г. в статье «Zum Streit um das Wesen der Soziologie» («К спору о сущности социологии» в «Jahrbuch für Nationalökonomie»), а также в книге о «Немецкой историографии» («Deutsche Geschichtsschreibung», 1-е изд. в 1916 г., 2-е изд. в 1924 г.) и т. д.

Резюмируем вкратце программные тезисы последней работы Белова. Огюст Конт, творец термина «социология», не был творцом «великого научного движения», ставящего себе целью исследование общественных явлений,—скорее его следует назвать «вредителем, угнездившимся в роскошном древе» новой науки (стр. 8); подобно всей его школе он является лишь «безотрадным эпизодом» в общем развитии «социологической» мысли. В действительности последняя родилась раньше, она уходит своими корнями в романтику. Романтика сама уже проделала в свое время большую часть соответствующей работы, преодолев просвещение, т.-е. «одностороннее индивидуалистическое» и «атомистическое» мышление (стр. 6); более того, она в сущности и создала все то, что «мы имеем теперь в виду, говоря о социологии» (стр. 10).—Что же она такое, эта романтика,—кто ее представители, каковы ее принципы? «Под романтическим воззрением мы понимаем здесь то, что можно рассматривать как вывод из романтики в целом» (стр. 6). Речь идет об «органической теории», об «органическом взгляде» на общество — о том убеждении, что «здоровые общественные образования не конструируются, а вырастают, что государство, право, нравственность, нравы, поэзия, искусство народа суть выражение народного духа» (стр. 4). Или, как автор выражается с явным намеком на известную формулу столь незаслуженно превозносимого в последнее время Адама Мюллера, речь идет о решительной борьбе против теории, рассматривающей «коллективные образования» под аспектом «акционерного общества». Открыв таким образом коллективное целое, романтика открыла вместе с тем индивидуальность и подлинное «органическое» отношение этой индивидуальности к всеобъемлющему коллективу. Но в области социологии это и есть идеалистическая точка зрения. Это идеалистическое воззрение, т.-е. «воззрение на общество, как на духовное существо» (стр. 23), было развито не в виде особой дисциплины, а «в рамках старых специальных наук» (стр. 20),—и так это должно оставаться и впредь: «не в создании какой-либо новой дисциплины, а в сотрудничестве старых дисциплин заключается наша программа» (стр. 23). Языковеды, историки искусства, историки права, политические историки,—вот те люди, которые в действительности выработали социологический метод и давным давно создали подлинную социологическую традицию, не нуждаясь для этого в построении особых социологических систем. Несмотря на различные оттенки, мы имеем

единую линию развития, которая начинается с таких имен, как Фридрих Шлегель, Адам Мюллер, Савиньи, Эйхгорн, Гримм, с «исторической школы права» немецкой историографии и т. д., которую продолжает учение об обществе Лоренца Штейна, «историческая школа политической экономии» и т. д. и которая наконец, снова приобрела выдающееся значение в последнее время: «В последние три десятилетия... наблюдается сильный под'ем идеализма против натурализма и позитивизма. Философские интересы выступают снова на первый план, и это приводит к возобновлению идеалистической философии и романтики. Возврат к ним происходит во всех науках о духе» (стр. 25). Белов особенно подчеркивает при этом значение Отмара Шпанна, как «борца» за это «возобновление» романтики и идеализма.

Таковы в главных чертах тезисы рецензируемой работы.

Что касается взгляда Белова на «сущность романтики» вообще, то вполне ясно, какое особое «романтическое» направление он прежде всего имеет в виду. Он сам указал на это в своей книге о «Немецкой историографии»: историческая школа права, писал он там, является «прямо-таки классическим образом применения романтических идей». Мы не будем останавливаться на этом пункте и напомним только о той отповеди, которую Маркс дал еще в «Рейнской Газете» этого рода «политической романтике» (как теперь принято выражаться).

Несомненно, все, что Белов говорит в приведенных выше цитатах о возрождении философского идеализма вообще и «романтической» политики и теории общества в частности, совершенно правильно. Именно этот общий фон и сообщает характерный колорит новейшему спору о сущности и методе «социологии», являющемуся лишь подчиненным моментом более широкого целого. Но такое историческое явление, как названное «возрождение», остается даже для непосредственно переживающих его современников только явлением, т.-е. непонятым явлением, пока не подвергнуты анализу его исторические корни и общественная функция. Когда Белов говорит о «социальной обусловленности» того или другого исторического явления, он в действительности имеет в виду не социальную, а «духовную» обусловленность: это ясно вытекает из его собственных формулировок. Ограничимся здесь этим замечанием, которое само касается только духовной или теоретической стороны рассматриваемого комплекса явлений. Белов сам высказывает «тайну» возрождения идеалистического и романтического учения об обществе, но он высказывает ее в односторонней и косвенной форме: он разоблачает ее там, где говорит об исторической тяжбе этого нео-идеалистического и неоромантического направления с марксизмом. Присмотримся ближе к этому пункту.

Белов заявляет: «Борьба за определение понятия романтики представляет собою трудный терминологический спор...» (стр. 26). И действительно, начинающаяся этими словами 2-я глава его работы (о «сущности романтики») прямо кишит своеобразными трудностями. Достаточно указать на вопрос об отношении «романтического» образа мыслей к «классической» философии,—отношении, которое для Белова остается по крайней мере «проблематическим», между тем как большинство остальных представителей этого течения обыкновенно сглаживают в большей или меньшей степени решающие специфические различия идейного и общественно-исторического порядка и дают поэтому более или менее ошибочную или одностороннюю и мистификаторскую, характеристику этого отношения. (Укажем на спор о понятии «народного духа», ведшийся на страницах «Historische Zeitschrift», на работы Ротхакера, Мейнеке и т. д.,—не говоря уже о массовой литературе по Гегелю и о публикациях школы Белова-Шпанна). Правда, Белов догадывается, что за мнимым «терминологическим» спором скрывается совсем другой, именно исторический, спор, как это большей частью бывает в «терминологических» спорах,—но все же свою главу о «терминологических» проблемах Белов заканчивает следующими характерными словами: «Суть дела состоится в том, что с новым столетием начинается широкое движе-

ние, что это движение находится в решительной оппозиции к просвещению, и что романтики в тесном смысле принадлежат к нему в такой же мере, как и спекулятивные философы...» (стр. 42. Разрядка наша). В сущности, это, по Белову, все тот же принципиальный антагонизм, который проходит, меняясь лишь в оттенках, через всю историю развития общественных наук с начала нового столетия. Мы видели, как резко Белов подчеркивает этот антагонизм против Канта, Тена, Спенсера и т. д., против всяких «натуралистических» принципов вообще. Но теперь мы должны прибавить: с такой же резкостью выступает он и против марксизма. «Толкование общественных явлений по естественно-научному рецепту»,—говорит он,—характерно и для марксизма» (стр. 16). На полемике с марксизмом, которой Белов уделяет место и в этой своей работе (стр. 14—16), мы здесь не можем останавливаться. Впрочем, Белов ограничивается на этот раз кратким повторением того, что им уже было изложено в его «Немецкой историографии» (в интересном «приложении» о «немецкой историко-экономической литературе и о происхождении марксизма»). Здесь нас интересует исключительно лишь выступление Белова против «натурализма»,—сиречь материализма.

Чтобы выразить общую установку Белова по этому вопросу в сжатой формуле, мы можем сказать, взяв за основу его приведенные выше слова: суть дела для Белова, как и для всего представляемого им направления, заключается в том, что с началом нового столетия в общественных науках начинается широкое движение, решительно выступающее против всякого позитивистического, натуралистического или материалистического взгляда на общество; что это современное движение развивается, как в философском, так и в социологическом и политическом отношении, под знаком «возобновления» идеалистической философии и романтики, и что—прибавим от себя—движущей силой этого развития является необходимость постоянной философской и исторической полемики с «позитивистической» и материалистической мыслью вообще и, в частности, с марксистской мыслью.

Этот последний пункт так прямо не высказывается самим Беловым (это сделали за него другие), — но этот вывод решительно навязывается внимательному читателю рецензируемой работы. Та старая оппозиция, из которой исходит Белов и в которой он усматривает «суть дела», была не только теоретической оппозицией против просвещения, но, вместе с тем, и определенно политической оппозицией против Французской революции. Читайте Адама Мюллера, Савиньи, Ранке; обратитесь к исторической школе права — в каждой главе вы найдете принципиальный протест против освободительного движения буржуазии. И в этом отношении мы имеем здесь довольно близкую аналогию с нашей современностью (если отвлечься от того, что сам Белов не признает принципиального различия между позитивизмом и марксизмом). Мы не думаем, впрочем, чтобы установлением этой аналогии уже было сказано все существенное о корнях современного «возобновления» идеализма и политической романтики: как повсюду, так и здесь важнее всего анализ тех специфических отличий и определенных форм, в которых выступает существенное содержание нового движения.

К. Шмюкле.

GIOVANNI GENTILE. Fascismo e cultura. Milano. Frat. Treves Editori. 1928.

Новая книга Джентиле проливает неожиданный свет на последний этап развития неогегельянской мысли Италии. Один из самых крупных и интересных философов, создавший учение актуального идеализма, Джентиле становится на службу Муссолини. В качестве министра народного просвещения, он пытается подвести идеологическую основу под практику фашизма.

Но не означают ли фашизм и культура понятия взаимно исключающие Вопреки всем усилиям облечь фашизм в пышную и трескучую фразеологию, блес ораторского таланта Джентиле еще ярче подчеркивает всю нищету политическс теории фашизма. Надо признать, что гибкая и эластичная диалектика актуальног идеализма — один из видов утонченной софистики, — довольно хорошо прилаж вается к существующему положению вещей. Недаром один из итальянских иссл дователей пишет о Джентиле: «Позади формул мистических и неопределенно те догматизирующих эта философия воплощает в себе непрестанный дух изменени: ненасытную волю к завоеванию, моральный империализм, столь характерный дл наших времен, которые не созерцают более вечных идей и в которых обнаженна страсть иррациональной жизни опрокинула все другие алтари» («Il mistico dell Azione» в «Il lavoro d'Italia di Roma», Nov., 27 anno).

Актуальный идеализм в развитой форме продолжает те тенденции, которы одновременно с ним или еще раньше его намечались в «жизненном порыве» Берг сона, в «мистике действия» Блонделя и католического модернизма, в «воле прагматизма и в «воле к власти» Ницше.

«Теолог футуризма», как называют Джентиле Винчигера, весьма пришелся к двору Муссолини. Мистический иррационализм Джентиле, так же, как и брониро ванный кулак фашизма, не может уложиться в ясные и четкие формулы. Фашизм, - повторяет вслед за «вождем» итальянский философ, — «не катехизис, а ориентаци стиль, доктрина в движении: она образуется и развивается, а не замыкается в формулы системы»... Фашистская мысль,—хвастливо говорит Джентиле,—зреет в го лове вождя, — «всегда новая и всегда связная, неожиданная и логичная, чудесна и однако простая и естественная». Фашизм — не идеология, не программа. Слово фашизм означает дело».

Вполне поэтому естественно, что Джентиле характеризует фашизм чисто от рицательными чертами. С какими врагами Муссолини вел и ведет борьбу? Итальян скому философу очень не нравится социализм, в особенности радикальный, гума нитарный, интернациональный: он базируется-де на «абстрактной борьбе классов», а не на «конкретном сотрудничестве» граждан. Возмущают Джентиле и «демагоги» — демократы и социалисты, «подстрекающие нездоровые страсти». Против них Джен тиле выдвигает идею государства, как «этической субстанции». Порицая «народную партию», пополяри — это «чудовищное смешение» псевдокатолического модер низма и социализма, Джентиле не прочь использовать ее реакционную сторону, именно католицизм, требующий самопожертвования частных лиц в пользу уни версального.

Определенного образа фашизма здесь все-таки не получается. Не помогает и ссылка Джентиле на тот «таинственный процесс», который будто бы совершается в голове Муссолини: он-де чувствует «провиденциальный характер» своего деяния на деяния, «которым управляет воля и разум, более высокие, чем всякий суб'- ективный частный интерес».

Очевидно, что фашизм не имеет и не хочет иметь никакой программы. Он теоретически бесплоден. Все его усилия направлены к созданию мощной боевой организации капитала. Он не ставит прогрессивных целей. Развертывается лихо радочная энергия, но преобладают стремления разрушительные. Надо подавить недовольных, а их не мало в Италии.

Являются ли серьезными противниками фашизма либералы? Конечно, нет! С либералами, фашизм в конце концов столкуется, как в свое время, в эпоху образования самостоятельного итальянского государства, либералы после упорной борьбы примирились с раскаявшимися хвалителями temporis acti.

Весьма интересны попытки Джентиле привлечь на сторону фашизма рабочих. В своей речи к рабочим (по поводу открытия Scuola di cultura sociale del Comune di Roma, 1922) Джентиле вынужден признать, что труд есть производитель ценно стей. Но производимые им блага являются лишь относительными. Выше их стоят

ности абсолютно необходимые, «соответствующие имманентным целям нашей духовной жизни». «Материализация культуры,— пишет Джентиле,— есть фальсификация культуры». Единственно, что человек должен «ненарушимо укрепить в душе»,— «веру в благо». Само собой разумеется, что Джентиле, не любящий борьбу абстрактную классов, воздерживается от более конкретного определения блага и предлагает рабочим это благо, «как вечный хлеб» (pane eterno).

В своей книге Джентиле намечает целую программу по отношению фашизма к церкви и религии. По мнению Джентиле, религия должна стать основой всякого воспитания. Человек, уверяет итальянский философ, «по своей природе религиозен». Ее его мышление есть непрерывная постройка божественной реальности, действительно об'ективной, ему противоположной, бесконечной... Но где же доказательства, что человек не в состоянии организовать собственную «духовную жизнь» без религии?.. Все дело в том, что религия, по убеждению Джентиле, есть некий необходимый диалектический момент в развитии абсолютного духа. Весь мир есть не что иное, как об'ективация духа: об'ект порождается творческим актом суб'екта, именно: трансцендентального Я. Так возникает «бесконечная ткань реальности», перед которой преклоняется человек. «Сама возможность ее познания предполагает, что она целиком определена в себе как истина, подлежащая раскрытию, подобно золотой жиле, погребенной в глубоких слоях земли, еще необнаруженной, непознанной, неподозреваемой человеком». Трансцендентальное Я вечно. Оно едино, но переходит во множество, его вечность переливается во время, а время делается пространством. Настоящее,— а в нем сосредоточивается реальность духа и, следовательно, мира — беспрестанно утекает в прошлое: так возникает «великое озеро вещей», в котором отражается мысль; человеку остается познавать их, как они есть, и им покорствовать...

Эти слова, произнесенные тоном оракула, станут понятными, если вспомнить, что для Джентиле дух есть само себя пожирающее пламя, чистый акт, превращающийся в факт; природа, не Я — это отчужденное от себя Я; прошлое — это окаменевшее настоящее, снимаемое в потоке становления. Лишь дух неустанно движется, а природа, мир, не-Я сами по себе мертвы, неспособны к развитию, к самодвижению. Природа с точки зрения Джентиле,— лишь отрицание духа, абсолютное зло, как антитезис, зарождающийся в недрах нераздельного единства — априорного синтеза, в первый момент дающего положение чистого суб'екта — искусство, во втором чистый об'ект — религию и в третьем моменте синтез об'екта и суб'екта в расчлененном единстве суб'екта — философию.

Но, установив необходимость религии, Джентиле «диалектически» тотчас же берет свое утверждение назад. «Если бог,— говорит он,— есть все, это имеет смысл лишь при одном условии: все это нами может мыслиться. Полюсы переворачиваются, и всем оказывается радикальная свобода, вложенная в понятие человека. Религия, осознаваемая в качестве мысли человека, развивается исторически, отрешаясь от неподвижности реальности чисто-об'ективной, от бога, пребывающего как неведомая сущность от века... И человек заново обретает себя в созидании суб'ективного всемогущества, как энергию, развертывающуюся бесконечно, низвергающую все препятствия и построяющую человеческий мир, светлый, прозрачный, действительно духовный».

Как же разрешается проблема: «Я ли мыслю бога, или это бог мыслит во мне?». По Джентиле, надо утверждать то и другое. Мыслить невозможно, не мысля бога, но ведь нельзя мыслить бога, не мысля. Так получается единство не статическое и фиксированное навсегда. Но единство борьбы: мысль, которая всегда живет этой мукой обращения к богу,— достигнуть его и пребывать в нем, но достигает его только с тем, чтобы вернуться к себе в триумфальном самоутверждении.

Ясно, что Джентиле требует здесь невозможного. Если религия является относительным моментом об'ективизации суб'екта и эта об'ективизация тотчас же по-

является как иллюзия (в своей абстракции от конкретного становления духа), то мысль, раз обретя себя, должна когда-нибудь отрешиться от этой своей абстракции («ибо, по Джентиле, наука—смертельный враг религии»). Так обстоит примерно у Гегеля, у которого религия превращается в философию религии. Неогегельянец Джентиле гораздо более реакционен, чем его учитель. У итальянского философа религия продолжает существовать в качестве «трансцендентального момента» вечной формы абсолютного духа, хотя бы человек и убедился, что религиозная точка зрения на мир одностороння и ошибочна. Правда, Джентиле может сказать, что здесь речь идет не о сознании индивидуальном, а о вечной категории абсолюта. Однако трансцендентальное Я, по Джентиле, осуществляется лишь как универсальный принцип, в эмпирических, индивидуальных сознаниях, тождественных ему. Конечно, и здесь Джентиле скажет (по своей обычной манере брать одной рукой то, что дается другой), что универсальное Я и, Я индивидуальное не только тождественны, но и различны. Однако в таком случае это различие должно быть констатировано внутри эмпирического сознания, а это противоречит основной установке философа чистого акта. Ибо трансцендентальное Я, будучи «мыслью мыслящей», не может быть констатировано в качестве об'екта, так как всякий об'ект есть лишь некоторое содержание мысли, или, по терминологии Джентиле, «мысль мыслимая» (pensiero pensato).

Мы не в состоянии здесь дать более подробную критику философских воззрений Джентиле. Отметим лишь те практические выводы, к которым приводит теория итальянского философа. Взойдя на высоты трансцендентальной мысли, он оправдывает костры инквизиции. Гордое сознание людей Возрождения, говорит Джентиле, было лишено «серьезности религиозной жизни». В особенности Джордано Бруно ошибался, желая «жить свободно в суб'ективном мире, им самим созданном, хотя он и находился в прямом контрасте к миру реальному, тесному и управляемому мощными силами, готовыми раздавить и растоптать всякое желание, возмущение и сопротивление индивидуума». «Прочная структура действительности, пусть в форме лицемерия», противоборствовала «произвольному отрицанию» мучения мысли... Люди Возрождения были героями, но «их мученичество было необходимым и потому справедливым». В этом рассуждении Джентиле, разумеется, не оригинален. Он повторяет лишь слова Гегеля о процессе Сократа в «Истории философии», где правыми оказываются и Сократ, как новатор — провозвестник новой идеи, и консервативные афиняне, выразители старого греческого духа. Трагедия Сократа и означала некий необходимый переломный момент в истории человеческой мысли. Все это так, но Джентиле не учел тех обстоятельств, при которых он проводит свою мысль, содействующую самой ожесточенной реакции.

Впрочем, может быть, и учитывал, ибо он ставит своей задачей возродить в итальянском народе религию, которая, и по его словам, до войны была «синонимом обскурантизма». Фашизм и проповедник его идей Джентиле приложили все усилия, чтобы столковаться с папой. Об этом свидетельствуют введенная Джентиле в низшей школе реформа религиозного воспитания (хотя католическое духовенство, желая подчинить своему влиянию всю духовную жизнь Италии, хотело бы распространить эту меру и на остальную школу и потому недовольное Джентиле называло его антихристом) и упорные попытки примирения с папой, увенчавшиеся, как известно, Латеранским конкордатом.

Еще один (приводимый Джентиле) любопытный штрих! Под влиянием религиозной агитации, — а некоторая вина в ней падает отчасти и на Джентиле, — [illegible] ретивые фашисты, быстро повернувшиеся от антиклерикализма к католицизму, низвергли статую Джордано Бруно в Риме и поставили вместо него Франциска Ассизского.

Б. Чернышев.

БУРЖУАЗНЫЕ УЧЕНЫЕ О ЗАКАТЕ КАПИТАЛИЗМА. Перевод с немецкого под редакцией составителей сборника М. Ф. Иоэльсона и М. И. Баха. Предисловие Г. Я. Сокольникова. Гиз. 1929 г. М.—Л. «Экономическая библиотека». Стр. 174. Цена 1 р. Тираж 7.000.

Завоевание буржуазией политического господства в Англии и Франции было тем кульминационным пунктом, который сразу и в чрезвычайно резкой форме изменил расстановку и направление борьбы классовых сил. Классовая борьба пролетариата с буржуазией, до сих пор находившаяся в скрытом состоянии, выступила на первый план и обнаружила всю бездну противоречий, присущих капиталистическому обществу. Она нашла свое отражение и в области идеологий вообще, в области политической экономии в частности. Смертный час научной буржуазной экономии пробил. «Отныне для буржуазного экономиста вопрос заключается уже не в том, правильна или неправильна та или другая теорема, а в том, полезна она для капитала или вредна, согласуется с полицейскими соображениями или нет. Бескорыстное исследование уступает место сражениям наемных писак, беспристрастные научные изыскания заменяются предвзятой, угодливой апологетикой» [1]).

Буржуазия забросила свое старое боевое оружие, философский материализм, признав его непригодным для защиты и охраны уже завоеванного и заменила его идеализмом, более или менее последовательного типа в зависимости от всей совокупности условий данного этапа классовой борьбы. В политической экономии материалистический рационализм Смита и Рикардо был заменен эклектическим крохоборчеством и кантианизмом. Преднамеренное раздувание одних сторон экономической действительности и старательное затушевывание других в целях оправдания существующего порядка общественных отношений заменило былой всесторонний научный анализ внутренних закономерностей капитализма. Именно такой характер и носят работы современных представителей буржуазной экономической мысли, изданные у нас в виде сборника «Буржуазные ученые о закате капитализма», включающего в себя статьи и доклады Вернера Зомбарта, Хр. Эккерта, Шульце-Геверница, Ар. Файлера, Альфреда Вебера, Карла Диля, Р. Лифмана, Е. Шмаленбаха, Пиннера, Деккерта и др.

Современная капиталистическая действительность отнюдь не располагает к оптимистическим рассуждениям о жизнеспособности капитализма и заставляет даже таких самоотверженных его защитников, как вышеперечисленные лица, поставить вопрос о его судьбах. Так, В. Зомбарт озаглавил свой реферат «Судьбы капитализма», Шмаленбах — «Капитализм в оковах», Христиан Эккер—«Перспективы капитализма», Шульце-Геверниц заговорил о скользком пути, а Роберт Лифман — «О путях к новому хозяйству».

«Снять покрывало с будущего» — такова та задача, которую поставил перед собою В. Зомбарт. Для ее решения он считает необходимым исследовать развитие капитализма в трех направления: 1) проследить территориальное расширение капитализма, 2) рассмотреть структурные изменения в его системе и 3) исследовать изменение отношений капиталистической хозяйственной системы к другим хозяйственным системам в рамках старых капиталистических стран.

В. Зомбарт полагает, что и в дальнейшем капитализм будет расширяться территориально, но разрушая старые хозяйственные системы. «Новый капитализм будет по существу «цветным» капитализмом. Он будет господствовать над Азией и Африкой» (стр. 16). Следствия его развития для старых капиталистических стран будут очень тяжелы, «страны старого капитализма окажутся вынужденными расширить свои аграрные базы или путем увеличения продукции в пределах нынешних форм хозяйства, или путем увеличения сельскохозяйственного населения. В структуре народного хозяйства европейских стран произойдет регресс, напри-

---

[1]) К. Маркс, Послесловие ко второму изданию первого тома «Капитала». См. по русск. изд. 1929 г., стр XXXVI.

женный к восстановлению такого отношения между сельскохозяйственным и несельскохозяйственным населением, какое существовало в Германии примерно к 1882 году, когда сельскохозяйственная часть составляла 40% всего населения. Тем самым мирохозяйственные связи сузятся». И, выставив этот тезис, он решительно заявляет, что «развитие уже вступило в эту фазу. Примерно с начала XX в. мы движемся в том направлении, конечную цель которого я выше обрисовал» (стр. 19).

Доказательством правильности этих положений В. Зомбарт считает: 1) сокращение вывоза сельскохозяйственных продуктов из важнейших сельскохозяйственных стран, 2) рост их цен и 3) хронический застой сбыта промышленных товаров, которым страдают страны старого капитализма. Следствием всего этого, по его мнению, является сжатие темпа индустриального развития и замедление прироста промышленной части населения.

Переходя к структурным изменениям, В. Зомбарт отмечает наличие процессов концентрации и централизации капитала и развитие «в небывалых до сих пор размерах» «плутократии и финансократии». «Финансовый капитал, — заявляет он — господствует над миром и заставляет танцовать, как марионеток, наших государственных деятелей» (стр. 20). В. Зомбарт скорбит о том, что «в хозяйственной деятельности уменьшается значение термина «способный предприниматель» с интуицией», что якобы «уменьшается страсть к наживе», а вместе с нею «ослабевает отвага, исчезает дерзание старого и истинного предпринимательства» (стр. 21).

По его мнению, старая рыночная механика, по которой спрос и предложение определяли цену товара, отмерла безвозвратно. «Ее место, — пишет он, — теперь заняли регулирование картелями цен, зарплаты и прибылей, независимо от рыночного положения, а также размещение промышленности, направленное интервенционистской политикой государства и общин» (стр. 23). Одной из составных частей этих структурных изменений является устранение прежней формы кон'юнктуры. Он считает, что теперь капитализм уже не имеет чередования периодов под'ема и упадка. Капитализм не вполне здоров — таков диагноз В. Зомбарта. Прогноз страдает теми же дефектами, что и диагноз. «В этом пункте существует ряд заблуждений и неправильных теорий. Что же это за заблуждения? Оказывается, что из теории концентрации Маркса были сделаны «слишком далеко идущие неправильные выводы». Он считает необходимым противопоставить коммунистическим целям свою теорию, теорию так называемого социального плюрализма, согласно которой хозяйственное развитие совершается не через вытеснение одних хозяйственных систем другими, а через их присоединение. Так, на ряду с капитализмом будут существовать другие системы и в первую очередь докапиталистические, т.е. ремесло индивидуальное крестьянское хозяйство, которое, имеет даже тенденцию роста. «Крестьянству предстоят счастливые времена. Во многих странах лишь теперь начинается то, что можно было назвать экономическим освобождением крестьянства.

Послекапиталистические системы, которые он представляет себе в виде кооперации, смешанно-публичных, государственных и коммунальных предприятий,— также развиваются.

Таким образом несмотря на то, что буржуазная ограниченность помешала ему более решительно заглянуть в будущее и правильно понять его приход на смену настоящему, В. Зомбарт все же принужден признать, что «мы стоим на пороге новой экономической эпохи, которая коренным образом отличается от той эпохи, которую мы пережили в XIX в.»; что «господство капитализма приближается к концу»; что «новая хозяйственная система прокладывает себе путь».

Что современный капитализм носит на себе черты чего-то нового, не совсем обычного, по существу вынужден признать и такой беспардонный апологет как Христиан Эккерт, несмотря на призыв к осторожности в прогнозах, несмотря на явно выраженное стремление заранее опорочить все пессимистические оценки судеб капитализма и несмотря на утверждение того, что «капитализм при известных

предпосылках может найти еще величайшие возможности для своей деятельности в Европе в течение многих поколений».

А. Шульце-Геверниц прямо заявляет, что дальнейший рост капитализма и психологии утилитаризма будет иметь своим следствием революцию. По его мнению, это — огромнейшая опасность, которая наиболее сильно угрожает старой Европе, ибо новые войны, а для них имеется очень много материала, приведут и к новым потрясениям. «Таким образом, — заключает он, — мы имеем перед собой подымающийся милитаризованный мир, грозящий мировой революцией». Правда, мировая революция выступает у него только в виде одной из скверных возможностей. Но это дела не меняет. Точно так же, как и его дальнейшие рассуждения о результатах революции, которая, по его мнению, принесет с собою голод миллионов людей, гражданскую войну и возврат к примитивным общественным формам. Важно то, что даже такой матерый и беспардонный апологет буржуазии, как Шульце-Геверниц, вынужден признать, что само развитие капитализма с неизбежностью ведет к краху.

Что капитализм очень сильно изменил свои отдельные стороны, признает и проф. Салин. По его мнению, «приходит к концу та форма индивидуального капитализма, которая была для нас неразрывно связана с предпринимательством, с либерализмом и которая представлялась нам типичной для капитализма... Этого индивидуального капитализма больше нет. Как мы назовем новую форму — социальным ли капитализмом, или, быть может, уже плановым хозяйством или коллективным капитализмом, или как-нибудь еще, это опять-таки совершенно безразлично,— факт налицо, и он должен быть признан». Он констатирует наличие роста антикапиталистических сил и считает, что судьба капитализма зависит не от него самого, а от тех новых элементов, от той новой жизни, «которая, освободясь из-под гнета развитого капитализма, разорвет свои оковы и возьмет в свои руки власть» (стр. 83).

А проф. Шмаленбах, к величайшему ужасу многих своих коллег, приходит к выводу, что современные руководители капиталистических предприятий, будь то сами капиталисты или их наемные служащие, являются выполнителями заветов и предсказаний Маркса. Он характеризует современный капитализм как эпоху «связанного хозяйства», в отличие от капитализма XIX в., как века «свободного хозяйства». Анализируя особенности этой эпохи, он считает, что переход к ней обусловлен перемещением производственных расходов внутри предприятия. Это непрерывный рост постоянных расходов, с одной стороны, и уменьшение доли переменных расходов. В переводе на марксистскую терминологию это значит, что мы имеем рост органического строения капитала. Так как это явление будет иметь место и в дальнейшем, то Шмаленбах, констатировав происходящий на этой основе рост синдикатов, трестов и картелей, приходит к выводу, что общество в скором будущем перейдет к той же системе, «которая существовала в эпоху цехов: монополистические организации новой хозяйственной эры должны будут получить свою монополию от государства, которое, с другой стороны, будет следить за выполнением вытекающих из монополии обязательств».

Однако, раз высказав такого рода мысль, каждый из них попытался отыскать новые выходы из создавшегося положения, показать, что капитализм будет здравствовать еще в течение большого промежутка времени. И в этом отношении интересны замечания Христиана Эккерта, пытающегося всеми силами доказать, что пока непосредственно капитализму еще ничто не угрожает.

В целом, сборник свидетельствует о том, что даже апологеты капитализма не в силах затушевать раздирающие его противоречия и принуждены поставить проблему гибели капитализма. Сборник интересен, кроме того, и как показатель бессилия буржуазной экономической мысли в решении этой проблемы, ибо правильное решение ее несовместимо с защитой классовых интересов буржуазии.

АЛ. К.

МАЦА. Искусство эпохи зрелого капитализма на Западе.

Книга Маца представляет собой тщательный обзор искусства второй половины XIX в. и начала XX в. Она насыщена фактами и может поэтому служить полезным справочником по названной эпохе в истории искусства. Эта книга представляет несомненный шаг вперед по сравнению с предыдущей книгой того же автора: «Литература и пролетариат», в которой мертвенная схема равновесия убивала живую, многообразную действительность. В новой книге Маца не вспоминает своей пресловутой схемы—и хорошо делает. Однако схематизм мышления автора отнюдь не преодолен. Пытаясь об'яснить расцвет пейзажа в живописи XIX в., автор дополняет своими соображениями теории Плеханова, Мутера и Арватова (впрочем, об этих двух авторах почему-то он не вспоминает) появления пейзажа, как антитезу развитой городской жизни. По мнению Маца, буржуазия хотела «проиллюстрировать факт отчасти посредственного, отчасти непосредственного завоевания буржуазией земли, воздуха, рек, лесов, принадлежавших раньше исключительно привилегированному классу дворян» (стр. 15). Этими тощими соображениями Маца ограничивается для об'яснения такой огромной важности факта, составляющего стержневую линию всей истории живописи XIX в. и до наших дней. Об'яснение не достаточное, чтобы не сказать скудное. При этом обходится молчанием тот поистине разительный факт, что в буржуазной литературе наблюдается как раз противоположная тенденция: деревенский пейзаж вытесняется и заменяется городским пейзажем. Правда, городской пейзаж встречается и в живописи, но далеко не в таком изобилии, как ландшафт. Дать марксистское об'яснение этого противоречивого художественного процесса — торжества пейзажа в живописи XIX в., т.-е. искусства господствующей буржуазии и вытеснения его в литературе того же класса, входит в прямую обязанность т. Маца.

Развитие искусства совершается через творческие личности. В вопросе о роли личности Маца не сумел выдержать единой методологической линии. Немногим он оказывает честь сообщением их биографических фактов, как например: для Ганса Марэ, Ван-Гога, Гогена.

Далее мы узнаем нечто совершенно неожиданное, что высшие слои буржуазии состоят из эстетически развитых людей, которым потребны высоко развитые формальные качества искусства. Так об'ясняется возникновение немецкого сецессиона с его требованиями высокой художественной культуры. Об'яснение не безупречное.

Немецкие импрессионисты отличаются от своих французских родоначальников тем, что сенсуализм их (немецкий импрессионизм) находился «под интеллектуальным контролем класса». Всякий контроль класса, а он безусловно существует, не может быть иным, как только интеллектуальным. Теперь несколько слов о предшественниках и социальных корнях импрессионизма. Маца возводит genealogию французского импрессионизма к английским пейзажистам Тернеру и Констеблю и французскому романтику Делакруа. В этом Маца следует обычной традиции западно-европейского искусствознания. Между тем напрашиваются сопоставления французских импрессионистов с их ближайшими предшественниками французскими барбизонцами, которые впервые поставили себе задачу создать пейзаж, насыщенный воздухом и светом. Маца связывает возникновение импрессионизма с торжеством республиканской средней и мелкой буржуазии после падения Наполеоновской империи. При этом подчеркивается, что классовым суб'ектом импрессионизма является именно промышленная буржуазия. Через несколько страниц мы узнаем, что одна из трех групп импрессионизма представлена «наиболее типичными для полуинтеллигентского полубогемного слоя буржуазии». Однако в этом еще не было бы заблуждения, если бы автор указал, что названная группа представляет уже стадию упадка импрессионизма. Между тем импрессионизм рассматривается целиком, как стиль зрелой промышленной буржуазии, а не как

упадочный стиль вопреки воззрениям и оценке Плеханова (См. Плеханов, Соч., т. XIV, стр. 168—172). Совершенно непостижимо, почему наличие следующих трех характерных черт импрессионизма: 1) отход от типичного к индивидуальному, случайному, 2) суб'ективный сенсуализм по отношению к реальному миру, к об'екту и 3) псевдоинтеллектуализм по отношению к суб'екту — стремление замаскировать суб'ективизм в формах учения о свете, атмосфере, влиянию солнца на предмет, — характерно для средней и мелкой промышленной буржуазии,—это совсем не доказано, не об'яснено. Пассивное мироотношение, выявляемое импрессионистами, характеризует не промышленную буржуазию, а рантьерство. Это может быть ростовщнческий капитал или землевладелец, сдающий в аренду свою землю. Далее, полнейшим чревовещанием проникуто «классовое об'яснение Ван-Гога». «Он тоже раскрывает «внутреннюю сущность» вещей, но раскрывает очень своеобразно: кулаком, штурмом — все равно чем, только бы добиться цели. И если здесь еще раз поставить вопрос о классовом суб'екте творчества Ван-Гога, то будет ясно, для кого характерны те черты, которые мы видим у Ван-Гога. Это и не чувствующий себя еще уверенным в своем положении мелкий буржуа, это и не борец тогдашнего авангарда рабочего класса, а представитель научно-технической интеллигенции, индустриальной буржуазии, который в нашем случае рекрутируется из низов. Он еще не нашел своего места в обществе, но знает свою непосредственную цель и задачу — овладеть материалом, познать и раскрыть его, если нужно, разбить его на части («деформировать»), затем уже создать из него новый предмет, который будет выполнять новые функции. Это и делает Ван-Гог». С каких это пор научно-техническая интеллигенция не знает своего места в обществе? Ведь суб'ективный идеализм, лежащий в основе импрессионизма (а Ван-Гог — не импрессионист, а начальный этап экспрессионизма), имеет свою параллель в философии — махизм, который точно так же многими признается идеологией научно-технической интеллигенции.

Вообще все эти построения в достаточной мере произвольны и останутся такими, до тех пор пока не будет учтена вся совокупность стилистических признаков данного течения, между тем стилистический анализ в работе Маца очень слаб. Промышленная буржуазия, хотя бы и мелкая (вспомните склонность городской ремесленной буржуазии к материализму) ценит и вырабатывает также идеологические функции, который в той или иной мере способствует развитию производительных сил общества. Указанные же выше три черты отнюдь не способны быть таким социальным фактором. Мы читаем на стр. 29—30 разбираемой книги Маца: «Импрессионизм как стиль созревших уже буржуазных отношений, выдвигающийся при условии под'ема промышленности, техники и материального благосостояния господствующих слоев буржуазии, должен был впервые выявиться в той стране, где эти условия созрели наиболее рано. Этой страной, как известно, была Англия». Итак, классовым суб'ектом, согласно Маца, была индустриальная буржуазия. На стр. 34 классовые корни импрессионизма возводятся к средней и мелкой буржуазии. В главе о кубизме читатель находит мысль, что кубизм социально детерминирован индустриальной буржуазней начала нашего столетия на 30 лет позже выступления импрессионизма. Другими словами, кубизм есть этап развития искусства того же самого класса. В таком случае между ними должно существовать некоторое родство и преемственность. Об этом Маца не обмолвился ни единым словом, между тем это родство, заключающееся в суб'ективном идеализме, давно уже отмечено Плехановым (Соч., т. XIV, стр. 171), опиравшимся на сочинения Альберта Глейзера, как и Маца. Но Плеханов увидел указанное родство, а Маца проглядел. Безнаказанно игнорировать Плеханова никак не приходится. Маца стремится каждое новое художественное направление пристегнуть непременно к жизни нового общественного класса или группы. Между тем можно твердо установить, что все искусство, начиная с эпохи Возрождения, принадлежит по своему социальному генезису торговой и промышленной буржуазии. Различие же в художественных стилях определяется не только разумеется, или в первую

очередь, изменениями об'ективного бытия общественного класса, но и сте
развития его классового самосознания. Не будет большой смелостью с
что сезаннизм и кубизм в его первоначальной стадии составляют лишь этап
вития самосознания класса буржуазии, господствовавшего в Западной Евр
второй половины XIX в. Те связи, которые Маца устанавливает между сти
классом, никогда не бывают обоснованы художественным анализом, а при
ваются, пришиваются извне, как механическое дополнение.

Весьма не слажены, не согласованы между собой взгляды Маца на
художника. С одной стороны, индивидуальные качества художника есть
рия количественная, при этом читатель получает посул, что это положение
об'яснено в дальнейшем, однако автор, видимо, намерен исполнить это обе
лишь в каком-нибудь из последующих трудов. Недоумение вызывает след
формулировка Маца: «В психо-идеологию нового класса теоретически могут
элементы культурного наследства, не находящегося в прямом противоречии
классовыми интересами, несмотря на то, что между этими самыми элеме
психо-идеологии и в отношениях их к новым выработанным классом ф
могут быть и бывают более или менее острые противоречия». Эта формули
повидимому, содержит какие-то серьезные редакционные погрешности, так к
совсем непонятна. Здесь вскользь затрагивается актуальный вопрос о преем
ности культурного наследства одного класса другим классом, при чем столь в
мысль не получает никакого развития, никакого расчленения. Формальный
лиз, даваемый Маца, ограничивается указанием на деформацию и трасфор
материала: композиции, колориту уделяется ничтожнейшее внимание. Не
точное внимание уделено экспрессионизму и его разновидностям. Ничего н
зано о сюрреализме.

Бросается в глаза такой серьезный пробел. Книга посвящена исследо
искусства эпохи зрелого капитализма, между тем искусство САСШ обхо
презрительным молчанием, только в главе о современной архитектуре ес
сколько замечаний об американской архитектуре. Если в САСШ нет про
ственного искусства, кроме архитектуры, то следовало бы дать этому факт
лежащее об'яснение. С легендой о том, что САСШ не имеют пространстве
искусства, кроме архитектуры, пора уже покончить. Там имеются отличны
фики, плакатисты, карикатуристы. Имеется даже монументальная скульпту
гранитной скалы они высекли конную статую генерала Ли — предводителя
рабовладельческих штатов во время войны Северных и Южных штатов в сер
прошлого века. Статуя сделана во время мировой войны. Это очень харак
для умонастроения Северной Америки. Но зато уделяется не мало строк т
труизму, что художники XIX в. не более гениальны, нежели художники Х
Те художники, которые не укладываются в прокрустово ложе схемы Маца, с
не находят никакого освещения, напр., Анри Руссо вскользь упомянут, как од
представителей неопримитивистов. Несмотря на большое количество серь
недостатков в разбираемой книге Маца, ее можно рекомендовать подготовле
читателю. Необходимо принять во внимание, что художественные факты, при
мые в книге Маца, впервые подвергаются марксистскому освещению. Поэтом
дельные провалы, пробелы и неудачи неизбежны и простительны. Не ошиб
лишь тот, кто ничего не делает! Но «головокружение» от якобы стремител
успехов марксистского искусствознания преждевременно. Путь марксистског
кусствознания еще только прокладывается, и вехи ставить на нем преждеврем
Разбираемая книга еще не является вехой, а лишь плодотворной прокладкой

Л. Зивельчинская.

А. ЛУКАЧЕВСКИЙ. Происхождение религии. Изд. «Безбожник». 132
Цена 60 коп.

Проблема происхождения религии до сего времени остается еще не в
решенной. Представители различных буржуазных социологических и этно

ческих направлений на основании одних и тех же фактов этнографии дают совершенно противоположные выводы и создают совершенно различные теории, как по общей проблеме происхождения религии, так и по частным, включенным в эту проблему, вопросам. Современная этнология доказала лишь одно: вне материалистической методологии невозможно решить эти вопросы; этнологи путаются во множестве имеющихся в их распоряжении фактов, и нужна теперь решительно смелая постановка вопроса о происхождении религии в первую голову в методологической плоскости, и на основе четкой методологии следует подойти к этим этнографическим фактам.

А. Лукачевский в предисловии к своей книжке указывает, что «марксистские исследователи не просто заимствовали у Тэйлора и Спенсера те или другие положения анимистической теории, как это утверждают некоторые, а перерабатывали ее согласно своим воззрениям» (3 стр.). Но ведь нет все-таки определенной марксистской теории. И даже более: в популярных работах зачастую преподносится механическая смесь анимистической теории с натуралистической и магической теориями.

Правда, теперь можно считать вполне установленным, что возникновение религии коренится в социальных отношениях доклассового общества, что нет оснований об'яснять возникновение религии биологическими факторами; в этом отношении сделан очень крупный шаг вперед, даже можно сказать, что сделан решающий шаг. Но опять-таки встала огромная задача выяснить, какие именно социальные отношения порождают те или иные древние религиозные верования, вернее, каковы те общественные отношения, которые на известном этапе развития ведут к возникновению в данном обществе анимистических идей и культовой практики. Теперь мы имеем лишь попытки об'яснить возникновение религии из данных общественных отношений на том или ином этапе развития.

И А. Лукачевский заостряет внимание на необходимости четкой постановки вопросов происхождения религии на почву социальных отношений доклассового общества. Указывая на методологическую важность определения религии, тов. Лукачевский присоединяется в сущности к определению религии, данному Плехановым. Но он в то же время делает важное замечание, что «уже теоретически рассуждая о содержании религии, мы приходим к выводу, что до появления в собственном смысле религии элементы или составные части ее могли иметь свое самостоятельное происхождение и развитие» (стр. 14). Это положение бесспорно важно, ибо производственные корни различных элементов религии теперь уже невозможно оспаривать; то, что когда-то было фактом производственного порядка, впоследствии могло стать и становилось фактом религиозного порядка; но это последнее происходит в результате развития ярко выраженных противоречий в обществе; вне противоречий в обществе религия возникнуть не могла бы,—именно как религия, как «вздох угнетенной твари», как «опиум для народа». Это ведь «негодный продукт негодного общественного строя».

Тов. Лукачевский примыкает к анимистической теории, базируясь на основных методологических положениях классиков марксизма. В частности, очень верно его замечание относительно многократно цитируемого и зачастую неверно толкуемого Энгельса: «Когда люди не имели никакого понятия о строении своего тела», «когда они не умели об'яснить сновидений»... Но ведь это «когда» даже еще не значит «потому что», это «когда», обозначает скорее общие условия, при которых зародились анимистические представления» (стр. 39). Это совершенно верно. Так же очень верно его замечание относительно Плеханова, отвечающего на вопрос о способе возникновения веры в сверх'естественные существа: «Вера в эти силы обязана своим возникновением невежеству» и т. д. Лукачевский говорит, что «оживление того или другого предмета, приписывание ему свойств живой человеческой природы, вовсе еще не ведет само по себе к анализу, к одушевлению, а оно будет вести тогда, когда сама человеческая природа первобытным че-

ловеком будет рассматриваться, как состоящая нз даойиого начала — из те душиэ (стр. 41—42).

При анализе аоззреиий Богданоаа Лукачеаский связыаает его теорию исхождения религии с его общефнлософскими положениями; следоаало бы, кажется, еще резче подчеркнуть, что Богданов затушеаывает противоречия, шиеся в обществе, что он идиллически рисует аозникиоаение религии, что ои ходит к выводу о пользе религии для каждого данного этапа развития, т. сущности он приходнт к попоащиие.

Ведь значительная ценность работы тоа. Лукачевского заключается в что он решительно подчеркивает необходнмость выведения религиозных ф общественного сознания нз отношенний соцнальных, и последоаательное прим ние именно такой установки только н может дать положнтельиые результаты; в этой связи и следует подчеркнуть роль общественных протнаоречий в докл ом обществе, ибо релнгня н тогда уже нграла роль «опнума для народа».

Совершенно прааньльно отмечает тоа. Лукачевскнй ошибку и так называ магической теорнн. «Все исследователн, которые посредством магии хотели н сти удар анимизму (Прейс, Фиркандт, Губер, Мосс и др.), делали громадную ош в том отношенин, что бралн более позднюю эпоху магни — когда она целиком реплетается с верой а духов» (стр. 76). Давая свое заключение о магии, А. Л чевский, выставляет методологическн бесспорное для марксистоа положе «Первоначальная религня,—это аннмистические представления, связанные глав образом с магнческими действнямн. Анимизм и магия — вот что составляло пе вичную религию» (стр. 78); н далее: «любые действия, соединяясь с аним ными представленнямн, составляют то, что может быть отнесено к религиозн культу» (стр. 78). Но необходимо итти далее, надо выяснить общественную цифику культа. В культе фетишизнруются общественные отношения, скрыва их подлинная сущность, в культе общественное отношение подменяется от шением людей к сверхестестаеиным существам. И вся культоаая практика всем протяжении разаития релнгин доказывает это с неоспоримой наглядност В этом огромная реакцнонная роль культа. И склонность ряда исследовател частности Фрэзера, ндиллнческн рисовать магическую практику, есть в сущн полное затушевыванне, прнкрытие тех общественных отношений, далеко не ид лических, которые прнкрывает эта магическая практика.

А. Лукачевский уделяет значительное вннмание н преаиимистической т рии, и выводы, к которым он прнходит, далеко не утешительны для иее. Вскры неправильность преанннмнстоа в подходе к этнографнческнм фактам, он отмеч к логическую нх несостоятельность, прн чем тут важным оказывается подчер нание мотивов социального порядка: «Вера в особую силу пояаляется в бо позднюю эпоху в связн с соцнальной днфференцнацией анутрн группы, вот чему мы не находим веры в «мана» у центральных австралийцев, а находим у родов, стоящнх в технческом н экономическом отношении на более высо ступени» (стр. 98). Даже более, эта теория ведет к необходимости призна монотеизма, как нзначальной ступени развнтня, а это уже совсем попоащина: « мана» не есть какое-то лнчное начало. Отсюда недалеко н до утаерждения, эта «безличная сила» и есть то самое начало, которое мусульмане именуют Ал хом, евреи—Иегоаой, что вера в эту снлу не что иное, как монотеизм, первоб ный монотеизм. Выходнт, что на первых порах религия была аерой в едниую си в единого бога, а потом, с теченнем временн, это верованне какнм-то обра: исказилось» (стр 95). Отсюда, разумеется, прямой мост к божественному отк вению.

Итак, методологнчески А. Лукачеаский подчеркивает важность рассмот ния социальных отношений в доклассоаом обществе, а вне их—нет религии. Этот общий вывод есть именно осноаное положение, исходный пункт конкрети

анализа имеющихся этнографических и археологических данных. И А. Лукачевский проверяет анимистическую теорию на конкретном этнографическом и археологическом материале. «Мы имеем две проблемы: с одной стороны, нам необходимо исследовать вопрос о том, как собственно возникает или могла возникнуть идея души, идея двойника, с другой стороны вопрос—благодаря чему эта идея не исчезает из сознания общества, а, наоборот, закрепляется, делается господствующей идеей и живет в течение тысячелетий» (стр. 57). Расчленяя таким образом общий вопрос о развитии религии, Лукачевский в первую голову останавливается на роли сновидений «в выработке представления о душе» (стр. 57). В самом деле, обильные этнографические материалы показывают важность сновидений в фактах верований в сверхестественные существа. Но тут есть опасность совершить ту самую ошибку, которую правильно отмечает Лукачевский у сторонников преанимизма: на материалах о развитых народностях об'яснять наиболее древние пласты верований. И, собственно, надо поставить вопрос таким образом: сновидения сыграли большую роль в выработке представления о душе или в закреплении этих представлений? Материалы о сноведениях, приводимые Лукачевским, показывают, что в них уже фигурирует искомая величина—двойник. Можно ли в самом деле найденной величиной, ею самой же, об'яснять ее происхождение? А. Лукачевский говорит о необходимости не абстрактно брать эти представления, а в определенной исторической обстановке: «Только в определенную эпоху, при определенной технике эти сноведения, как указывает Степанов, могли сыграть роль в возникновении анимизма» (стр. 57). Но ведь не менее верно его замечание о недостатке работы Степанова: «Самый момент экономики, как таковой, момент взаимоотношения людей в процессе труда, этот момент он в своей работе не оттенил» (стр. 56).

И тут-то и возникает существеннейшая задача: вскрыть характер социальных связей этой определенной эпохи, вывести общественное сознание в эту эпоху, оттенить специфику религиозных представлений и затем уже выявить, какую же роль сыграли сновидения—в выработке или в закреплении представлений о душе. Ведь сами по себе сновидения ничто, поскольку они биологически свойственны человечеству; важен материал их, а этот материал почерпается из всей совокупности общественной практики и из элементов содержания сознания.

Книга тов. Лукачевского имеет значение не только в том, что она дает возможность разобраться в различных теориях происхождения религии, но и в том, что она ставит вплотную методологические проблемы, уже назревшие и требующие своего решения. А постановка, правильная и четкая, этих проблем есть одно из основных условий верного решения общего вопроса о происхождении религии.

Н. Токин.

Ответственный редактор А. М. Деборин.

Редакционная коллегия: А. А. Максимов, М. Н. Покровский, Я. Э. Стэн, А. К. Тимирязев.

Главлит № А—54781. Москва. Тираж 8.200 экз.

Типография газеты „Правда", Тверская, 48.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

На новый двухмесячный философский и общественно-экономически

Ж У Р Н А Л

„ПРОБЛЕМЫ МАРКСИЗМА“

Орган ленинградского отделения Коммунистической академии.

Журнал выходит под редакцией: [illegible], П. Булата, О. [illegible] Г. Зайделя, Г. Кашарского, В. Карпотина, [illegible], О. Томсинского.

«ПРОБЛЕМЫ МАРКСИЗМА» ставит своей задачей отстаивание и дальнейш[illegible] развитие ортодоксального марксистско-ленинского мировоззрения.

«ПРОБЛЕМЫ МАРКСИЗМА» будут бороться со всякими попытками извра[illegible] ния марксистско-ленинского мировоззрения, против всяких видов идеализма [illegible] эмпиризма и механистического извращения диалектического материализма.

Журнал имеет целью марксистско-ленинскую разработку общественных [illegible] естественных наук и теоретическое освещение практических вопросов социалистиче[illegible] ского строительства.

Кроме того, журнал будет помещать критику, библиографию, систематически[illegible] указатели выходящей литературы, сообщения о работе Ленинградского отделени[illegible] Коммунистической академии.

Являясь органом боевой марксистско-ленинской теоретической мысли, журнал рассчитан на широкие кадры научных работников, партийного актива и учащихс[illegible] вузов и втузов.

Подписная плата на журнал на 1930 год в 6 выпусках—8 руб.
на 6 мес, 3 выпуска—4 руб.

Цена отдельного номера в продаже—1 р. 60 к.

Подписку направлять в ЛЕНОТГИЗ (Ленинград, Проспект 25 Октября, д. 2[illegible] Дом Книги. Москва, Центр, Ильинка, № 3, Периодсектору ГОСИЗДАТА, а также во все отделения, магазины и киоски Госиздата и почтово-телеграфные предприятия[illegible]

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВКП(б) „П Р А В Д А“

ПОДПИШИТЕСЬ

на ежемесячный философский и общественно-экономический журнал

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

Журнал выходит под редакцией: А. М. ДЕБОРИНА, А. А. МАКСИМОВА, М. Н. ПОКРОВСКОГО, Я. Э. СТЭНА, А. К. ТИМИРЯЗЕВА.
Отв. редактор А. М. ДЕБОРИН.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА» имеет перед собою задачу защиты ортод[illegible] ксального диалектического материализма Ма[illegible] са, Энгельса и Ленина от извращений идеализма и оппортунизма, откуда бы они [illegible] исходили.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА» ведет непримиримую борьбу за ортодоксал[illegible] ный диалектический материализм Маркса, Э[illegible] гельса и Ленина против различных механистических, позитивистических, суб'ектив[illegible] листических и идеалистических течений и направлений.

В журнале принимают участие видные марксисты, коммунисты и беспартийные учены[illegible] материалисты.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА» имеет постоянные отделы: Ленин и ленинизм[illegible] актуальные проблемы философии диалектич[illegible] ского материализма, история материализма, современные течения философской мысл[illegible] исторический материализм, статьи по вопросам теоретической экономии, статьи [illegible] теории советского хозяйства, история социализма, вопросы литературы и искусст[illegible] в материалистическом освещении, психология и марксизм, диалектика и естествозн[illegible] ние, дискуссионный отдел, критика и библиография, отдел переписки с читателям[illegible] сообщения и заметки.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА» рассчитан на активных работников парти[illegible] преподавателей и слушателей комвузов, [illegible] зов, рабфаков, марксистских кружков, товарищей, занимающихся самообразованием и т. [illegible]

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 1 мес.—1 р. 50 коп., на 3 мес.—4 р. 25 коп.,
на 6 мес.—8 руб., на 12 мес.—16 руб.

ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО НОМЕРА 1 руб. 50 коп.

[illegible] ПРИНИМАЕТСЯ: в главной конторе изд-ва «ПРАВДА» (Москва, 9, Тве[illegible] [illegible] местных отделениях «ПРАВДЫ», в почтовых конторах и письмоносцах[illegible]